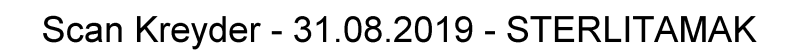
Л. СЕЙФУЛЛИНА

Виринея


Scan Kreyder - 31.08.2019 - STERLITAMAK

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Виринея

Повести и рассказы

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УФА — 1981

ББК84Р7
С28

Предисловие **А. Шмакова.**

Сейфуллина Л. Н.

С 28 Виринея. Повести и рассказы. Предисловие А. Шмакова. Уфа, Башкирское книжное издательство, 1981. — 336 с. — (Серия «Золотые родники»).

Повести и рассказы известной советской писательницы, чья жизнь и творчество тесно связаны с нашей республикой.

С $\frac{7302 - 262}{М\ 121(03) - 81}$ 112 — 81 **ББК 84 Р7**

ЧЕЛОВЕК И ПИСАТЕЛЬ ДРАГОЦЕННОЙ ПРОБЫ

Шестидесятилетняя Лидия Николаевна Сейфуллина в рабочем блокноте, как бы итожа пережитое, записала:

«Я не представляю себе существовать на «ничьей земле». Так верю и так поступаю. Вот мой партбилет. Я не хочу прийти к концу моей жизни Иваном, не помнящим родства. Мое внутреннее «я», все, чем я прожила свою жизнь, связано с Коммунистической партией».

Эти слова — сгусток раздумий человека и писателя удивительной силы духа и воли, могут быть поставлены эпиграфом ко всему творчеству и личности Сейфуллиной, оставившей неповторимый след в нашей советской литературе. В этих словах вся Сейфуллина — литератор и Человек.

«...Исключительно послеоктябрьская писательница, — сказал о ней еще в двадцатые годы критик А. Воронский, — и по началу своей литературной деятельности, и по содержанию, и по характеру, и по направлению этой деятельности».

Книги Лидии Сейфуллиной, действительно, создавались по горячим следам и живым наблюдениям рождающейся революционной нови. Ее первые повести «Правонарушители», «Перегной», «Александр Македонский», «Виринея», «Мужицкий сказ о Ленине» стали нашей советской классикой.

Перечитываешь сейчас эти произведения и явственно ощущаешь, как и чем жило крестьянство в начале революции, видишь светлые образы первых коммунистов, которые вели за собой крестьянскую массу к новой жизни.

Честность, искренность в писательнице и ее творчестве раньше других заметил и отметил великий Горький, назвав Лидию Николаевну «человечицей, влюбленной в литературу». К. Федин признавал ее «лучшей среди лучших» литераторов. В. Иванов называл сейфуллинские книги «возвышенными и чуткими», а В. Лидин, хорошо знавший писательницу, считал, что она оставила не только книги, но и неповторимый след своей личности.

Это поразительное единство взглядов и оценок писательницы, высказанных людьми близко стоявшими к ней и содействовавшими своей дружбой расцвету сейфуллинского таланта, не может не удивлять всех, кто знакомится с ее произведениями сейчас и отзывами современников об ее личности.

Лидия Николаевна живописала без прикрас. Герои ее привлекали и привлекают читателя мужественной простотой, покоряющей правдой, жизнелюбием и прямотой. Такой была и сама Л. Н. Сейфуллина. Эти черты характера отмечали все, кто встречался с нею, замечал ее человеческие обаяние и душевную красоту.

Мне также посчастливилось видеть писательницу, наблюдать, как оживленно и заинтересованно она разговаривала о жизни и литературе, страстно и жарко спорила. Встречи были в Доме писателя. Они всегда собирали почитателей таланта и ума Сейфуллиной, чаще нас, студентов Литературного института, и всех, кто считал творчество делом жизни. Спорила она не только горячо, а даже резковато, но всегда была правдива. Прямота Лидии Николаевны никогда не отталкивала, а наоборот, притягивала, как магнитом, нас, принесших в институт некоторый запас жизненных знаний, но не имевших достаточных теоретических познаний и профессиональных навыков.

И нам было приятно, что Лидия Николаевна беседовала задушевно о том, что нас больше всего волновало — о тайнах профессионального мастерства. Мы знали, что слово ее живет в русской литературе, согретое горячим сердцем писательницы, зовущее к большому, светлому и прекрасному. Вера ее в человека была непоколебима и обладала чудодейственной силой. Родники, какие питали эту веру, содействовали яркому расцвету таланта — являлась народная жизнь, которую Сейфуллина знала глубоко и чувствовала каждой клеточкой сердца. Об этом писательница говорила всегда. Это билось в каждой строчке, выходившей из-под ее пера, и звучало, как искренняя исповедь большой человеческой души.

Лидия Николаевна родилась мартовским днем 1889 года в станице Варламово Троицкого уезда Оренбургской губернии, ныне входящей в Челябинскую область. У ее колыбели журчала небольшая, веселая речушка Увелька, шумел вековой Варламовский бор, на юг от которого простирались голубые дали и открывались степные просторы Южноуралья.

Здесь прошло детство писательницы. Ее отца Николая Егоровича, священника-миссионера с приходами «инородческого» населения, перебрасывали из одного глухого места в другое — то Троицкого, то Кустанайского, то Орского уездов. «По службе много было недоразумений,— вспоминала позднее писательница, — смешных внешне, но внутренне глубоко трагичных. Из-за этих недоразумений человека носило по России, как щепку в половодье».

За ним всюду следовали три его дочери, рано потерявшие мать и оставшиеся под присмотром бабушки Евдокии Антиповны и няньки

Анны. Простые и неграмотные русские женщины, знавшие множество сказов, владевшие подлинно народным языком, сумели привить детям любовь к русским обычаям и нравам, к окружающей их жизни.

После окончания сельской школы Лидия Николаевна поступила в Кустанайскую прогимназию, а потом училась в Оренбургском епархиальном училище, которое закончила в 1904 году. А через два года она уже учительствовала. В ту пору ей было всего лишь 17 лет.

Первый биограф писательницы — ее муж и друг В. П. Правдухин, не менее талантливый литератор и критик, написавший очерк о жизни и деятельности Сейфуллиной, рассказывает:

«Первые книги, которые увидела Лидия Николаевна, были азбука, серенькие книжки для чтения, составленные Л. Н. Толстым, из которых она на всю жизнь запомнила рассказы о татарине с ложкой и о мужике, наевшемся баранкой. Затем идет рассказ «Жилин и Костылин» — так дети именовали известный рассказ великого писателя «Кавказский пленник». Отец часто читал детям наизусть некрасовскую поэму «Рыцарь на час», «Ундину» Жуковского, Лермонтовских «Мцыри» и «Демона». В тяжелые минуты душевных депрессий отец читал даже Достоевского. По ночам играл на скрипке. И та картина из повести «Неточка Незванова», где ее отец играет ночью на скрипке, а Неточка просыпается в страхе, впервые смешала для Лидии Николаевны действительность с литературой, связала их в одно страшной и близкой ей реальностью».

Николай Егорович и сам пробовал писать и читал маленьким девочкам тяжелую повесть о своей жизни, озаглавленную «Из мрака к свету». Любовь к литературе, разбуженная отцом, толкнула дочь к собственному творческому труду и, будучи гимназисткой, Сейфуллина начинала писать роман, названный «На заре юности», и пережила первую писательскую горечь. Ее «политическое крещение» началось в Оренбурге, когда она через семинаристов познакомилась с нелегальными кружками учащихся, завела дружбу с семьей Н. А. Афиногенова, позднее писателя Степного. Его жена являлась подпольным партийным работником и редактировала прогрессивную газету «Простор».

Так для Сейфуллиной начались мучительные поиски себя, жизненные перепады и пороги на трудном пути становления личности. Учительствуя в школе, она некоторое время сама сотрудничает в «Просторе», читает нелегальные брошюры, носит передачи арестованным. В ней обнаруживаются незаурядные актерские способности. Лидия Николаевна становится актрисой гастролирующей труппы, разъезжающей по России, но затем возвращается к отцу в мордовскую деревню Карайгыр Орского уезда, где работает учительницей.

Тут Сейфуллину захватила первая мировая война, обнажив перед ее чувствительным сердцем горе и нищету, социальные противоречия деревенской жизни, слезы и несчастье усталых стариков и женщин, оставшихся вдовами. Беспредельна отзывчивость учительницы, чутка ее душа к народным болям. Она учит детей и пишет письма солдаткам

на фронт, читает газеты и устраивает различные вечера. Она захвачена большой культурно-просветительской деятельностью.

Бескорыстное усердие не остается незамеченным. Осенью 1915 года Орская земская управа назначает Л. Сейфуллину заведующей Самаро-Раевской библиотекой-читальней (ныне Хайбуллинский район Башкирской АССР). Встретили здесь Лидию Николаевну неприязненно и настороженно, но она не растерялась и взялась за дело настойчиво и решительно. Вскоре Сейфуллина сумела завоевать любовь почти поголовно неграмотного населения, забитого нуждой и предрассудками. Ее поразило невежество и полное равнодушие крестьян к книге.

С чего же начала молодая библиотекарша? Прежде всего, она постаралась привить любовь к книге. Много позднее, весной 1917 года, как лучший земский библиотекарь командированная на курсы при народном университете имени А. Шанявского, она в докладе скажет:

«Надо было сделать их действительно читателями, а не посетителями только. Надо было узнать душу читателя, личные мнения его и одни из них поддержать, укрепить, а с другими бороться. Это можно было сделать только посредством общих чтений. Я стала часто устраивать народные чтения, а после них нечто вроде бесед».

И Л. Сейфуллина преодолела равнодушие к книге, сумела расположить к себе взрослых и детей, приохотить их к библиотеке-читальне. Она устраивала не только громкие читки, но проводила вечерние занятия со взрослыми, обучала детей, организовала молодежную театральную группу. Тесные контакты и непосредственное общение с крестьянами в эти глухие и тяжкие годы позволили ей близко познать невзгоды и радости предреволюционной деревни, ее чаяния и надежды. Так завоевала Лидия Николаевна популярность, обрела любовь местного населения. И неудивительно, что после февральской революции она была избрана гласным Орской уездной управы. Однако вскоре, в августе 1917 года, она уехала из Самаро-Раевского.

Но впечатления, наблюдаемые ею картины деревенской жизни, нашли отражение в таких произведениях, как «Перегной», «Виринея», «Каин-кабак» и другие. Следует отметить, что жизнь Л. Сейфуллиной в Самаро-Раевском хронологически совпадает с примечательным событием в ее жизни — началом литературной деятельности. Тут она стала писать свою первую повесть «Актрискина жизнъ» и послала рукопись в «Вестник Европы» — единственный журнал, имевшийся в библиотеке-читальне. В. Правдухин пишет: «Редакция вернула повесть с письмом, в котором было указано, что произведение растянуто, что в нем слишком много сентиментализма, но что у автора прекрасный литературный язык, хорошее знание и яркое изображение актерского быта. Редакция предлагала автору сократить повесть в небольшой рассказ, основательно поработать над ним. Но рукопись была уничтожена самой Лидией Николаевной и лишь небольшой отрывок, связанный с описанием старого режиссера, был использован ею позднее в напечатанной повести «Четыре главы». Непосредственные же впечатления тех лет, как удалось

это установить писателю М. Чванову, отражены в повести «Перегной», правдиво показывающей жизнь предоктябрьской деревни и первой поры после пролетарской революции.

Командировка в Москву на курсы, сделанный доклад о библиотечной работе в деревне, хорошо принятый слушателями, прибавили убежденности Сейфуллиной в огромнейшей пользе ее деятельности на себе. Доклад был опубликован в сборнике «Книга и библиотека» и стал самой первой вешкой в сейфуллинской страстной и боевой публицистике. Здесь же, в столице, в Большом театре, Лидия Николаевна впервые увидела Максима Горького, услышала его речь, взволновавшую до глубины сердца. «Это было прекрасное волненье», — скажет она потом в очерке «О нашем писателе».

Возвратившись в Оренбуржье после успешного окончания курсов, Л. Сейфуллина снова окунулась с головой в бурную жизнь деревни, охваченную сначала событиями февральской, потом пролетарской революции 1917 года, наконец, огнем гражданской войны, голодом и разрухой.

Надо глубоко вникнуть в атмосферу тех лет, чтобы правильно понять душевное состояние Л. Н. Сейфуллиной, твердо и навсегда признавшей сердцем и умом молодую советскую власть. Будучи по призванию культпросветработником, связанным с книгой и массами, в августе 1919 года Лидия Николаевна станет работать в Челябинской городской библиотеке-читальне и вместе с В. Правдухиным будет пополнять ее фонды реквизированной литературой.

Вскоре Лидия Николаевна получит назначение на должность инструктора внешкольного сектора губернского отдела народного образования. К библиотечной работе добавятся другие неотложные заботы, связанные с борьбой за жизнь беспризорных детей.

В феврале 1920 года общественность Челябинска делегировала Сейфуллину на III Всероссийское совещание по внешкольному образованию, на котором выступал В. И. Ленин. Было представлено слово и Лидии Николаевне. Она говорила о необходимости смелее использовать культурные ценности прошлого, в частности, литературное наследие в работе со школьниками. По ее предложению было записано «пожелание, чтобы библиотечные отделы Главполитпросвета выработали положение о детских библиотеках-читальнях и план работы для них».

Потом, вспоминая свое участие в работе Всероссийского совещания и речь Владимира Ильича, Лидия Николаевна скажет: «Для меня этот день стал жизненным откровением. Он определил мое трудовое место в стране, весь мой дальнейший рабочий путь — внешкольного работника, позднее литератора».

И Сейфуллина все силы отдает строительству новой жизни: читает курс литературы, дает уроки русского языка бойцам Красной Армии, выступает на сцене Народного дома как актриса, сотрудничает в челябинской газете «Советская правда», публикуя на ее страницах

очерки и рассказы: «Юный коммунист», «Женщины», «Отклики», «О праздновании Парижской коммуны», «Чудесная деревня» и другие. Она выступает со статьями: «Как приохотить к искусству», «О новых путях», «На пороге», «Забытое искусство», «Несколько слов о наших библиотеках», «О детском театре». С ее участием систематически выпускаются в газете «Странички» для женщин и красной молодежи, организуются в городе вечера писателей.

«В 20-м году в Челябинске, — скажет она позднее, — некоторая часть интеллигенции саботировала. И та интеллигенция, которая работала с советской властью, делала все, что надо: если это были учителя, мы шли в школу и учили, если саботировали дошкольные работники, в детских учреждениях не хватало воспитателей, мы заменяли воспитателей. Мы были ликвидаторами неграмотности, и мы впервые читали курсы литературы или просто давали уроки русского языка бойцам Красной Армии».

Ее энергия и сегодня вызывает не только восхищение, но и удивление, как и когда она находила время и успевала все делать добросовестно и с истинной любовью.

Перелистаем пожелтевшие страницы подшивки «Советской правды». Учащенный пульс жизни Челябинска той поры поможет ясно понять общественный облик Лидии Николаевны, резонанс ее многогранной деятельности.

Вот номер газеты за одиннадцатое января 1921 года. На первой странице аншлаг: «Вчера по всей нашей губернии началась «Неделя ребенка». «Все силы, все заботы, все внимание отдайте в эту неделю детям». Вместо передовой дается статья А. В. Луначарского о «Неделе ребенка». Проходит несколько дней и по инициативе работников губнаробраза — Л. Сейфуллиной и В. Правдухина — объявляется конкурс на детскую пьесу. За короткий срок на конкурс поступает полтора десятка пьес. Их рассматривает комиссия, и первый приз присуждается Лидии Николаевне за пьесу «Егоркина жизнь». Под непосредственным руководством автора «Егоркина жизнь» ставится на сцене Народного дома, при котором затем организуется показательный детский театр — первый в нашей стране.

Много душевных сил Сейфуллина отдала борьбе с детской беспризорностью. С участием ее была создана первая на Урале детская трудовая колония на озере Тургояк, где Лидия Николаевна лично проводила большую воспитательную работу. Именно в этот период появляется замысел написать произведение о детях, обогретых заботой молодого Советского государства.

Так жизнь и работа в Челябинске в первую пору советской власти приобщила Сейфуллину к общественной деятельности — неиссякаемому роднику литературы, окрылила ее талант. И всю жизнь писательница, благодарная Уралу и его людям, не забывала этого. Самые сильные ее впечатления двадцатых годов и самые сочные картины южноуральской действительности отразились в ее лучших произведениях.

В 1921 году Л. Н. Сейфуллина уехала из Челябинска в Сибирь вместе с В. П. Правдухиным, и сначала сотрудничала в только что организованном Сибгосиздате, а затем журнале «Сибирские огни», выполняя обязанности секретаря редакции. В Новосибирске, как и в Челябинске, она с увлечением и страстью включается в общественную и литературную жизнь города: пишет статьи для газет, работает в отделе по борьбе с беспризорностью, ведет корректуру, пытается реализовать свои художественные замыслы. В газете у нее появляется рассказ «Павлушкина карьера» о гибели на улицах большого города беспризорника, в первом номере «Сибирских огней» публикуется повесть «Четыре главы» «о жизни актрисы Анны, — произведение во многом биографическое, передающее впечатление от увиденного и пережитого. Героиня повести как бы проходит четыре этапа в жизни — актрисы провинциальной сцены, содержанки хозяина рудника, деревенской учительницы, сближающейся с народом, наконец, революционерки. Писательница словно бы делает творческую заявку этим на главную тему — о судьбе женщины в революции, которой и посвятит свои лучшие произведения.

«Павлушкина карьера» и «Четыре главы» проходят почти незамеченными столичной печатью, и лишь челябинская, вятская и самарская газеты обратили внимание читателей на появление нового имени. Но и этого было достаточно, чтобы вселить надежду и веру в успех литературного дела, которое станет для нее уделом всей жизни.

Ободренная товарищеской поддержкой Лидия Николаевна во втором номере «Сибирских огней» (1922) печатает повесть «Правонарушители». Произведение это писалось в тот момент, когда общественность страны волновала беспризорность детей. Они ехали на Урал и в Сибирь со всех концов России. Сейфуллина тесно соприкасалась с беспризорными в Челябинске, наблюдала их в Новосибирске, они ранили чувствительное и отзывчивое сердце человека и литератора. В повести ярко выплеснулась боль и забота ее женской души о «ничейных» детях, материнское внимание к ним молодого советского государства.

«...Я писала «Правонарушителей», как песню по своей охоте пела. Дело не в объективности этого рассказа, а в том, что для меня, по моим силам, он большое достижение», — скажет она позднее. Это произведение писательница признавала самым ценным вкладом, внесенным ею в советскую беллетристику, считая, что оно написано по социальному заказу, с выбором наиболее актуального по тому времени вопроса. В столичной печати его отметил Н. Асеев, написав несколько хвалебных страниц в журнале «Красная новь». И в литературу уверенно вошло новое имя, а книга стала популярной у массового читателя.

В повести выведен умный организатор и воспитатель Мартынов. Прообразом его был начальник Тургоякской детской колонии С. П. Михайлов — коммунист, горячо преданный делу воспитания беспризорных детей. Его хорошо знала Л. Н. Сейфуллина по работе в Челябинском

губнаробразе. В колонии она пробыла около трех недель с группой культпросветработников. Изучая жизнь детей, она организовывала их досуг, художественную самодеятельность, различные кружки, ярко описанные в повести.

О пребывании Сейфуллиной в колонии правдиво рассказано в воспоминаниях колонистов и воспитателей, работавших тогда в Тургояке.

Почему же с «Правонарушителей» мы ведем отсчет творческого труда писательницы, рассказавшей нам о Мартынове, беспризорнике Гришке Пескове, тете Зине, педагогах и воспитателях детской колонии, хотя тема борьбы за перевоспитание детей, их тяжелой участи, была раскрыта в «Павлушкиной карьере», а позднее в «Золотом детстве» и в рассказе «Два друга»?

Прежде всего в этом произведении наиболее художественно выпукло и политически зрело описаны приметы того сурового времени, ярко и впечатляюще сведены в одном фокусе — в образе Гришки Пескова. Читателя подкупает человечность, обаятельность, правдивость и непосредственность натуры подростка, на которого тяжелое лихолетье наложило свои следы — грубость, дерзость, порочность, но не сломило человеческую веру в лучшее будущее, силу бороться за него, преодолевая невероятные трудности, противоборствуя им. Может быть, оттого и само произведение дышит действенным гуманизмом, полно социального оптимизма — характерной черты жизни тех лет, зовущей и читателя к активной деятельности, преодолению всех препятствий на пути к новому социалистическому обществу.

Именно это все больше и больше чувствует читатель, открывая с каждой страницей повести новые черты характера Гришки Пескова, наблюдая в нем чудесное превращение из злостного «правонарушителя» в сознательного и дисциплинированного члена трудовой детской колонии. Заслуга в этом коммуниста Мартынова, сумевшего в Гришке, как и во всех колонистах, воспитать радость общего труда, дружбу, чувство коллективизма, гражданственности и определить свое место в новой жизни.

Вслед за «Правонарушителями» в «Сибирских огнях» появляются «Ноев ковчег» и повесть «Перегной». Перед Сейфуллиной широко открываются двери в большую литературу. «Правда» печатает положительную статью о творчестве ее и Зазубрина. Лидия Николаевна получает приглашение сотрудничать в столичных изданиях. С надеждой она посылает в «Красную новь» один из лучших, по ее мнению, рассказов «Александр Македонский», но редакция возвращает рукопись как непригодную. Рассказ печатается в Сибири в отдельной книге «Перегной». Книга имеет успех. Лишь позднее она получает признание в столице, где появляются рассказы «Инвалид» — в журнале «Прожектор», «Инструктор «красного молодежа» — в журнале «Молодая гвардия», выходит сборник рассказов в издательстве «Круг». Затем в журнале «Красная новь» дается «Мужицкий сказ о Ленине», а в журнале «Красная нива» — рассказ «Преступление».

Лидия Николаевна становится одним из самых читаемых и популярных писателей. Ее произведения переводятся на немецкий, французский и другие языки. Она переезжает в Москву, но до конца жизни поддерживает теснейшие связи с сибиряками и уральцами, внимательно следит за всем, что делается в Сибири и на Урале. Лидия Николаевна активно включается в литературную жизнь столицы и создает здесь «Виринею» — произведение, являющееся художественной вершиной ее творчества. В этой повести, как и в других ее ранних произведениях, уральские впечатления составляют основу сюжета, ложатся богатыми красками на словесную палитру Сейфуллиной.

В самом деле, прототипом главного героя повести «Александр Македонский» был заведующий Челябинского УОНО рабочий-выдвиженец Албычев. В рассказе «Инструктор» красного молодежа» отражены подлинные события, происходившие в селе Воскресенка Челябинского уезда, «Мужицкий сказ о Ленине» записан в поселке Карагай, ныне село Карагайское Верхнеуральского района. Сказ после напечатания в журнале был издан в 1925 году в серии «Ленинская библиотека» пятидесятитысячным тиражом, неслыханным по тем временам, и разошелся мгновенно. Он открыл в художественной литературе Лениниану — серию книг, посвященных организатору Коммунистической партии и вождю пролетарской революции.

Однако «Виринея» на длительное время как бы заслонила все созданное Сейфуллиной. О произведении и писательнице заговорили во весь голос. Анализируя повесть, говоря о главной ее героине, большая критика единодушно сходилась в оценке.

А. Воронский писал:

«Повесть Сейфуллиной «Виринея», на наш взгляд, является лучшей из всего написанного ею доселе и одной из лучших вещей в литературе после Октября». И, развивая мысль об образе героини, продолжал: «Виринея — новый тип женщины на Руси. Она стала возможна только в нашу эпоху... Виринея — вполне реалистический тип, и в то же время она соткана из самых заветных, потаенных настроений и дум художницы. Она — ключ к творчеству Сейфуллиной, так как в ней наиболее полно раскрываются различные стороны ее художественного дарования».

Критик особо подчеркивал, что писательница нашла отменно простой и чистый язык, где диалог по ритму, по языку вполне сливается с повествованием.

Д. Фурманов, откликнувшийся сразу же на повесть большой рецензией, как бы вторил А. Воронскому в общей оценке произведения, а о самой героине, ее типичности и самобытности, глубине народного характера, писал:

«У Виринеи в каждом слове, в каждом поступке чувствуете вы подлинную силу, богатые, но дремлющие неразвернутые способности. Это не просто забитая крестьянская женщина, удрученная и замучен-

ная невзгодами тяжелой, беспросветной жизни, — о нет, Виринею в дугу не согнешь. Как кряж, крепкая... скорее погибнет, а не поддастся».

Этому произведению Л. Сейфуллиной была дарована долгая и счастливая жизнь. Более полувека прошло с тех пор, как Лидия Николаевна словно бы кровью сердца писала свою «Виринею», писала и будто переживала все, что прошло перед глазами, все, что слышала, перечувствовала, учительствуя в деревне, а события тех лет с прежней силой волнуют и сегодняшнего читателя и зрителя.

Шумный успех выпал на долю пьесы «Виринея», поставленной театром имени Вахтангова. Показанная на Пражской сцене в дни гастрольной поездки в Чехословакию, пьеса Сейфуллиной принесла не меньшую славу автору и театру за пределами нашей отчизны. Образ Виринеи, созданный Лидией Николаевной, помог в наши дни создать впечатляющую своей правдивостью киноленту, вдохновил композитора написать оперу. Нет временных границ для «Виринеи». Она завладевает нашими чувствами в постановках драматических театров и оперы, заставляет сопереживать все, что развертывается на сцене и в киноэпопее.

Сейфуллиной удалось раскрыть психологическую многогранность образа Виринеи, ее переход от женщины, мятущейся в поисках своего счастья, своей лучшей бабьей доли, до сознательного борца за народное счастье, за лучшую долю, забитых горем и нуждой деревенских тружениц. Внутренний бунт героини вполне понятен и оправдан. Умная и красивая, волевая и физически сильная, умеющая споро работать и по-своему жить и любить, Виринея показана писательницей вольной и независимой.

Вирка не боится пойти против укоренившихся обычаев деревенской жизни, бросить ей вызов. Она уходит из богатого дядиного дома, чтобы невенчанной жить с больным Василием в его нищей избе. Потом она бросает нелюбимого Василия и батрачит на чужих, находя радость в труде. Все это героиня делает, кажется, вопреки здравому смыслу, но это ее бунт против старых, ненавистных ей устоев.

Она пытает свое счастье и на строительстве железной дороги, но и тут не находит душевного удовлетворения и опять бунтует. Вирка возвращается к прежней жизни, когда над деревней проносятся проблески нового вместе с революцией. Больше нутром, чем умом, женщина чувствует и понимает — надвигается обновление в деревенской жизни.

Писательница все время сталкивает героиню с разными людьми: то противопоставляет ей солдатку Аксинью, жившую во всем по-старинке, то заставляет встречаться с влюбленным в нее инженером — чуждым Виринее по духу, и наконец, сближает ее с солдатом Павлом. Присматриваясь к нему, Виринея как бы прозревает и сердцем ощущает, что за ним — революционером и большевиком — та самая правда, которую она искала, к какой тянулась вся ее чистая натура, жаждав-

шая активной борьбы с патриархальным укладом деревни за новую и светлую жизнь.

И в Вирке, сначала не любившей Павла, вдруг вспыхивает и пробуждается настоящее человеческое чувство к нему, деревенскому мужику, стоящему на голову выше всех, кого она знала и встречала на своем пути. Виринея духовно перерождается. Она становится не только искренне любящей женой, но и помощницей Павлу в деле революционного преобразования деревни.

Таков закономерный конец в развитии образа Виринеи в сейфуллинской повести, неизбежный и единственно правильный путь активного и сознательного вступления в революцию русской деревенской женщины, похожий на тот, по которому шла и героиня «Матери» Максима Горького.

Однако первоначальный замысел писательницы был несколько иной. Сама Лидия Николаевна об этом говорит так: «Виринею я очень хотела сделать настоящей революционеркой, политруком в частях, сначала Красной гвардии, потом Красной Армии. А когда я увидела свою героиню до конца, то поняла, что она не может быть политруком. Единственно, что может эта первая бунтарка, — это умереть честно...»

В финале повести Виринея погибает. Однако оптимистическое звучание произведения, главная мысль, вложенная Сейфуллиной в повесть — побеждает революция и народ — звучит еще убедительнее и исторически правдивее.

Несмотря на признание Сейфуллиной, что над «Виринеей», как и над «Правонарушителями» она работала «мало, всего только три недели», повесть эта пропета ею на одном дыхании. Лидия Николаевна писала то, что чувствовала, что наблюдала в деревне, то, о чем хорошо знала. Удача с «Виринеей» была подготовлена всей предшествующей творческой работой писательницы, в том числе и созданием повести «Перегной», где ярко вылеплен образ Дарьи — тоже крестьянки, жены главного героя произведения Софрона, стремившейся сбросить с себя рабские путы, но которой так и остаются чуждыми сознательные цели революции и общественные интересы мужа.

«Перегной», «Виринея», «Каин-кабак», «Мужицкий сказ о Ленине» дают яркие образы разноплеменных и разноязычных героев, списанных с живых людей, населяющих огромную территорию Южного Урала, отлично знакомую Лидии Сейфуллиной. Кроме русских сел и старообрядческих поселков, в произведениях описаны степные башкирские и мордовские селения, киргизские кочевья и зимовки, дана жизнь такой, какой ее видела и знала писательница.

И, хотя мы не назовем рассказа или повести, где бы сквозным героем был башкир, киргиз или мордвин, но те картины и эпизоды, которые органично вплетаются в ткань произведения, передают присущий южноуральской деревне интернациональный колорит. Читатель чувствует это в названиях деревень, рек и гор, в обрисовке внешности людей, передаче их разговора, в описаниях одежды, предметов обихода,

то есть всего того, что правдиво передает национальный характер. Собственно, так и было в действительности. Малоземельные поселенцы, батрачье, беднота русская, мордовская, башкирская мало чем отличались друг от друга по социальному признаку.

И Сейфуллина, верно подметив последнее, правдиво сказала в «Мужицком сказе о Ленине», беднота всех национальностей нерушимо верила в Ленина, создавала о нем свои былины и сказы. Для народа он был красный народный вожак, заботливый и справедливый человек, умеющий все правильно рассудить и сделать.

В «Каин-кабаке» — повести, названной по хутору, затерянному в окружении нищих башкирских деревень, где развертываются драматические события, есть небольшой, казалось бы, проходной для этого произведения эпизод, но запоминающийся читателю художественной яркостью, так типичной для палитры Сейфуллиной.

«С десяток соннолицых башкир в заношенных теплых малахаях, в пятнисто-грязных кафтанах, стеганых или на меху, сидели на корточках под навесом. Трое, часто сплевывая, курили слаженные собачьей ножкой вертушки с махоркой. Один со сморщенным, будто испеченным лицом, по-кошачьи сладко жмурился, забивая нюхательным табаком приплюснутые ноздри. Остальные долго, не мигая, блескучими желто-черными глазами следили за табачным дымом. Перекликались время от времени короткими гортанными, как клекот хищных птиц, словами. Лобастому чекисту все башкирские лица скудноволосые, малоподвижные, обтянутые тугой кожей, показались одинаковыми по виду и по возрасту».

И, в самом деле, здесь все прорисовано густыми и сочными мазками, положенными на полотно умелым художником, владеющим приемами реалистического письма. Читатель зримо видит картину, словно вырванную из гущи народной жизни. Или вот другой эпизод, казалось бы совсем незначительная сценка, взятая из «Виринеи», но в ней тоже сочно и предельно сжато передается национальный колорит.

...«В горницу ворвался косоглазый мальчишка в черном бешмете, в порыжевшей тюбетейке на бритой голове и с длинным кнутом в руках. Прямо к столу кинулся.

— Тебе чего, малайка? Куда лезешь?

— Башкирский листка номр втарой айда давай. Отбирай мужикам. Ваша ни нада, наши ни хватаит. Ваша вота.

Вынул из-за пазухи кипку смятых листков и бросил на стол:

— Айда, отбирай, пыжалыста, скарей, наша волость ждут. Вирхом скакал, шибко лошадь гнал!

Председатель выругался и замахал руками. Писарь сбоку на стуле сидел. Быстро встал, достал со шкафа пачку листков и сунул башкиренку:

— Дуй!

Тот плеснул косыми глазами, взял листки и убежал из горницы.

Учитель вздохнул, потер лоб и покачал головой. Народ подходил. На улице шум все сильней становился...»

Как бы исчерпав себя в изображении близких и дорогих ее сердцу героев, Лидия Николаевна внимательно всматривается и изучает нового человека, формирующегося в условиях социалистической действительности тридцатых годов. Она пытается еще раз вернуться к излюбленной теме и посвятить деревне повесть «Каин-кабак», но главный герой ее Алибаев, бывший красный партизан, превратившийся в анархиствующего бандита, как и само произведение, окажутся лишенными идейной ясности и авторской целенаправленности. Силы, противоборствующие алибаевщине — беднейшее крестьянство Каин-кабака и чекисты, не получили полнокровного авторского освещения. От этого повесть проиграла. Она оставляет у читателя впечатление композиционно незавершенного произведения.

В тридцатые годы писательницу все больше и больше волнует поколение, выросшее при советской власти. Она пишет рассказ «Собственность» и повесть «Таня», пытается дать образы молодых людей, понять и художественно объяснить их поступки и характеры. Читатель запоминает трогательно-романтическую героиню Таню. Образ девочки-пионерки подсказан был писательнице задушевной беседой с Надеждой Константиновной Крупской о детях и родителях.

Лучшее творение этих лет — «Таню» похвалил М. Горький, сказав: «Я уверен, что Вы могли бы отлично писать о детях, о женщинах в их совершенном виде». Сейфуллина потом признавалась: «Все, что есть в рассказе хорошего, дано мне Надеждой Константиновной». И, как бы следуя совету Алексея Максимовича, почитаемого Сейфуллиной за учителя, она лишь в годы Великой Отечественной войны создает повесть «На своей земле». В произведении крупным планом она покажет судьбу Лизы Чайкиной и ее матери Аксиньи Прокопьевны. Это последнее и значительное произведение писательницы. В нем как бы протягиваются живые нити преемственности героев из народа, которые боролись и погибали за советскую власть с теми, кто отстоял завоевание Великого Октября от фашистской нечисти.

Так органически слились близкие сердцу Лидии Николаевны двадцатые годы с современностью, бойцовские качества героев ее произведений получили новое развитие в несгибаемом мужестве советского народа при защите социалистического отечества на фронтах Великой Отечественной войны.

Да и сама писательница, захваченная сильным и благородным чувством патриотизма, несмотря на преклонный возраст и недомогание, выедет на передовые позиции смертельных сражений с ненавистным врагом. Не признавая устали, она своим грозным оружием — пером и словом — будет помогать фронтовикам громить фашизм.

Впечатления трудных военных лет, сначала насыщенных искренним всенародным горем, а потом радостью победы, отразятся ею в очерках и рассказах, передаваемых по радио и опубликованных в пе-

чати, затем незабываемыми картинами войдут в повесть «На своей земле».

Л. Н. Сейфуллина, награжденная за литературную деятельность в 1939 году орденом Трудового Красного Знамени, теперь будет законно гордиться тем, что на ее груди сияет гвардейский значок, что солдаты, с которыми она встречалась и беседовала на фронте, будут любовно называть ее «гвардии мамаша».

Лидия Николаевна написала меньше того, что могла бы сделать по своему таланту. Но она всегда искренне стремилась и отдавала людям сполна богатство своей души, теплоту сердца, обширные знания, накопленные в многотрудной жизни. Она стояла у истоков советской литературы, принадлежала к числу ее зачинателей, честно и победно пронесла свое творческое знамя до последнего дыхания. Она ушла из жизни, уверенная, что принятую эстафету новое племя писателей понесет дальше, а знамя поднимет выше и обогатит духовную культуру советского народа новыми и вдохновенными свершениями во имя светлого будущего.

А. Шмаков

ВИРИНЕЯ

1

После полуночи Савелий Магара тревожно поднялся с постели, неверной трясущейся рукой зажег лампу. От непривычного света в глухой ночной час проснулась и жена Магары. Она огляделась вокруг и охнула испуганно.

— Чтой-то ты, Савелий? В нутре схватило, што ль? А? Лик у тебя больно темен. Занедужил, а? Вон тамока, на божнице, вода свяченая...

Савелий глянул сурово из-под нахмуренных бровей потемневшими серыми глазами, широкой рыжей бородой повел, передохнул так, что большие, крепко сбитые плечи всколыхнулись. Прервал глухо:

— Не мешай. Виденье мне сейчас было. Неизвестного имя и какого перед богом чину — мученичьего ли, али преподобинского, не знаю, — но угодник мне явился... Стоит вот тут будто, у стола, и кличет сердито: «Савелий Астафьев Магара!» Хил и росточку малого, немудрящий такой, а голос — крепкий. Голосом на земского начальника схож. Я со сну-то спервоначалу и не разобрал, что от бога это. Думал, по земному делу расход. Тишком себе в бороду изругался крепко: что ты, думаю, пралик тебя зашиби, как это на меня земского нанесло? А в нутре-то уж чую, что не земский. Чисто лед по кишкам, захолодал с нутра, и по коже дрожь.

Не столько самые слова, сколько обилие этих слов испугало старуху. Неохотлив он на разговоры — тяжелый у Магары язык. А тут вон как подробно рассказывает, слово на слово нижет. Старуха начала торопливо одеваться, сама несвязно забормотала:

— А-а-ах, мамынька! Свят, свят, свят! Владыко, царь небесный, господи... Слышь-ка, а може, то не угодник, а

Стрепетихи-мордовки навод? Человек ты перед богом незаслуженный, не молитвенник. С чего к тебе угодник затрудится, пойдет? Помолись да прочитай молитву хорошу. Вот: «Да воскреснет бог, и расточатся».

Савелий негромко, но сердито прикрикнул:

— Тише, ты! Молодых в передней горнице разбудишь. А это дело пока тайное. Угодник, тебе говорю! Бог в меня перстом ткнул. С того и холод в нутре. Три раза виденье было.

Старуха заахала, прикрыла голову платком и закрестилась испуганно и часто.

— Божа матушка, троеручица. Господи, батюшко. Свят, свят...

— Погоди, не мешай. Не лезь вперед, не мешай моей молитве. Сам сейчас молиться зачну.

Магара встал, тяжело согнул большое тело, упал на колени и бил поклоны до восхода солнца.

С той ночи и повредился сердцем мужик. Оно и раньше и Магары было тяжелое. Веселиться Савелий не умел, не смеялся, а только невнятно гмыкал в короткий миг своей веселости. Раз в году на него накатывало: зашибался вином. Во хмелю буйствовал. Ломал все, что попадалось под руку, жену и детей жестоким боем бил. Старшей дочери в ухе слух перешиб. Так и осталась на одно ухо глухая да пугливая. Но отходил разгульный срок, и остальное время правильно жил мужик. Люди уважали его за крепость хозяйственную, за добычливость. А теперь совсем по-другому все поворотил. Большое хозяйство на зятя, за младшей дочерью в дом взятого, бросил. Глядя поверх головы зятевой, сказал ему веско и строго:

— Ты меня теперь по хозяйству не замай. Как хочешь, верти. Хочешь копи, наживай, хочешь по ветру развей, мне все одно, мне теперь не то указано. Молитву строгую и пост должен справлять. Расспросами о хозяйстве, о земной суете не вводи меня в стяжение, во грех.

Дочерям, в другие села замуж отданным, дали весть. Они с мужьями спешно приехали. Баб в избу набилось — не продохнешь. Судить, рядить, ахать принялись. Савелий грозно ногой топнул, закричал сердитым зыком и ушел из избы. За селом землянку себе сложил. Зимой в ней молился, а летом на камне под горой. Пропитанье скудное, по его приказу, семья ему носила. Питался только хлебом и водой.

В Нижней Акгыровке сперва удивлялись, а потом почитать Магару стали. Главное дело, и перед богом хорошо: замолит за своих однодеревенцев, и перед людьми лестно.

Первый угодник из мордовско-русской части деревни Акгыровской. В округе люди богом зашибались и до Магары. Но больше сектанты да кержаки, до веры лютые. Жили они на горе, в той же Акгыровке. А жители Нижней Акгыровки особой набожностью не отличались. Насчет крестин, венчанья, похорон и исповеди в великом посту исполняли, что требовалось, но с прохладцей. Без ретивости. Ближайшая православная церковь была в пятнадцати верстах от Акгыровки, в селе Курайга. И рекой без моста отделена. Курайгинский поп с амвона в строгом проповедном слове баб акгыровских на весь приход ославил: молитву очистительную после родов не на сороковой день, как по уставу положено, а ко вторым родинам приезжают брать. Но что поделаешь: то река мешала, то по крестьянскому делу недосуг. Так и ходила нижняя Акгыровка по богову делу в последнем счету. А тут вдруг сразу: старатель перед богом свой.

И в соседние волости далеко о Магаре слух прошел. С каждым годом в молитвенном деле Савелий все больше укреплялся.

На третьем году молитвы, когда на камне от коленок Савельевых даже отметины обозначились, стал ему бог в виденьях чаще являться. Предсказывать Магара начал. Один раз пришел в село в праздник, на улице старикам объявил:

— Небо трясется. Вам не видать, а мне открыто. Народу больно много на земле развелось, — дышат и трясут. Виденье мне было: собрались все цари земные и ногами друг на дружку сердито стучат. Не иначе война будет.

Подивились акгыровцы, потолковали о страшном видении Магары и забыли. Только через два года, на третье лето, первыми вспомнили о нем женщины в семье Магары. В тот вечер отыграла заря багровым огнем, указав тем цветом ветер на завтрашний день. Но темень ночная тихо расползалась над землей. Плыла прохлада от реки. Тянула с собой на деревню дымок от костров приречных жителей, на воле сготовивших летний свой ужин. Пахло во дворах парным молоком, свежим сеном и дегтем от колес. Народ не спеша готовился лечь на покой. Замирали в постепенных переходах от шумливого дня к затиханью в ночи звуки во дворах и избах. Вдруг, вздымая по улице тяжелую на подъем вечернюю пыль и яростный собачий лай, проскакал на маленькой запаренной лошаденке длинноногий мужик. На скаку он махал палкой с красным лоскутком. Старостиха со двора увидала. За мужем в избу кинулась.

— Айда скорей! С красным лоскутом верховой из во-

лости. Стало, за рекрутами. Господи, батюшка, что это нежданно-негаданно...

Всю ночь беспокоился народ и в низине и на горе у кержаков. К старостиной избе в Нижней Акгыровке нанесли фонарей. Колыханье слабых огней в густой ночной темноте было беспомощным и тревожным. Мигали в окнах лампы и светцы, непривычные в летние ночи, в избах светил жар неурочно затопленных бабами печей. По деревне ширился, нарастая, разноголосый шум. Визгливый бабий крик, унылое причитанье старух, заливистый плач перепуганных суматохой детей, глухие возгласы стариков и крепкая брань молодых мужиков. Кержаки сбились на горе у конторы, где жил молодой инженер с постройки железной дороги. У него по проволоке разговор через трубку на стене был, не известный до того времени в Акгыровке телефон. Инженер охотно разъяснял собравшимся:

— Германия получит достойное возмездие. Очень скоро получит...

А в нижней части расспросить было некого. Школа с заколоченными ставнями стояла, учитель на лето уехал. Староста, сдабривая крепким перцем ругательных слов неохотливую, медлительную свою речь, шарил в сундуке, искал служебную бляху. Старостиха тонким жалобным голосом, со всхлипом, расспрашивала нарочного:

— А с кем война-то? Далеко ль угонют?

Кривоглазый нарочный, почесывая запотевшую спину, отвечал неопределенно:

— Ровно с Ерманией, а хорошень не разобрал. Некогда было! Старшина сам меня с крыльца столкнул, чтоб без роздыху гнал. Видишь, дело-то какое повернулось: чтоб завтра к полдням в город поспели наши призывники. А до городу двести верст. Ни то к полдням — и к ночи не поспеть.

— Где поспеть! В волость-то тольки-тольки могут к завтрему к полдню.

— Ну, так и норовят. Но чтоб в волость обязательно.

— И сроду не видано, не слыхано — без проводин перед царской службой, без разгулки.

И старостиха завыла громким голосом:

— Сыночек ты мой, Митенька. Роженый, хоженый, да куды тебя забирают в ночну пору чижолую? Да на кого ж ты спокинешь супругу молоду-у свою и наследничка своего, дитя малое? Сестер, братьев, отца-батюшку и меня, родительницу твою горьку-ую...

Страстное короткое рыданье прервало старухин тягучий плач. Настасья билась головой в грудь Митрия, вце-

пившись пальцами в его опущенные плечи. Митрий смешно поводил шеей, будто его теснил воротник. Старался оторвать бабьи руки и нарочно сердитым голосом унимал:

— Отцепись! Завы-ыли! Чего раньше смерти отпеваете! Ну-к, собирай на стол. Печь-то выстывает, айдате пеките, чего там затеяли.

Староста с натугой поднялся от сундука, поглядел на сына замутневшими глазами и буркнул:

— Буде, бабы! Айда, давай водочки, — там сколь-то было. На царску службу с песнями, с гульбой надо провожать, а у нас один вой.

Но ни песен, ни гульбы в эти проводы не было. Рекруты уходили без удалости, без храбрящего хмеля царской водочки. Кабака казенного в селе нет, а у шинкарок на всю деревню мал оказался запас. Из печек, не в час затопленных, тоже не сладки подорожники вышли. Бабы в горькой слезе стряпали, плохо доглядывали. Только солнце встало, подводы со дворов двинулись. Народ на улицу высыпал. Появился в деревне Магара. За ним бежала его жена, с горьким плачем напоминала:

— Вот исполнилось твое предсказанье. Шибко много народу, — царь поубавить решил. Война!

В длинной домотканой рубахе до колен и в старых грязных портах Савелий шел возле подвод, сбоку, сердито встряхивая рыжими с проседью волосами. Далеко по дороге надрывный бабий вой стоял. Старик Федот батожком по дороге стучал, шел рядом с Магарой и говорил ближним на подводах:

— Поди, не надолго война, — ничего не слыхать было. Про стары войны загодя слух приходил. Солдатов с эдакой спешкой не сбирали. Не войте, бабы, как я смекаю, скоро мужики воротятся...

А Магара зычным голосом, далеко слышно по подводам, объявил:

— Надолго война! Народу хрестьянского много в русском царстве развелось, земли не хватат. Пока весь лишок своего народу царь не переведет, война не кончится.

2

И опять вышло по слову Магары. Вторая пашня подходит, а здоровые мужики царевым делом маются. На хозяйстве остались бабы, старики, из молодых — только телом неправильные да нанятые чужаки. Некоторые из богатых откупились было, но позабирали и тех. Кой-кого не на самую войну, а все от дому.

Повитухе Мокеихе акгыровские бабы позавидовали. Вернулся к ней сын по весне. Невысок, узкоплеч, щеки в обтяжку, кашляет часто, как давится. А все — свой мужик, для хозяйства, как-никак, старается. И не то что без руки, без ноги. Хиловат, а без видимого повреждения. Низенькая пухлая бабка Фекла, соседка Мокеихина, часто вытирая ласковые слюнявые губы, говорила ей слащаво через плетень:

— И жить тебе, бабка, только бога благодарить. Сын пришел целехонек, и слуху нет, что заберут. А уж всех позабирали, всех! Старики остались да совсем трухлявые. Твой-то вон и кралю без венца заполучил. Ничего, значит, еще сила в мужике живет. А больше из наших деревенских молодых-то и не видать! Все седые да недоросточки. Когда рази эти казенные жеребцы, анжинеры с постройки пройдут аль австрийцы пленные. А нашинских соколиков нет. Не-ет! В других деревнях хучь подранки крепкие, а у нас тоже наперечет. Васька-то, сказывают, на дорогу нанялся? Ай, так, на раз взялся услужить?

Мокеиха, снимая старенькие порты с плетня, неохотно ответила:

— На раз. С гумагой какой-то в участок пошел.

В избу поторопилась уйти. Знала и боялась, что на молодуху Вирку соседка разговор переведет. А уж неохота покор-то людской слушать.

Забурлила в степных логах вода. Не берет конь дорогу. Но по холмам есть для пешеходов узкие ненадежные тропочки. Польстился Васька на хорошую плату. Письмо от инженера с постройки в участок за восемь верст понес. Десятку инженер обещал. Деньги у господ не лежат тишком в кармане, легко шевелятся. Не то что мужичьи, несворотные. Очень просто, к десятке еще и прибавит чернявый этот барин. Как начали дорогу строить, вся округа от них пользуется. Но что-то больно долго Васьки нет. Инженеру, видно, и впрямь дело срочное, — сам пришел к ним во двор. Мокеиха в окно увидела, из избы навстречу выбежала. Поклонилась искательно в пояс и певучим голосом спросила:

— Поди, из-за моего сына потревожились? Ах ты, господи, батюшка! Забота вам видать... По нашей по улице в эдаку грязищу ходить и мужику-то неохота. Вот грех-то: нету еще его, нет! Уж не гневайтесь.

Инженер хмыкнул и форменную фуражку досадливо на голове подвигал. Старуха еще ласковей успокаивать принялась:

— Он скоро... Вот-вот вывернется. Он у меня шустрый, зря валандаться не станет. Мигом обернет. Ноженьки-то молодые, резвые.

Инженер прикусил черный ус, помедлил и сердито сказал:

— Не скажу, чтоб очень резвый. Или утром долго проспал? Если б вышел на рассвете, как обещал, так уж вернулся бы.

— И ни-ни, ни-нишеньки, никак не проспал. Не сумлевайтесь, право слово, не проспал. Ране петухов вышел! Как можно проспать, коли хорошему человеку посулился.

И уже искренней, голосом посуше, погрубей добавила:

— Сам, поди, обернуться торопится: издрог, измок и не емши.

Василий не только ответ от начальника участка, еще табаку должен принести. Инженеру очень хотелось курить, а ни табаку, ни папирос нет. В этой дыре и купить нельзя. Поэтому он злее, чем хотел, оборвал старуху:

— Как придет, немедленно пусть ко мне.

И осекся. Женщина во двор вошла. Измельчал народ. Красивость женская стала мелка и лукава. От одежды, от старания зависит. А эта и в узких для нее линялых городских обносках — сановита. Безразличный на них со старухой взгляд кинула. У инженера этот взгляд больших, но не круглых, с жаркой золотинкой глаз странно в сердце отдался. Точно давно его глаза встретить такой вот взгляд желали. Сразу и надолго, с удивительной щемящей радостью запомнил легкую смугловатость, румянец редкой неяркой краски, губы такие же неяркие, будто нецелованные, строгость четких бровей и тускловатую рыжину коричневых гладких волос. Ноги со двора не пошли. Замялся. Нерешительно, почти смущенно сказал:

— Я, пожалуй, у вас подожду. Вероятно, он скоро придет.

Старуха неохотно отозвалась:

— А как желаете. Дело-то уж к ночи, должон прийти.

Из избы опять та женщина вышла. Полное ведро помоев вынесла. Сказала недружелюбно:

— Посторонись, барин, оболью.

Старуха спохватилась:

— Ну, дак в избу не то пожалуйте. Не красно у нас, да чего же на дворе-то стоять? Заходите.

Чувствовал, что лучше бы уйти, но безвольно за старухой в жилище вошел. Негромко и с запинкой спросил:

— А это что же?.. Дочь ваша, что ли?

Старуха поджала губы. Сказала сухо:

— Сынова баба...

И, не сдержав злобной горечи, добавила:

— Невенчанная. Так держим. Антипа кержака слыхали? Его племянница. Из такого-то дому да на нашу бедность позарилась, к Ваське сбежала. В городу без закону три года валандались. Ныне только недели две как сюда обернулись. Теперь, может, и обзаконятся, а сейчас от людей нехорошо. Отроду не слыхивала, чтоб в семье нашей такой срам разводился. Побаски тут всякие про нее, про Вирку-то. Я к тому, что, поди, и вы слыхали. Добрая-то слава лежит, а дурная-то ни то бежит, лётом летит.

И спохватилась:

— Проходите, пожалуйте, вот тут садитесь.

Фартуком смахнула что-то со скамейки перед столом в переднем углу. Шершавой рукой по деревянному чистому столу провела, обвела унылыми глазами всю тесную низенькую избенку, вздохнула и отошла к сторонке. Инженер сел. Ему хотелось еще расспросить, но стеснялся. Мусолил вялые фразы о дружной весне, расспрашивал неумело и непонятно о хозяйстве. Когда молодая женщина вернулась в избу, инженер почему-то счел необходимым спросить:

— Хочу у вас подождать, пока ответ принесут. Я вам не помешаю?

Она криво усмехнулась и отозвалась неласково:

— Скамейку не просидите, поди. А нам какая помеха?

Сняла с полки грубый шерстяной чулок, села спокойно у окна и принялась вязать. Старуха работать при важном госте не решалась. Сидела, сложив на коленях стесненные праздностью руки. Инженер барабанил пальцами по столу. Ужасно неудобно и стеснительно это молчание. Кашлянул и неуверенно спросил молодую:

— Вы нездешняя, кажется? Я не знаю вашего имени...

Она посмотрела искоса и засмеялась. От блеска белых зубов, от ясности открытой улыбки юней и проще стал весь ее строгий облик. А у инженера на лице отсветом глуповато-радостное восхищение.

— По-кержацки зовут Виринея. У нас свои святцы. Чтой-то вы, барин, до меня больно с интересом? Ты с маменькой поговори. Она жила дольше, и разговору у ней больше. А лучше шли бы вы домой, в чисту горницу, чем в нашем закутке дух наш мужичий нюхать. Принесет Василий, что надо, мы к вам доставим.

И с новой, чуть лукавой усмешкой добавила:

— Я принесу.

— Да, да, пожалуйста. Я за беспокойство заплачу. А то действительно долго, пожалуй, ждать. Ваш муж, вероятно,

вернется усталый, ну, так вы или кто... Пожалуйста, уж принесите или пришлите.

Старался говорить просто, голосом строгим, но глаза выдавали его волнение. Слово «муж» с запинкой выговорил. Виринея пристально взглянула на него, потом бросила косой взгляд на старуху и сухо сказала:

— Кто ни на есть, а пакет доставим. Не на даровщину, — знамо, заплатите. Эй, погодите-ка!

В окно Василия увидела.

— Притащился. Чуть ноженьки волокет. Сейчас отдадим, что принес.

К двери пошла. На ходу оглянулась и сурово сказала:

— За эдакую ходьбу и без доставки прибавить надо. Другой и за четвертную бы не пошел! Шутка ли, по склизкому берегу да по студеной воде...

Инженер торопливо вынул бумажник, но Вирка уже ушла из избы. Он сунул старухе пятнадцать рублей. Та даже назад подалась, до испуга обрадовалась. Тоненьким голосом льстиво залепетала:

— Уж мы вам вдругорядь когда расстараемся. Заслужим уж... Покорно благодарим. Когда надо, только кликните.

Стояла и кланялась. А сердце к сыну тянулось. Уходил бы барин скорей! Василий вошел посиневший, издрогший и сразу закашлялся, бессильно опустился на припечку. Сквозь нудный кашель он невнятно выговорил:

— За-адрог. Ви-ирка, отдай барину... Вот пакет, а вот еще... Подмочил немного, в воду осту-у-пился.

И затомился новым приступом кашля. Инженер на него не смотрел. Только когда вошел, худобу и тусклость его с бессознательным успокоеньем отметил. Когда посылал, и не поглядел, что за человек. А сейчас увидел. Мокрый сверток от Виринеи с улыбкой принял.

— Ну, что ж, трудно по такой дороге сберечь. Тут табак, его просушить можно, а гильзы у меня еще в запасе есть. Спасибо, спасибо.

Виринея бровью повела:

— Это за табаком в такую дорогу человека гоняли?

Покачала головой:

— Ну, и нетерпеливое у господ нутро! Чего захочет, через нельзя достань, да подай! А то замается, ровно от заправдишной нужды, вот как из-за этого табаку... Деньги-то он заплатил? Кому отдал?

Старуха сердито крикнула:

— Дадены деньги, дадены. А ты бы спасибо сказала за господскую за доброту.

— Страсть добер! Васька-то опять пластом лежать будет: застудился.

Инженер рассердился:

— Ну, это уж не моя вина. Всего хорошего. Спасибо.

Быстро из избы вышел. Подумал про Виринею: «Видавшая виды... корыстная».

Но ночью она приснилась. Он так ясно увидел ее строгие, но жаркие глаза и всю прелесть этого женского лица, что сразу проснулся, вышел на крыльцо и до зари слушал тревожный вешний гул. Молодой инженер был деловит и строг к себе. Гимнастику делал неустанно, жизнь размеренную вел. В городе у него связь разумная и чистоплотная была. Здесь, здоровье оберегая, опасался охотливых солдаток, всю страстность отдавал делу и свою карьеру начал хорошо. Только вторая постройка, а он уже начальник дистанции. Война отняла рабочие руки и средства. Но теперь дело идет к концу. А торопиться в город нечего. Срочная постройка освобождает от войны. Любовное безрассудство инженер считал нечистоплотной распущенностью. И раньше случались внезапные вспышки при виде женщин желанного облика, но глушил их быстро. В эту же тридцать первую весну свою, еще до встречи с Виринеей, мечту о женщине своей и неиспытанно желанной узнал. Последнее письмо к той, что в большом городе, даже необычно чувствительным вышло. Одиночество и окружающая обстановка действовали. В охвате впервые тревожимых взрывами холмов лежала незаезженная, мощноплодородная степь. И древним томленьем дышала веснами ожидавшая зачатья земля. Все живое жило здесь в мудрой верности исконному закону бытия: родиться и жить, чтобы родить. Дать бессмертие роду своему. Оттого в инженере, человеке молодом и здоровом, затомилась кровь. Встревожилась властным желаньем целостной, в одно соединяющей душу и тело страсти.

Думал о Виринее. Необходимо было видеть ее, дышать около нее. Быстро спустился с крыльца и пошел. Долго кружил около избы Виринеиной. Был уже поздний предрассветный час. И даже молодые парнишки, рано в войну гулять начавшие, ушли с улицы. Только собачий лай тревожил глухой этот час. Белесый холодный рассвет будничной трезвостью хмелевое ночное прогнал. Сердито и поспешно инженер ушел домой. Не знал он, что, приди часом раньше, увидал бы у плетня Виринею. Она с вечера медлительно укладывалась. Долго поправляла изголовье, вставала, всматривалась в окна, завешенные темнотой

весенней ночи, по избе ходила, точно металась. Старуха на печке злобно охнула и глухо заворчала:

— Чего ты по избе крутишься? На грешную душу и сну нет. Васькин сон тревожишь. Отмахай-ка, поди, по вешним-то по логам... Да и об моих старых костях другая бы, совестливая, подумала. Покою хочут! А тут, только глаз заведу, стук-стук, хлоп-хлоп! Уж как уродилась шалая, дак во всем не по-людски. Аль на гулянку, на улицу тянешься? Ну, и уходи. Известно: венцом не покрытая, всем охочим молодцам открытая.

Виринея негромко ответила:

— Не буркоти, баушка. Проберешь до нутра, не возрадуешься. Не то на гулянку, совсем убегу.

— Ах, застращала! Ровно сватами выхоженная, сношенька желанная. Сама, чисто сучка, под ворота подбегла. Сперва, может, по другим подворотням натрепалась...

Виринея смолчала, затаилась на кровати.

Но старуха думами распалилась. Кержачка эта непутевая в дом ни богатства, ни почета не принесла. Один грех и обиды. Антип и посейчас не забыл, как ему ворота дегтем за племянницу вымазали. Вредил Ваське и заработок от него отшибал. Васька и столяр, и маляр, и печник, да незадачливый. Один сын из всех роженых у бога отмолен. Троих чуть не в одночасье бог горловой болью убил. Четвертого свинье дозволил слопать, когда мать на работе была. А вот этого от цепучей смерти отходила, от боговой от лютости отвела. Оттого дороже всех детей он ее материнскому сердцу. Никому и себе самой не дозволяла тронуть его небрежно. Что крестьянством своим природным не занялся, в город, как вырос, ушел, простила ему без жалобы. Что в городе, кроме щиблет городских, жилетки да цепочки от часов позолоченной, ничего не нажил, — не похаяла. Одна в хлипкой избенке бедовала до первого его прихода из города. Радостью, что жив моленый, хоженый, глаза свои завесила, на слабосильный заработок его не пеняла. Об его куске сама старалась, в повитухах да умелым провожаньем чужих покойников, да заговором зубной боли на жизнь зарабатывала. Жили, пропитанье находили. И слава тебе, господи, владыко милостивый! А вот Вирка к парню припаялась — не стало часу для сердца легкого. В грех незамолимый Вирка старуху ввела. Сразу-то не сказала, что без божьего закону три года с Васильем путаются. Иконой, как честную, венцом покрытую, на радости от прихода сына благословила. Теперь обида сердце свербит. Кума по всей деревне рассказала:

— Мокеиха-то, повитуха, сынову... иконой сустрела. Смеху-то над ней! Не откстить теперь!

Да уж в такой срамоте хоть бы тихая, покорливая была, а то никак никому не сдаст. Ваську-то она извела. От эдакой от лихости двужильный изведется. Лба сроду не перекрестит. Старуха уж пеняла и стращала. А она с усмешкой, будто про веселое дело: «У вас бог православный, креста моего староверского не примет».

Прислушалась к трудному и во сне дыханию сына, представила себе рядом лежащую здоровую Виринею, — ненависть варом сердце обдала. Неправильная баба! Сразу видно, что гулена. Здорова, а спокойной полноты бабьей расплывчатой нет. На безмужнюю похожа подтянутым телом и несмякшим лицом. Завозилась сильней старуха. Скрипучим от злобы голосом снова завела:

— Поганому-то брюху и плода бог не дает. Четвертый год с Васькой... Допрежь с кем сколь, не знаю, а с этим четвертый год, и дите не родила и посейчас порожняя.

Виринея прыжком с кровати. Васька завозился, застонал:

— Куда ты, Вирка? Что тебя спокой не берет! Спи!

В кашле скрючился.

А она неожиданно звонко для обычно затаенного, некрикливого голоса своего вскрикнула:

— Помолчи, старая! Уж лучше не носить детей, чем такого, как твой, выродить. Тошно мне маяться с Ваською-то твоим!

Васька кашлем будто подавился. Простонал:

— Ви-ирка.

Виринея с большой тоской и страстью, быстро нанизывая слова, говорила:

— Ты, баушка, несладкое бабье-то пойло уж дохлебываешь. Знаешь: короче куриного носа счет бабьим радостям. А я вот — молодая, а тоже это узнала. С того и не на всякую твою обиду отвечаю! Жалею! А ты меня не пожалела, проняла! Дак я тебе скажу: а ты за какой грех эдакого гнилого родила? Я телом крепкая, а четвертый год хожу пустая, чисто порченая. Другие-то и дурные есть и ледащие, а родют. А я с твоим сыном маюсь не для веселья, а для роду веточки. Доктор в городу сказывал: и чахотные родют детей. Про Ваську же так: не будет уж, говорит, у вас с ним роду. У меня, бабка, сердце на слезу неохотное, а тут я заплакала. Что ж то, что в нужде, что ж то, что по счету кусок? Я бы на дите добыла! Жилы вытянула бы, а добыла бы! Другие бабы в городу на пустое брюхо с завидкой, а я, как мужичка коренная, знаю: и со-

бака щенка с радостью лижет, обихаживает. А я одним-одна. Кручу, верчу, надсаживаюсь, спину гну для немилого. Чем взял? Ну, чем похвастаешь в сыне-то в твоем? На работу, что ль, удал? Э-эх, так дышит, для копоти!

Оборвала, точно словами задохнулась. Васька захрипел:

— Будет, будет... Скажи тишком. Сколько раз попреки твои слушал, еще послушаю... А ты, мать, не береди Виркино сердце. Она и то с тобой покорная. И сейчас не со зла она... Вирка-а, ложись! Спи! Не со мной, ну, на лавку ляг. Все переговорено, перетерпи.

Кроткий, молящий голос Васькин хуже ножа острого для матери. Он еще перед эдакой, перед охальницей, перегибается. В смешной и жалкой торопливости с печки полезла. Слезая, кричала:

— Сама... Сама ведь к Ваське ночью прибегла! А кто велел тебе? Прибегла, змеей вползла, а теперь мужика порочишь! Чего же глядела раньше, беспутная! Да я тебе глаза твои бестыжие выцарапаю, коль ты слово такое еще скажешь! Врешь! Вре-ешь! За беспутство твое, за грех за твой бог дитю в утробе быть не дозволяет!

Подступила старая, в беспомощном гневе трясла головой с седыми, жидкими, растрепавшимися без повойника волосами, вытягивая руки с костлявыми пальцами. Лица старухиного Виринея не видела, но руку ее поймала. Негрубо в сторону отвела, хотела даже тихим словом успокоить. Но Васька с кровати заругался на старуху:

— Зачем ты в наше дело путаешься? Чего тебе надо? Отжила свое — и спи на печке! Чего промеж мужа с женой вредишь... Уходи сейчас! Не смей до бабы моей касаться. Пальцем тронуть Вирку не дозволю.

Со злостью, вновь вскипевшей, Вирка крикнула сильно и зло:

— Молчи!.. «Пальцем тронуть не дозволю!» Самого-то пальцем покрепче двинь, дак и дух вон. Опостылели вы мне оба! Будет! Кончилось терпенье мое. Как сама, по своей воле прибегла, так три года терпела, не уходила... Тоже... с заступой со своей... Лежи. Никому не нужен. Даже на цареву войну — и то не годен.

— Виринея!

— Што Виринея? Двадцатый год Виринея. Упомнила кличку-то свою. Сама навязалась, поп не крутил, богу не кадил, за меня не вымаливал, штоб по чести с мужиком с одним себя блюла. А я блюла. От пригожих да от здоровых отмахивалась! Все из-за слова из-за крепкого из-за своего. Сама в жены навязалась, с того и жила как жена. Теперь отбатрачила! Будет! Пускай мать свое роженое

выхаживает. А мне уж больше неохота! Часу веселого нету для молодости для моей! Уйду!

Хлопнула дверью, во двор выбежала. У Васьки сразу силы явились, быстро вышел следом за ней.

— Вира... Виринеюшка!

Долго хрипел, упрашивал, дрожа всем телом. Виринея зубами скрипнула, горестно всплеснула руками:

— И чего ты вяжешься? О смертном часе думать бы, а ты обо мне. Да иди, иди уж в избу, хиляк! Иду и я. Ну?!

Вернулась в избу. На лавке у стола было улеглась. Старуха на печи по-детски всхлипывала. Скоро стихла. Может, уснула. Виринея поднялась. Сказала Василию раздельно и строго:

— Не ходи за мной, не убегу. Сердце давит, на дворе постою, вольным духом подышу, вернусь. Слышишь? А коли за мной выйдешь, убегу со двора. Вот тебе слово мое — убегу! Только ты меня и видал!

Ушла. Васька долго маялся. Вставал, в сени выходил. Дверь тихонько, как по воровскому делу, в чужой будто избе, с опаской открывал. Слушал, притаив дыхание, но во двор выйти не решался. Знал, что Вирка не по-бабьи на слово крепка. Пригрозила — так сделает. Но горячая дрожь, потом озноб связали Васькино тело. Неверными и тягостными стали движенья. Лег на кровать, натянул со стоном отцов старый тулуп, укрылся им. Задышал трудно и часто. Про явь, про Виринею забыл. В бредовых, мучительно быстро-сменных виденьях заметался.

Виринея долго во дворе у плетня стояла.

Ветер, веселый и мокрый, с полей налетел. Суматошливый гул помолодевшей в буйстве реки и бурливых вешних вод в степных логах слышней стал. Небо темным-темное, будто от гула притаилось. Улица тоже темна и тиха. Во дворах глухая возня скота, непонятные ночные странные звуки. Отыграла гармошка хромого Федьки-гармониста. Накричались в песнях девки. Смолк тяжелый хлюпкий по грязи топот молодых парней, еще на войну не взятых. Отбуянило молодое на улице с вечера. Теперь, в час потайный и сладкий, ласковые пары в темноте тихой запрятались. Празднуют легкий час свой в несворотливых, день на день, как близнецы, схожих, натугой над землей, над хозяйством приглушенных днях.

А Вирка свой легкий час на обман отдала. Ни за семью, ни за хмель радостный. Не было той радости с Васькой. Ошибка вышла. Разбередила старуха. Часу больше терпеть неохота.

«Утром же прости-прощай, матушка чужая, неласковая,

постылый муж, изба невеселая. Ночью прибежала, а уйду открыто. Белым днем. В город надо податься, а то на железную дорогу на заработки. Отбилась от деревенского, в правильные бабы не попала, — на другое, значит, поворот вышел. Гуленой безгнездовой, что ж! Хоть на вольной воле. Чернявый этот лапал сегодня глазами. Может, и без гульбы с ним на работу поставит. Ладно, будет! Только бы Васька еще нынче не вязался. А то и до утра не вытерпеть!»

Повела строгими бровями, губы твердо сжала и пошла в избу.

3

Утром Васька с постели не встал. С тусклым лицом и пересохшими губами пластом лежал. Не то спал, часто открывая глаза, не то так, по-тихому маялся. Может, отходить собрался? Виринея глянула в серое лицо его в липком поту, на руки распластанные. Подумала: «Нет, еще не пришел час. Не томится, не обирается. От лихорадки ослаб, отдыхает».

Избу напоследок прибирать старательно стала. Старуха только искоса взглядывала. Не ругалась, не разговаривала. Потом над сыном постояла, охнула тоскливо и обрызгала его крещенской водой, выкликая бога и святых глухим шепотом:

— Заступница усердная, матерь божья Казанская! Микола милостивый, угодничек божий! Василий Хивейский, андел хранитель! Пантелемон целитель! Господи владыко!..

Не выговаривала, чего ей надо, о чем молит, чем мается. Думала, что богу нужны не разговорные слова, а непонятные, строгие. У ней их не было. Оттого бормотала в бессилье косноязычья своего с детства заученные имена небесных покровителей. А голова смешно тряслась, и натруженная спина совсем колесом от горя сгибалась.

Виринея поглядела, передернула губами, как от боли, и сердито сказала:

— Бог, бог... Сколь лет его просишь, карежишься. Отдохнула бы!

И, хлопнув дверью, из избы ушла.

Старуха охнула, пугливо на образ темный глянула. Ноги задрожали, до лавки чуть добралась. Накличет беду окаянная!

— Господи, батюшка, не посчитай то слово. Заступница, матушка!

А Виринея простоволосая, как из избы выбежала, быстро по улице шла. Почти бежала от двора постылого.

Лицо было темное, и думы злые в голове ходили. Старуха еще одну обиду распалила. К богу старый и крепкий укор. Отец по богу маялся. По свету ходил, праведной земли искал. Всю силу свою человечью для бога размотал. В переходах, переездах по разным дорогам и по бездорожью места богова искал. Детей под чужую, под жесткую руку отдал. А бог за это ему трудную кончину в гиблом месте, в чужой сибирской стороне послал. Мать скорбью мужниной тоже зашибалась. По родне за детей в тяжелой работе жилилась, а часы на долгую надрывную молитву находила. От тех молитв, от постов, от поклонов до часу стояла. А Вирка зато с той же страстностью, с какой родившие ее по богу маялись, против бога взлютовала. И у дяди с того, главное, ее жизнь не сдалась. Работу ворочать могла. В теле жила крепкая, только сердце дурное, суматошное. К чужим мыслям неподатлива. Дышала сердито. Ничего кругом не видела. В гневе, в спешке чуть мимо Анисьиной избы не пробежала. Эта веселая солдатка всегда с Виркой ласкова. Может, оттого, что и ее другие бабы, степенные, как Вирку, глазами колючими у колодца встречают. И вслед долго, поджав губы, глядят. Слух по деревне идет, что спуталась с военнопленным, как мужа в солдаты забрали. А она на те разговоры только озорным смехом отвечает. Веселая да бесстыжая. Но Вирке смех ее, частый и легкий, по душе. Надоело ей слушать нытье да жалобы. Об Анисье нынче и вспомнила: поди, пустит под свою крышу хоть на два дня, а там — видно будет.

Анисья была дома, пьяный квас заваривала. Не побабьи сердито, с воркотней возилась, а будто девка, заботой не замаянная. Пела на голос высокий:

Одно-о на прово-ды сказала:
— И-ых пра-аводила со двор-а!..

Виринея усмехнулась:

— Ну, и баба развеселая. С самого утра с песнями! Здравствуй-ка.

— Здравствуй, бабочка. Вот негаданно припожаловала, сколь раз звала — не шла. Я уж ждать перестала. Мое дело вольное, солдаткино. Детей накормила, для порядку стукнула и на улицу спровадила. Чего мне песни не играть? За мужа начальство платит откупное, свекра с свекровушкой господь прибрал, серчать, ворчать на меня, молодую, некому. На дворе пленный солдатик старается. А я вот квасок веселый завариваю. Чего не петь?

Она смеялась небольшими блестящими глазами. Румяная, невысокая, ловко и весело поворачивалась. Вирка усмехнулась еще ясней и шире.

— Я к тебе по нужде. Дозволь у тебя дня два-три пожить. Ушла я от Васьки-то.

— Ну-у! Не сдюжила? Я и то дивовалась на тебя... Что ж, поживи сколь-нибудь. Отработаешь по двору да по дому. А харчей, поди, на поденной добьешься.

— На железную дорогу, сказывают, баб берут.

— А ну да. Около постройщиков этих тоже можно... Совсем ушла аль еще раздумаешь?

— Совсем.

Анисья тряхнула головой, повязанной пестрым платком.

— В нонешни года развольничались бабы. Вот хоть про себя скажу. И муж желанный у меня, не то, чтобы с отвратом я к нему аль об ем не думала. Провожала, горячей слезой плакала, а гляди — гуляю без него. Придет — убьет, может. И за дело, знаю. А все не хочу молодых годков своих терять... А про тебя я думала, хоть без венцу, а правильная... Ну-к, подоткнись да вымой мне вот эти горшки, а я за семенами к мордовке схожу. У ей всхожие, кабы не разобрали.

И ушла из избы.

Наниматься на постройку Виринея скоро не собралась. В соседней с Анисьей избе хозяйка заболела. Хозяйство большое, а работника в дом от греха не брала, со свекром да с ребятами управлялась. Тяжелую кладь подняла — и слегла. Свекровь, уже с год ослепшая, на другое же утро пришла к Анисье, помолилась в угол и сказала:

— Здравствуйте-ка. Здесь, сказывают, кержачиха-то? Васьки Мокеихина полюбовница. Здесь, што ли?

Анисья звонко откликнулась:

— Здесь, здесь, баушка. Ты што, сватать, што ль, ее пришла? Не время, поди, пост великий еще не кончился.

— А ну тебя! Нихто за ее свататься теперь не придет, честных девок впрок солим ай за старых вдовцов сбываем, куды ей после ее греху. Вирка-а, подь-ка поближе! Не слыхать што-то ни духу, ни голосу твоего.

— Здесь я, баушка. Зачем тебе?

— Айда к нам, по хозяйству поработай. Шерстью там аль чем заплотим. Баба-то у нас, слыхала?..

Виринея поправила платок на голове и сказала внушительно:

— Што ж, я пойду на какое надо время. Все одно, где прокорм добывать. Только ты мне, баушка, грехом моим с Васькой не докучай. А то я и старость твою не уважу, ухватом двину. Надоели мне ваши пересуды про меня.

Старуха закивала головой, руками замахала:

— Да што ты, што ты... Не хошь, и не скажу. Не дочь, не сноха, чего мне заботиться? Подмоги. На работу ты здорова. Уж постарайся, пожалуйста! Никого не наймешь тут у нас, а твое дело такое вышло — все одно найматься. Пойдем!

Виринея пошла. Целую неделю проработала, и на другую оставили. Хозяйка туго поправлялась, хоть свекровка и к Магаре ходила, помолиться просила; хоть и Мокеиха, Васькина мать, живот править и заговаривать приходила к ней. За фельдшером в участковую железнодорожную больницу свекор обещал съездить, да все еще дороги не было.

Четыре раза Васька по ночам приходил, просил Виринею вернуться домой. Отошел от застуды, но еще трудно дышал и медленно двигался. Жарко спорили они с Виркой под сараем во дворе, но уходил он один, втянув голову в плечи, как побитый. Когда в пятый раз пришел, Вирка из избы, из дверей ему звонко крикнула:

— Опять притащился, постылый? По-темну, с утайкой, а все одно люди видят да знают. Постыдился бы цепляться-то за меня. Уходи! Нечего нам с тобой говорить. Все размотано, и ниточка оборвалась. Никаким жалостным словом боле не свяжешь меня!

Но Василий сразу со двора не пошел. Притаился у плетня, сгорбившись, словно еще ссохшись, худой и низенький. Старик амбар запирать вышел. Приметил его, сказал сердито:

— Иди домой. Чего маешься! Чего срамишься?

Вирка из сеней услыхала. С поленом выскочила.

— Уходи, а то пришибу! Намозолил ты сердце мое, со сну вскакиваю, как тебя липкого вспомню. Пришибу-у, все одно, хучь конец! А то сам плохо дышишь, да и мне не даешь. Ну-у?

Мокеиха, как пришла хозяйку лечить, на Вирку сначала даже не взглянула. Будто ее и не было, хоть она по работе в избе то и дело мимо старухи ходила. Только когда дело свое справила Мокеиха и уходила, то во дворе Вирку остановила. Сказала внушительно и глухо:

— Постой-ко. Слово сказать надо.

Виринея приостановилась. Через плечо глянув на старуху, спросила:

— Ну? Какое еще слово? Все одно ты меня ничем не проймешь! У меня на тебя даже обиды нет, ты и без меня горько сыном обижена. Чего тебе надо?

Старуха подтянула губы. Сказала сдержанно:

— Чернявый тот инженер приходил, тебя спрашивал. Сказывал, чтобы на стирку к ему пришла.

— Ну?

— Чего нукать-то! Хочешь, дак иди, стирай. Аль уж, может, сладились? За хорошие деньги аль так, задарма, по согласию, на стирку, на мытку, на всякие другие дела...

Вирка усмехнулась:

— Не твой расход, не твой доход. Иди, баушка, домой. Не обидишь ты меня, не проймешь. Жалею я тебя. Василий мается и тебя мает. Приспокоились бы вы как-нибудь, я бы, право слово, порадовалась. Прощай, баушка.

И скрылась в сенях.

У старухи сердце от злобы зашлось, едва со двора выбралась.

«Как разговаривает! Чисто путная. А она, старая, перед ей, как девчонка покорливая, стояла, слушала. Господи, за что обида такая в седые остатние годы?»

Долго ночью плакала.

4

Об инженере том напрасно Мокеиха напоминала. Не больно приглянулся, чтобы часто в голову лезть. А все же где-то сзади явных мыслей, тайком, думка о нем спряталась. Может быть, оттого, что никому Вирка, кроме Васьки, на ласковую душу не нужна. Та же Анисья из любопытства с ней хороводится. Разговору много про Вирку было, ну и занятно Анисье узнать: что за человек. А тот, барин, с первого раза на Вирку поглядел с большой лаской, как на желанную. И сейчас вот не забыл. Только ведь и на Ваську тогда позарилась за ласковость... И сердито оборвала мысль:

«Ну их всех в болото, лешаков! На работе и не думаешь про мужика. Так проживу. Хватит с меня одного. И от того ни крестом, ни пестом не отобьешься».

Больная баба поправилась. С натугой, а вставать стала. И помаленьку по дому управляться. Хоть ничего жили, посреднему, куска на Вирку хватило бы, но баба по-крестьянски прижимиста была. Зря кусков не разбрасывала. Как продохнула, к печи доплелась.

— Ну-к, Вирка, отойди, я сама...

Виринея бабу поняла. Сама так же бы хозяйствовала. Приласкала ее одобрительным взглядом и сказала:

— Вызволилась? Вот и хорошо. Завтра, коль еще тебе полегчает, так я на вас и отработала. Уйду.

И на другое утро опять ушла к Анисье. Анисья что-то затуманилась, побледнела, осунулась, и взгляд невеселый стал. Сказала Вирке вечером, когда коров доили:

— Что-то у меня на сердце гребтит. Давно писем от мужика нет. Либо шибко раненный, либо помер совсем. А то, може, у немцев мается.

Виринея отозвалась сдержанно:

— А може, прописали про тебя ему...

— Что с австрияком-то с моим путаюсь? Тогда бы еще скорей, хучь через родню, свой покор прописал. Нет, чую, плохое с ним. Вот который день ем кусок без охоты, и все што-то маятно.

— Анисья, на што он тебе? Надругалась ты над ним...

— Что надругалась? Дите, што ль, чужих кровей на его кусок привела? Сроду до этого не доведу! Двоих вытравила и третьего, коль с чижолости сейчас тоскую, изведу. У Мокеихи-то у твоей на это из всех бабок рука легкая. А так, что ж? Кровь-то молодая, сам знает. Поди, тоже без бабы не прожил. Еще хворь дурную принесет. Мало ль у нас мужьями порченых? Чего же, дело такое. А меня побьет, поувечит, а там опять вместе заживем. Ну, ты, тпру-у, стой! Чего брыкаешься! Стой, коровушка, стой, матушка...

Подоила, перекрестила корову и сказала:

— К Магаре схожу, пущай за Силантия моего помолится. А может, предскажет что. Ты подомовничай тут. Молитву, которую солдатам посылают, Магара, сказывают, составил. Шибко солдаты на нее надеются. Хороша от смертной от пули. Нашински солдаты под рубахой на сердце ту молитву в бой носят. Как у старосты старшего, Митрия-то, убили, Терехин Васька с тела с его ту молитву снял. Прописал Митревым родителям, что себе на охрану листок тот оставил.

Виринея вздохнула:

— Дурной народ — деревенские наши люди! Убили, дак чего ж молитва-то не оборонила? Ни к чему она, выходит?

— Ты, Вирка, про богово дело не бреши. Как веру человек сменит, ни к чему становится! Из кержачек перешла и наше православие охаиваешь. Не люблю таких слов!

— Чего ты ощерилась? Не люби, — а ведь сама говоришь: и с молитвой убили!

— Ну-к, што ж. Так бог схотел, закрыл глаза на ту, на молитву. Митрию так от роду было написано, а другим помогает. Спиши мне ее, ты хорошо грамотна.

— Не буду!

— У-у, безбожница! Ну, и наплевать. Без тебя найду,

напишут мне. Домовничай, а то к ночи дело. Я схожу, отнесу чего-нито Магаре и помолиться попрошу.

Большая вера в Магару укрепилась в жителях. Из дальних волостей, когда путь был, к камню его приезжали. Подаяния доброхотные приносили и привозили. Но Магара перед богом без корысти старался, даянья у камня оставлял. А они исчезали. Платок один жертвенный на бабе акгыровской видели. Но все же несли и везли. И Анисья полный узелок снеди набрала и ниток шерстяных моток.

— Подомовничаешь, што ль? Австрияк-то мой поздно придет, в барак к своим отпросился. А ребята прибегут — сунь кусок, и пущай спят.

— Да ладно уж. За ругачку твою когда-нибудь взгрею тебя. Не люблю этого. Ну, да ты не злая, спущу пока. Иди. Подомовничаю, некуда мне и уходить-то.

В сладостном томленье расправлялась сбросившая снежную глухую покрышку земля. Было легким и в кротких красках сгасало вечернее небо. От этого полегчавшего в кротости неба, от бережного тихого опусканья на землю темноты, от призывного курлыкания летевших отважно далеко журавлей — входили в человечье сердце радость и тоска.

Виринея стояла на огороде. Смотрела на журавлей в вышину, слушала вечернюю негромкую суету дворов, жадно забирали в грудь хмельные запахи земли и ветра. Побледнело ее лицо, тосковали глаза, а нарушить ту хорошую легкую тоску и уйти — не хотелось. Инженер к изгороди огородной неожиданно подошел. Сильно вздрогнула, когда окликнул негромко:

— Виринея...

И с промедлением добавил:

— Авимовна...

Все эти недели мыслями о ней маялся. Все про нее разузнал. Думал, те рассказы отобьют думу о ней. Но только пуще распалился. Сегодня только узнал, где живет теперь она, и сегодня же ноги сами притащили к ней.

Виринея от испуга оправилась быстро:

— Вот напугал, барин! Откуда вывернулся?

С лица ее грусть еще не сошла. Говорила не сердито, устало:

— Вы на что меня спрашивали? Старуха сказывала, к ним приходили.

— Да, я не знал, что вы ушли от них.

— Ну, как, чать, не знать. В деревне про всех все знают, а про меня вы, слыхать, все расспросы расспрашиваете. Может, только избу не знали, где живу теперь, а про дела

про мои с Васильем, как, чать, не знать. Зря только старуху расспрашивать пошли.

— Да я, честное слово, Виринея Авимовна...

— Что это вы важевато как со мной? Батюшкины кержацкие кости величаньем тревожите. Мне чудно и вроде совестно. Мы народ к тому привычный, что старух только величают.

— Мне очень хотелось еще увидеть вас, Виринея, Вира... Знаете, так бывает: увидишь в первый раз человека, а кажется, что давно знал его, влечет к нему. Тогда вы сердито со мной разговаривали. И мало...

Тянул медлительные слова. Думал: «Не так... не так надо с ней говорить».

В этот час, кротостью вечерней напоенный, только и надо вот так стоять поодаль от нее, смотреть усмиренными глазами и ощущать: удивительная, дорогая.

Виринея встретилась с ним глазами и чуть порозовела. Сказала негромко:

— Нехорошо, что вы тут стоите. И то про меня много болтают.

Он встревожился:

— Но почему же? Разве нельзя поговорить? Ну, просто так, по-человечески поговорить? Не уходите, пожалуйста. Ну, давайте вон туда, подальше за село пройдем.

Виринея засмеялась тихим грудным смехом. Покачала головой:

— Еще лучше удумал! Да я ничего, — стойте, разговаривайте. Меня сплетнями своими до сердца не проберут. Привыкла я. За красоту мою бабы меня не любят. Чисто мне каждый мужик нужен, а им всех до единого жалко уступать.

Спокойно и просто сказала о красоте своей. Не чванливо, не кокетливо, а правдиво. Умилился влюбленно: «Милая». Она, глядя мимо его лица тихими сегодня глазами, говорила:

— Вот и в городу: и стряпать по-господски выучилась, и стирать, и гладить, как надо, господское белье, а подолгу на местах не жила. Не с того, что без паспорту! Это для их выгодней, дешевле, а все из-за завидки бабьей. Поглядят барыни, как ихние мужья аль там кавалеры около меня, вот как вы теперь, вьются, — сейчас фыркать зачнут. Ну, а у меня сердце на фырчок нетерпеливое, сама отфыркаюсь. Вот и с места долой. Одна вот чудная больно была...

Виринея усмехнулась.

— ...Так из себя, хуть господа, а с деньгами у них было не густо. На дешевой образованной должности с мужем

были. Все листы какие-то писали и в эту... как ее?.. — тьфу, уж забыла городские слова — в редакцию каку-то ходили. Книжки мне еще давали читать. Там, дескать, у них в этой редакции составляли. Скучные книжки, про бедный народ... Я брать брала, а мало их читала. Ну, они со мной так: все одно, дескать, люди, что господа, что мужики. Обходились великатно, старательно. Маленько муторно с ними было — больно великатные! А ничего: пища — что сами едят, и без ругачки. Только гляжу, барин чаще ко мне на кухню, как барыня из дому. То да се, а сам мнется, вот как вы. Ну, думаю, как бы барыня не осерчала. Да и при Ваське заходил, — Васька сумлевался. А барыня такая: по-городскому ничего, стеклышки эдак на носу на шнурочке, кудеречки реденькие. Барин с ней ласков, а видно — посдобней, повеселей чего захотел. Ну, и она приметила. Не осерчала, виду не дала. А только раз пришла ко мне и говорит: «Виринея, давайте обсудим». Ну разное там говорила. Мещанки, говорит, которые за мужей держатся, а я нет. Если, мол, тебе нужен, — бери. Я, дескать, сама уйду. Я говорю: он мне не нужен, а коли сумлеваетесь, рассчитайте. У меня, мол, свой, хуть плохой, да свой есть. Да и у тебя-то, мол, мужик не лучше. С Васькой парный, только что образованный. А она: нет, говорит, зачем расчет, давайте обсудим. И эдак раз двадцать все: обсудим. Ну, лучше бы она меня била, чем сусолить эдак! Плюнула я да потихоньку рано утром от них ушла.

Оба весело засмеялись. Виринея со смехом закончила:

— Она меня эта «обсудим»-то и проняла. Затосковала я по деревне, проще у нас. Двинут, так без разговоров двинут. Давай, говорю, Василий, к своим подаваться. Теперь, когда обидно на баб наших деревенских станет, вспомню про тех образованных, обида-то и отмякнет. Эти злы, да без подвоху. А те прямо не укорят, а жалостными словами замучают.

— И не скучно вам здесь? Все-таки вы уж привыкли к городу...

— Ничего я не привыкла. Легкому сердцу везде сладко, а коли в нем горько, то где ни жить — все одно тошно. Да нам за работой скучать некогда. В девках я книжки читала, а теперь и к им охоты нет. Вот так постою, погляжу — да спать пойду. И в праздники — больше сплю.

— Книжки я вам могу прислать, если хотите, у меня интересные есть... И романы и повести.

— Вот я раньше до романов охотница была. От дяди таилась, а много перечитала. И работу тяжелую ворочала,

а читать время находила. В летни праздники в степи пряталась.

— Я пришлю... Я вам завтра же принесу.

Виринея с усмешкой махнула рукой:

— Не надо. Я в них теперь и глядеть не хочу. Читала, читала да вот с чахоточным и спуталась. Чего смеетесь? Правда, так. В книжках все такие обходительные. Про любовь там всякое. Ну, а наши, деревенские, с девками словами не канителят, а с бабой своей так и вовсе разговоров не разговаривают. Корове когда скажут: «Красну-ушка, Краснушенька», аль лошадь с добавкой ласкового слова назовут, а жену — нет. Для работы взята, для роду, а не для ласковости. И на работе скотину жалеют, а бабу нет. И все одно: в богатстве ли, в бедности — везде к нашим бабам так-то. Еще бедный-то лучше, из-за хозяйства не ярится. Ну, вот я в книжках одно начитаю, а нагляжусь на другое. И неохота мне ни с кем нашинским. На улицу тайком часто бегала, охотливая в девках до веселья была, а от себя всех отваживала. Не милы. На тех, в книжках, не похожи. А этот вот, Васька-то, и в одежде городской и с манером городским... Ласковыми словами и обошел меня.

— А сейчас вы его не любите?

Виринея встрепенулась. Взглянула в ласковые глаза инженера и вдруг сухо оборвала:

— Разболталась я. Молчу много, а вот так накатит — и заговорюсь. Вы чего шли ко мне-то, с каким делом?

Затаился взгляд. И губы твердо сжала. Спугнул инженер легкий разговор. Сам избить себя готов был, но как поправить, как разговор затянуть — не знал.

— Я, видите ли... Не знаете ли вы, кого мне здесь попросить стирку белья моего на себя взять?

— А што же, я постираю. Я по-городскому могу. Только я задешево не возьмусь.

И опять деловито плату указала. Очень дорого по местным ценам, но он уже не рассердился на нее. Только пожалел, что та милая, с неуклюжей, но задушевной речью, как будто за другую, расчетливую, корыстолюбивую, спряталась. Нелепым для произносимых слов печальным голосом он сказал:

— Ну, что ж, я согласен. Когда можно прислать белье?

— Куда прислать? У вас, поди, кухня есть. Да не то кухня — баня в этом дворе есть. Я ведь знаю, — Силантьев дом. Вот в бане и перестираю. В чистой понедельник, на страстной, утречком приду. На этой — у Анисьи отработаю. Мыло и подсинька-то у вас есть, ай купить?

Радостным стуком кровь в сердце, в висках: согласилась прийти к нему в дом. Сама предложила, сама захотела. В уединенной бане за двором целый день одна будет. Возможно, что и для нее стирка — предлог, тянет и ее к нему, только не хочет сказать об этом открыто. Не разбирал от волнения, что она говорит, отвечал торопливо, не вслушавшись:

— Да, да... Вот возьмите, пожалуйста... Хватит или нет?

Виринея видела, что с излишком дает, но сказала спокойно:

— Пожалуй, что и хватит.

Взяла деньги и пошла с огорода. Не оглянулась.

5

Бог все разговорчивей с Магарой. Народу от того разговора выходило предсказанье. И в моленье своем хорошо было утвердился. Магара: сердце отмякло, дыханье стало легче.

Но по весне опять отяжелело в груди. Руки по земному делу затосковали. Перешибали молитву думы о пашне, о скоте, о зяте: хорошо ли хозяйствует. Одну ночь, сколько ни старался, никак молитва не шла. Тоска такая накатила, что в голове стало мутно. И к утру, стоя на коленях на камне, запросил Магара:

— Ослобони, господи, меня от земного дела! Лучше я в раю с угодниками твоими стараться буду. Ослобони от крови чижолой, от жилы человечьей, от костяку твердого! Сведи на меня смертный час! Оттоль народу способье подам, а на земле здеся не выстою. Хо-осподи!

Последнее слово с хриплым криком из груди вырвалось. И будто на крик тот в мутном мареве рассветном появился от камня поодаль — святой старичок. Тот, что в самый первый раз будить Магару приходил. Каким именем его окликнуть, все еще не знал Магара. Не видал с того разу. Застыл в ожиданье. А старичок не прежним зычным голосом, а тихо заговорил. С ветерком вместе, с паром от вешней земли его слова налетели:

— Помрешь скоро, раб божий Савелий. Жди часу смертного.

К похолодевшему в ночи камню в радости, стиснувшей сердце до боли, припал лицом Магара. А когда опомнился, голову поднял, уж не увидел старичка. Магара взмолился:

— Милостивец! Как по имени, по чину перед богом звать тебя? Ну-к, покажи еще благостный лик свой! Стра-

датель божий! Сколь скоро, в какой день, в час, вынет душу бог из мене?

Лика больше Магара не видал и ответа не слыхал. Но к смерти стал готовиться. В тот же день неожиданно домой пришел. Старуха убиралась в избе. Вытерла фартуком мокрые руки, глянула на мужа. Обветренный, лохматый и грязный. Непохож на угодников, какие на иконах. Спросила робко:

— Може, в баньке попариться тело занудилось? Истопим, а?

Но Магара головой, как от мухи, отмахнулся:

— Смертну обряду мою, каку заготовила, достань из сундука. На дворе повесь.

И ушел. Слова больше не добавил. Старуха горестно вздохнула и заплакала. Вся округа в святость Магары уверовала, а жене думалось порой: не от святости это в нем, а от хвори какой-то. Уж своего мужика-то знала, какая в нем святость? Так мается без ума, без разума. Но не сердилась, а шибко жалела. Приказанье мужнино в тот же час исполнила. Когда вешала белые холщовые порты и рубаху, пришла Мокеиха.

— Здравствуй-ко, Григорьевна. Помирать хочет?

— Не знаю, веле-ел.

— Сказывал, Григорьевна, сказывал. Сейчас на нашей улице был. Открыто ему будет, в какой день. Я и пришла, чтоб меня тогда кликнули. Потрудиться охота над молитвенником-то над нашим. Нынче народ распутный стал: мало кому открывается, когда смерть придет. И не от должного часу мрут, а все больше по внезапности. Пущай подоле повисит одежа. Солнышком нашинским прогреется, ветерком с земли провеется, на отстатней обряде дух земной унесет, пуще об земле стараться перед богом будет. Их-ох-ох. Ну, дак гляди не медли, кликни тогда. Савелий-то, батюшка, плывет через речку...

— Куда?

— А по обычаю богову все сделать хочет, не как нынешние вертуны. В церковь, к попу поговеть поплыл.

Обратно Магара приплыл под самое вербное воскресенье. Уж затемно в окно постучал:

— Эй, открой-ко, Михайла!

Зять голос его узнал, удивился:

— Ай к нам перебираешься?

Но Магара, отмолившись в угол, сказал:

— Оповести завтра народ: помирать ложусь. Гроб-то сготовил?

Зять поскреб голову и грудь, спросил:

— А где помирать-то лягешь? Там, у себя в землянке, ай на камне?

— Тут, в избе. По-хрестьянскому. На этом месте родился, на этом же и помру.

Зять постоял, подумал, сказал с тягучей позевотой:

— А ну да, правильну кончину ты себе у бога вымолил. Я маленько еще посплю? а? До утра-то еще долго. Намаялся я нынче.

— Ложись. Я на двор пойду свету дожидаться.

Когда он ушел, зять старуху окликнул:

— Не спишь? Слыхала? А в избе не остался, отвык от человечьего духу. Бабу-то мою будить аль нет?

— Не надо. На свету обоих разбужу. Что ж, все под богом ходим! А ему все одно, который год на земле не работник. Может, и правда — час помирать пришел. Потрудимся, проводим. Ложись, поспи еще час какой.

— Ви-ирка-а! Ви-ир! Куды запропастилась?

— Ну чего кричишь? Отдохнуть под сараем я хотела.

— Отоспишься еще. Айда скорей Магару глядеть.

— Ну-у? Помирает?

— Ну да! Давно уж зачал. Гляди не протолкаемся, не увидим.

— А я ведь, Анисья, думала: он врет. Крепкий, мол, не свалишь!

— Ну, айда, айда, не растабаривай. А то народ бегит, а мы мешкаем.

Задыхаясь на бегу, сердилась Анисья:

— И как это я, на каждый слушок вострая, тут не сразу услыхала. Ой, баба, не увидим, а охота поглядеть, как кончится. В праздник и помереть угадал. Людям глядеть посвободней.

Стекался народ к избе Магары. Со всей деревни накатной, разноцветной, веселой для глазу волной. На улице около избы и во дворе стоял несмолкающий гул людских голосов. Солнышко, по-вешнему легкая теплота дня, колыханье ярких женских платков и платьев, пушистая верба-хлест, игривая в молодых руках, будоражили радостью. Оттого часто в толпе прорывались молодой ядреный смех и женский притворно пугливый вскрик. Веселый шум заглушал перебранку теснившихся у избы и старушечий провожальный плач. Виринея и Анисья, огрызаясь на ходу несердитым бранным словом, смешком коротким и взвизгом на щипки мужиков, протолкались вперед.

Настежь открыты окна избы. Но тяжело и густо пахло

ладаном, богородской травой, елеем и дегтем от праздничных сапог. От этого смешанного запаха, от дыма кадильницы в руках старика Егора, от нудного, тягучего его голоса, бормотавшего псалмы, — труднила дыханье людей духота. На божнице дрожали слабые желтенькие огоньки восковых свечей. На скамье под окнами стоял открытый гроб. Старательно обстроганные доски еще хранили свежий запах древесины.

На двух сдвинутых вместе скамейках, покрытых чистой холстиной, на подушке из сухой богородской травы, в белых холщовых портах, в поясе с молитовкой, в смертных мягких черных матерчатых туфлях лежал Магара. Большие узловатые руки в старательной тихости держал крестом на груди. Две черные старухи в мерных и низких поклонах качались у ног Магары. У изголовья стоял аналой с раскрытым псалтырем. Его читал приземистый плотный Егор, с большой лысиной на голове, в бараньем полушубке нараспашку. Егор бубнил:

— Обратись, господи, избави душу мою, спаси мя по милости твоей...

Народ входил, выходил, двигался, сменялся. Живое его движенье тревожило Магару. Он приоткрывал глаза, вскрикивал глухо:

— Ныне отпущаеши...

Взбадривался Егор и громче вычитывал:

— Суди мя, господи, по правде моей и по непорочности моей во мне...

Магара снова глухим голосом перебивал:

— Пошли, господи, по душу мою!

Трепетали свечи. Все скучливей и глуше становился голос Егора. Затомился Магара под участливыми, равнодушными, печальными, затаенно усмешливыми человеческими живыми глазами. Увидал, что даже семейные его из избы ушли. Только жена, надвинув низко на лицо темный платок, стояла у изголовья. Взмолился Магара страстней и живей:

— Отпусти, господи, вынь дыханье! Помилуй, господи, раба твоего...

Виринея дернула Анисью за платье:

— Пойдем домой. Не скоро, видать, он кончится.

Анисья повела сердито плечом, но охотно вышла следом за ней. Когда они вернулись снова к смертному ложу Магары, уже солнце закатывалось. Шестые свечи на божнице догорали. А Магара все еще живой лежал. Учуял похолодевшее дыханье дня и задвигал в тревоге головой на подушке. Надолго задержал было дыханье в груди, но

выдохнул его шумно и закашлял. Черная старуха наклонилась к нему:

— Ты как нудишься-то, батюшка, перед смертью ай нет? Народ затомился ждать! Как у тебя, по твоему нутру, скоро аль долго еще?

Магара покосился на старуху. Не ответил, только бровями досадливо шевельнул. Егор прервал свое заунывное чтение, рукавом полушубка вытер потную лысину, повернулся всем корпусом к Магаре, поглядел на него и посоветовал участливо:

— А ты крепче глаза прижмурь. На энтих, на живых-то, не пялься. Думай об своем и дых крепче в нутре держи, не пускай. Сожми зубы-те, зубы сожми!

Безусый, веселоглазый парень в толпе фыркнул. Подмигнул румяной Анисье и сказал:

— Живой-то дух, небось, не удержишь! Не ртом, так другим местом выдет.

Смех прошелестел в толпе. Мокеиха впереди охнула. Егор поглядел на народ и строго оборвал:

— Шутников-то энтих повыгонять бы отсудова. Вредный народ, беда-а! Кончиться человеку в старанье перед богом не дадут.

И загнусил живее:

— Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся...

Но скоро опять повернулся к Магаре:

— Ну-к, полежи маленько без псалмов, Савелий. Чтой-то я заморился, разомнусь схожу. Полежишь?

Магара расправил затекшие руки. Пробурчал:

— Иди... Теперь скоро уж, давно маюсь.

Вирка взглядом с тем парнем веселоглазым встретилась. Не сдержала смеха. Сверкнув зубами и зазолотившимися от дерзкого веселья переменчивыми глазами, крикнула громче, чем сама хотела:

— Дедушка Савелий, а ты бы тоже слез да поразмялся. Спину, чать, отлежал? А?

Заговорили со всех сторон:

— Закрой хайло, шалава!

— Двинь ее покрепше из избы, дядя Яков!

— Что же это такое, господи? Какие бесстрашные!

— А што? Хоть сдуру, а, пожалуй, правду сказала: встал бы, коль смерть не берет.

— Ты прямо, мил-человек, скажи: будешь помирать аль отдумал?

— Савелий, а ты помолись пошибче! Заждался народ.

— Рассердись, да помри, Магара. Чего ж ты?

Мокеиха зло, не по-старушечьи звонко крикнула:

— Это Вирка народ всколготила. Святой человечий час, и тот испакостила! Прогоните ее, старики!

Но смех и разговоры все гуще, вольней пошли по рядам. И откликом с улицы донесся озабоченный голос мальчишки:

— Васька-а! он се не помирает! Айда еще в бабки играть!

Старуха Магары от стыда совсем съежилась. Дрожащими руками платок на голове все поправляла, чтоб лицо закрыть.

«Срам... Чистый срам! Сам обмишулился и народ обманул. Чтой-то теперь будет? Что будет, коль не помрет?» И жалко мужа было, и зло за сердце брало. Тужился в угодники выйти, дак выходил бы в настоящие, а то на смех на один! Она заплакала и закрыла фартуком лицо.

Вернувшийся в избу Егор спросил ее облегченно:

— Помер, што ль? А я не разберу, с чего народ шумит.

Магара приподнялся на скамьях, оглядел всех большими тоскующими глазами и снова медленно опустился и вытянулся. Смех смолк. Люди затаили дыханье. Лица у всех построжали. Долго стояло молчание в избе. Магара прервал его. Снова хрипло вздохнул. Опять приподнялся, сел на скамьях. Он уставил глаза на иконы, глазами молился и требовал. Опять заговорили сзади. Приглушенный смех снова ударил в уши Магары. Тогда он поднялся во весь свой высокий рост, передохнул всех грудью и пробормотал невнятно:

— Отказал господь в кончине. Пообещал и не послал...

Забегал его взгляд по народу, будто метался, искал снисхождения или участия. Но всюду встречал смеющиеся или злые глаза. Тогда сердито двинул ногой смертное свое ложе и крикнул зло и сильно:

— Чего глаза пялите! Мертвечину нюхать пришли? А? Не помру! Чтоб все вон из избы! Говорят вам... не помру...

Изрыгнул забористую ругань и посыпал похабные слова одно за другим. Глаза покраснели, будто распухли от гнева. Кулачищами крепкими замахал. Взвизгнула во дворе напуганная дочь Магары. С воем из избы к ней другая порченая баба кинулась. И с ахами, взвизгами, криком подались все бабы из избы. За ними мужики с хохотом, с ответными забористыми словами. Старики — с укоризненной воркотней, но тоже с веселыми от тайной усмешки глазами. Быстро опустела изба.

Обрывисто, будто давясь наплывом злых, непристойных слов, ревел Магара:

— К чертовой матери!.. бога... богородицу!

Сдернул со скамей холщовый покров, скомкал яростно, в угол закинул. Сильным, рассерженным выдохом потушил лампадку и свечи.

На дворе еще шумел народ:

— Чисто ругается, старый хрен!

— Натосковался в молитве по легкому-то слову.

— Господи, батюшко! И как теперь отмолит? И чем экий грех перед богом отслужит?

Красный, потный зять Магары, выпучив глаза, во дворе народ упрашивал:

— Разойдитесь, православные! Богом прошу, уходите со двора. Уж такой нам страм! Уж такая обида! Лег бы тишком да попробовал, помрет ай нет, а потом бы народ уж скликал... Уйдите, старики, для ради Христа. Лучше завтра придите нас страмить... Нынче не в себе он. Вам-то что? Отстрамили да ушли! А нас он вполне обязательно изувечит со стыду.

Молодежь свистела, приплясывала на улице около дома. Надрывалась в выкриках:

— Когда еще позовешь, Магара? А! Когда приходи-ить? Кутью сварим, блинов на поминки напеке-ом!

— Только, гляди, больше не надувай!

— Как наш Магара, чертов зять, собирался помирать, да к вечеру отдумал и начал свою мать крепким словом поминать.

Магара стукнул кулаком по подоконнику так, что задребезжали стекла раскрытых рам.

— Убью-ю!.. Уходите, сволочи!.. Ну-у?

Втянул голову в плечи, готовый к яростному прыжку, взмахнул руками, выставил в окно иссиня-багровое лицо с налитыми кровью глазами. Толпа шарахнулась от избы.

На улицу, на дворы, на окрестные поля и горы уже легла ароматная темнота. Бабы тревожно выкликали мужей и детей. Со смехом и бранью расходились люди. Магара тяжело сел на скамью меж окон. Уронил взлохмаченную голову на руки и дышал тяжело и трудно.

С тихим, медленным скрипом приоткрыла Григорьевна дверь. Старое сердце встревоженным голубем металось в груди. Слово с языка от испуга не шло, но огромная жалость толкала к мужу. Вошла. Магара медлительно, с большой усталостью сказал:

— Дай мне другу-ую одежду... И... постой! Вели Дашке самова-ар поставить.

Но чай пить не стал, выпил жадно три ковша холодной воды. Спросил угрюмо и глухо:

— Где же зятья-то с бабами?

— Один-то уехал, а эти тут, во дворе, в телегах спать полегли. Боятся в избу...

— Ладно, пущай там переспят.

— А ты-то, Савелий, как?..

Оробела и чуть слышно закончила:

— За село-о к себе не пойдешь?

Магара не ответил. Сильно и слышно ступая по полу босыми ногами, прошел к старухиной постели. Деревянная кровать скрипнула, как охнула, под большой его тяжестью. Старуха, вздыхая, стала укладываться на скамье под окнами. Но Магара громко и отчетливо позвал:

— Ложись со мной!

А на утренней заре вдруг заплакала без слез и без слов глухим мучительным воем.

— Савелий, Савелий!.. Смирись, сжалится господь! От гордыни от твоей шибко уж тебя обида пробирает.

— Молчи!

Сорвался с кровати и встал среди избы — большой, лохматый, нескладный.

— Молчи, баба! Тебе не понять, как я веровал... Не верую больше! В грехе доживать буду! В блуде, в пакости, в богохульстве!.. Душить, убивать буду.

И снова рухнул на постель с глухим воем. Утром ушел из дому и до пасхи пропадал. На второй день праздника явился пьяный и буйный.

6

Третий год здешнюю степь все меряют. Второй год горы рвут. Землю, песок, дерево, железо возят. Роют, сыплют, насыпают, над дорогой железной колдуют, а езда по этой дороге еще через три года не то будет, не то нет.

Строители-господа от войны здесь хоронятся. Не торопятся, видать, строить-то. Только и построили, что дома инженерам. А рабочей голытьбе из беженцев понаставили унылые, плохо сколоченные бараки да землянки. Под конторы и всякие свои учреждения понакупали готовые хорошие дома по всем деревням. Матвей Фадеев не зря ворчит:

— Станции да дистанции, а для мужика все одна надуванция!

Сначала он постройкой доволен был. Крестьяне за продукты неслыханную цену брали с постройщиков, хорошо наживались. И не один Матвей тогда радовался. А те-

перь не только он, одноруким вернувшийся с войны и оттого нерадостным и на все плохое приметливым, а и другие, старики и молодые поосновательнее, вздыхать начали. Все постройщики повыше десятников жили хорошо и под одним названием «инженеров» в округе ходили, но инженерским деньгам крестьяне уж не рады, — все втридорога стало.

На участках дошлый, приезжий из городов народ понастроил чайных: с граммофонами, с кислушкой пьяной в чайниках, с едой, по-городскому приперченной, в новинку для мужика приманчивой. Разгульные женщины с разных мест к тем чайным понаехали. Дурная деньга потянула и на дурные дела. Мужики, даже из пожилых, степенных, позашибались. А от шлюх да от господ, дорогу строящих, хворь стыдная приметно по округе распространилась. Инженеры у докторов своих от той хвори подлечиваются. Деревенским, пока в лежку не лягут, этим заниматься некогда. Не разъездишься в больницу от хозяйства, от земли. Хиреет деревня и от войны и от господской постройки.

Много народу из дальних губерний, беженцев, сюда прибыло. По углам у здешних мужиков, в бараках да землянках на работе непривычной маются, перебиваются с воды на хлеб. Плохо кормятся от постройки. Война сокрушает, и постройка вредит. Оттого у деревенского жителя, мужицкую невзгоду понимающего, к постройке, как и к войне, одно отношение: скорей бы кончилась. И к начальникам постройки враждебное недоверие.

Вирку оно от чернявого статного инженера отталкивало. Чужой он и вредный им, мужикам. Как-то раз вышла она за водой и близко к бане во дворе его увидела. Сурово сказала ему:

— Ты, барин, не крутись тут. Нехорошо для мужчины, даже совестно. Какое твое дело тут?

Он оглядел загоревшимися глазами открытую в рубахе с короткими рукавами стройную шею редчайшей белизны и такие же белые выше кисти тонкие руки. Сказал приглушенным жарким голосом:

— Я этой стирки твоей, как праздника, ждал... Виринея... слушай...

И, протянув жадные руки, ближе к ней подался. Она резко его оттолкнула.

— Ну-у!.. Не лезь!..

И близко мимо него прошла, прямая и строгая. В дверях сказала:

— Ты меня не замай! Еще к бане подойдешь, кипятком ошпарю.

И дверь в предбанник плотно притворила. Когда уходил шаткими, ослабевшими сразу ногами, во дворе двух хозяйских баб встретил. По глазам и поджатым губам понял, что они все видели и весь разговор его с Виринеей слышали. Он покраснел и сердито рявкнул:

— Где Петр? Лошадь мне надо.

С ночевкой на постройку уехал. Деньги за стирку передал Виринее через хозяйку своей квартиры.

Но на пасхе, когда народ кружился во хмелю от кислушки, пьяного квасу и чрезмерной праздничной еды, инженер случайно на улице встретил Виринею. Хотел мимо пройти, сама окликнула:

— Что мимо глядишь, не привечаешь? То больно прилипал, а то сразу засох? Пойдем на разгулку, барин пригожий!

Поглядел и остановился. В светлом ситцевом, по-городскому сшитом платье, веселая и свежая, как молодая березка. А глаза будто хмелем затуманены. Лицо зарумянившееся, жаркое.

Легким прикосновеньем руки к плечу властно повернула его. Пошли рядом за село. Виринея не смотрела, примечают ли люди. Легко шла, неумолчно, как в опьянении, говорила:

— Ходуном во мне жилочки ходют севодня, и сердце шибко бьет. Э-эх, ты, думаю, все одно сгнивать-пропадать! Хорошие-то годы из бабьего веку своего плохо прожила, а теперь што?

Он и сам сразу будто захмелел. Сильно и часто застучало сердце в груди. Сказал несвязно и прерывисто:

— Виринея... Вирка моя милая! Красавица!

Были уже за селом. Апрель дышал зеленой, радостно молодой травой, пахучим легким ветерком, сладостной прелью ожидающей вспашки земли и юной синевой высокого неба. Инженер заглянул в золотые ее глаза, схватил за плечи, прижал плотно к себе и в долгом неотрывном поцелуе приник к неярким, но жарким губам.

И вдруг услышали чужой, враждебный, обидой перехваченный голос:

— Вирка!

Василий с багровыми пятнами на скулах, со сбитой набок старенькой фуражкой на голове весь трясся от боли и гнева поодаль от них.

— С барином... милуешься середь бела дня! Сука!

Виринея неспешно освободилась от обнимавших ее рук, повернулась и пошла к Василию.

— Не ори. Не жена венчанная тебе, а гулена. Отгуляла — и ушла!

Побледневшая, строгая, в упор на Василия глядя, без испуга спросила:

— Пошто вяжешься за мной?

— Пошел отсюда! Какое ты имеешь право за ней следить? — закричал инженер. — Как смеешь оскорблять...

— Помолчи, Иван Павлович! — остановила Вирка и улыбнулась бледной короткой улыбкой:

— Видишь, как нужный час пришел, имя твое с величанием вспомнила... Не кричи, не расходуйся. Иди-ка домой, а я с Васькой сама поговорю.

— Не о чем тебе с ним говорить. Убирайся, мерзавец! А то я...

— Сама поговорю, слышишь? Ты — уходи. Я к тебе завтра вечером приду, не обману. А сейчас уходи. Надо с Васькой мне самой говорить.

— Об чем говорить! Пришибить тебя надо, распутницу! — закричал Василий. Сорвав старенькую фуражку с головы, он бросил ее обземь.

— Ну, коль сила да охота будет — и пришибешь. Уйди, барин! Гляди, не послушаешь, я совсем по-другому поверну... Как с Васькой.

— Я не могу тебя одну с ним оставить.

— Не можешь? Не хочешь, как я тебя по чести прошу, так отваливай совсем. Василий, приходи в Анисьин двор. Слово у меня для тебя есть.

— Виринея, но это же не нужно, ты сама знаешь...

— Уйдешь, барин, или нет?

— Я отойду. У села тебя подожду, только напрасно ты...

— Уходи! Право, хуже делаешь...

— Иду. Скорее только, прошу тебя. Вон там я ждать буду.

Инженер, оглядываясь, пошел к селу.

— Иди, иди. Я скоро. Слово надо сказать.

Когда инженер отошел далеко, Виринея сказала Ваське, провожавшему барина волчьим, злым взглядом.

— Василий, ноги у тебя трясутся, спина гнется, не выстаиваешь, сядь-ко.

Усмиренный ласковостью голоса и жалеющих его глаз, опустился покорно рядом с ней на траву.

— Васька, жалею я тебя, чисто ты не полюбовник, а сын мой роженый. Вот, право слово: шибко жалею! И, когда ругаюсь, кричу на тебя, все для того, чтоб полегче тебе от меня отлепиться было.

— Вирка, жалеешь, а зачем ушла? Зачем с другим блудишь?

— Ишь ты, как из-за меня маешься. Аж слово дых перехватывает. Зря это, Васька. Ничего мы с тобою теперь не рассудим, не переделаем. Без твоей, да и без моей воли так сделалось, што в раздельности мы, и никак нам теперь вместе не быть.

— С барами в сладком житье баловаться захотела? А? С того самого...

— Барин — это так... Под час подвернулся. Не серчаю я на тебя, что укорить хочешь. Жа-алею! С горя это ты, а сам знаешь — другого я хотела. Честного житья и деточек от мужа в род, в семью роженых... Сейчас подумаю — сердце зайдется. Ну, не так мне пришлось... Жалею я тебя! Часто об тебе думаю. Ведь первый ты мой с девичества... Жалею.

—Жалеешь, а жить со мной не желаешь... Разве так-то, с господами в блуде, лучше? Вирка, чать, сама ихнюю господскую ласку к нам знаешь... И чего ты...

— Помолчи, Василий! Все знаю. Говорю — так, в бабий час барин подоспел. А тебя жалею, часто жалею, ну, а к телу допустить тебя неохота. Не серчай, не вольна я в этом деле.

— Чего же ты меня мутишь? Чего еще разговоры разговариваешь?

— Васютка, родненький ты мой, незадачливый мой!..

— Ну тебя с присловием с твоим! Захилел от простуды в грудях, а ты со мной, как с юродивым... Эх, Вирка, недоброе сердце в тебе живет!..

— Нет, доброе, только без обману, без лукавости! Всю думку выдает. Жалко мне тебя, крепко жалко, а не люб ты мне. Кабы тебя не было, я бы с этим барином еще раньше...

— А сейчас все слажено?

Усмехнулась невесело:

— Нет, опять ты помешал! А сейчас думаю, што и совсем без него можно.

— Вирка, вернись к нам, в нашу избу. Я слова не скажу... Ни словом, ни глазом не попрекну!..

— Нет, невмочь мне, Василий... Я к тому говорить тебе стала — понатужься, забудь про меня, отдохни. У меня бы сердце за тебя полегчало. От бога отшибло меня, а вот про тебя думаю: может, в монахи тебе податься, а?

— Ах, ты... Тебе блудить, а меня в молитву толкаешь — сушиться? Я тебе покажу-у!

— Отдвинь! Убери, говорю, руку-то свою. Меня не осилишь. Видать, нету с пользой слова у человека, когда сил нету — делом помочь. Не об чем больше говорить. Всяк по-своему, по-старому маяться будем.

Встала и пошла. Василий взмолился:

— Вира... Виринеюшка! Одна ты желанная...

— Не канючь! Чего надо тебе — нету у меня для тебя. Жалости моей не принимаешь. Чего же размусоливать?

Пошла к селу быстро и легко. Васька кинулся за ней, потом обземь ударился, уткнулся лицом в землю, волнующую свежим запахом, и затих.

Вирка у околицы встретила инженера. Быстро кружил, в жарком нетерпенье вышагивал. Поглядела на него холодными глазами и сухо сказала:

— Иди домой, Иван Павлович. Неохота мне сейчас с тобой миловаться. С Васькой растревожилась.

— Вира... Но ты придешь? Ты обещала мне...

— Пообещала в дурной, нерассудливый час. Еще такой накатит — может, и приду. А все-таки не жди. Облюбуй себе другую. Не ходи за мной, мне в другой конец.

Дома рвал и метал. Деревенская баба, а так им вертит! Невозможно, противно, унизительно! К черту, к черту ее!

Сел на коня, поскакал в участок к своим старым знакомым. Но и со свояченицей начальника участка и с учительницей, молодой горожанкой, не развеселился. Сумрачен был, и сердце томилось нежной тоскующей любовью к Вирке.

А Васька долго лежал за селом. Темнеть начало. Холодком проняла еще не распаленная, выстывающая к вечеру апрельская земля. Но встать трудно. На теле — как путы. Сердце будто в обруче тесном. Тяжело дышать и немило глядеть на божий свет. Подняться его заставил густой, хриплый пьяный голос:

— Это што за... падаль валяется? А?.. Живой? А я думал...

— Это я, дядя Савелий... Отдыхал...

— «Я... я!» Вижу, что ты... Повитухин, что ль, отродыш? Ыгым... узнал. Выродила молодца ведьма ласковая. Ну, что стоишь? Проваливай!

Потом, вспомнив, Магара крикнул уходившему Ваське:

— Кержачку твою с инженером видал... Вздуть за тебя хотел. Не за тебя, а за барина того. Не то вздую, — убью-у!

Магара выпятил мощную грудь и взмахнул огромным тяжелым кулаком.

— Не ее, а барина... Мужик с тоски грешит, а эти от сытости. Не люблю их, н-не люблю!

Васька вернулся, торопливо заговорил, с опаской косясь на кулак Магары:

— Дядя Савелий, дядя! Избей, ей-пра, избей когда-нибудь! Грех от них и обида. Большая обида! Я бы и сам избил, да хворый я. Силы нет у меня в руках. Эх, что ж ты сегодня не поучил? Средь бела дня прохлаждаются всем людям напоказ. Э-эх!

— Ишь, взгомозился как! Чужой силой отбиваться охочи. Ну, и подлец человек пошел! Чего встал? Уходи! Неохота мне тебя бить! Неохота. Тебя ногтем давить надо... Но могу и побить! Уби-ить могу! А, бежишь, испугался... Тоже крепко за землю держишься! А я не держусь, она меня держит... Убью. На этого руки зудят. Энтих бить буду! Не же-лаю их тут! Девок наших портят... Убью!

Василий бежал к селу, неловко перебирая заплетающимися слабыми ногами. Одним прыжком мог бы догнать его Магара, но только сплюнул и пошел в другую сторону.

Через неделю ночью возвращался инженер верхом с участка. Было уже близко село, и он ехал шагом. Поводья в руках чуть держал в тоскливой рассеянности. Не хотелось возвращаться в свою большую пустую и скучную комнату при конторе. С утра сегодня томило его совершенно новое ощущенье тоски. Не думал о Виринее, ни о ком, ни о чем определенном. А просто ощущал почти физически какой-то тяжелый груз на себе. От этого груза нескладная тоска. До жути.

«Заболел я, что ли? Или с ума схожу... дышать трудно...»

Он объезжал работы. Десятники дивились непривычной его рассеянности и вялому, тусклому взгляду. Дома один сидеть не мог, но и в гостях не прошло томительное ощущенье. Лошадь гнал быстро всю дорогу, домой спешил. А подъезжать к селу стал, назад повернуть захотелось. Размяк как-то весь, опустился.

Вдруг лошадь взметнулась на дыбы. Инженер вылетел из седла; на ноги встал быстро и легко. Лошадь понеслась в сторону от дороги.

— Сто-ой! Тпру-у!

Хотел кинуться догонять. Но вздрогнул сильно, всем телом, и остановился. Огромный лохматоголовый мужик вырос перед ним, — будто внезапно родился из темноты.

— Раскатываешь! Разгуливаешься? Сукин сын! Для разгулки здесь поселен? Баб хороводить суда прислан? А?

Услышав хриплый, страшный, но живой человеческий голос, инженер взбодрился:

— Убери руки, негодяй! Лошадь испугал. Прочь с дороги! Что тебе надо от меня?

И торопливо вынул из кармана черный короткий револьвер.

— А ну, вдарь... Пошибче вдарь! Стреляй! Я те кулаком дам острастку! Учуешь, каково легко убить Савелия Астафьева Магару. Ну?..

— Пусти... Пусти руку, пьяный черт! Ну-у?..

Инженер выстрелил в воздух, но в тот же миг зашатался от удара в висок тяжелым кулаком. Покачнулся, взмахнул руками, заплясала темнота перед глазами. На ногах выстоял, но револьвер из рук выпустил.

— А, мерзавец! Драться вздумал?!

Вцепился одной рукой в бороду Магары, вырвал другую руку из его ладони и с яростью стал отбиваться от ударов. Старался дотянуться до земли, чтобы поднять револьвер. Но Магара придавил револьвер ногой и свалил инженера на землю.

— Сильный... ч-черт! Отъелся на хороших харчах. А вот... Еще получи! Отбиваться? Н-нет... от Магары не больно отобьешся. Что сердце, что рука... на! получи... у меня чижолые! А н-ну... р-раз!

Рукояткой схваченного с невероятной быстротой с земли револьвера Магара ударил инженера в затылок. Тот дернулся в живом последнем вздроге, молниеносно и остро ощутил запах земли и какой-то близкой ароматной травы, без мысли, ощущеньем ярко увидел или вспомнил что-то, о чем надо крикнуть, что надо выдохнуть. Но не крикнул и не дохнул. Остался лежать на дороге — недвижный, невидящий, неживой.

— А, готов! Убил... Еще убью-у! Не с того, што хилой тот просил... Д-да...

Твердо и крупно шагая от трупа, Магара глухо бормотал невнятные слова. Не то каялся, не то торжествовал и грозил. Но шагах в десяти вдруг остановился, застонал, швырнул в сторону револьвер и бросился бежать в степь, дальше от села. Бежал быстро, но зорко видя все вокруг и слушая темноту напряженным ухом. Убегал так, как убегают от неволи или от смерти.

7

В свой срок залегла зима. Деревня завернулась в снега, в морозные дни, в долгие ночи с томительным тяжелым сном в закупоренных избах.

Порядок зимней жизни в деревне был прежний. Только мало свадеб играли.

По ночам, когда на высокой горе за селом, в степи за горой, на реке и в лесах творилось холодное торжество белых снегов и тишины, деревенская улица по-прежнему нарушала это торжество буйством гармоники и песен. Но совсем мало осталось на улице холостой молодежи. Кружили на ней в невеселом разгуле бородатые семейные люди в годах и прибывшие на побывку солдаты.

Было больше драк, лихого свиста, бабьего визгу, но рано затихала гулянка, и девки возвращались домой нерадостные. Гульба не тревожила спящих в домах. Только в школе на выезде пугливо вскакивала с постели новая учительница, молоденькая горожанка. Да Мокеиха в своей избе ругалась, вздыхала и молилась. Скорбь и боль отшибали у нее сон. Опять одна зимовала. В острог взяли Ваську, хоть в день убийства инженера и всю ту ночь разбитый хворью Васька лежал. Оправдаться легко было, но сам Василий в перепуге запутался. На Магару хотел подозренье высказать, а вышло, что сам Васька на убийство Магару подговорил. И чем больше допросов, тем хуже. Совсем запутался. В поклепе на Магару стало начальство сомневаться. Так и умер Васька в остроге.

Акгыровцы про Магару и верили и не верили. Но никто не хотел, чтоб его поймали. Тогда снова начнется канитель. Акгыровских и так замаяли допросами. Теперь затихло дело. У инженера родных, видно, нет. Никто, кроме начальства, разыскивать убийцу не старается. Как умер Васька, ничего не стало слышно ни про следствие, ни про суд. Только охрану на постройке усилили. Инженеры стали тоже опасаться. Зря в поздний час остерегались раскатывать.

Вирку скоро обелили. Из города прислали как беспаспортную — под здешний надзор на родину. А теперь, слышно, и документ есть у нее. Родня, понятно, к себе ее не приняла. Да она и сама к ним не охотилась, на постройке работать стала. Зимой постройка на многих участках остановилась. Но около Акгыровки гору пробивали, туннель проводили. В бараках с беженцами Вирка теперь живет. Господ не допускает к себе, хоть многие из них любопытствовать стали. Сам земский начальник приезжал в кухарки ее нанимать. Она к нему и разговаривать было не пошла, силком притащили. Поглядела на него Виринея с усмешкой, пригладила растрепавшиеся волосы и сказала:

— Ты — начальник, тебе сила дадена. Только не на меня. На меня, барин ласковый, теперь управы нет никакой, потому что мне уже все не страшно. Не пойду к тебе. Не застращаешь, не желаю.

Это при троих мужиках да при уряднике было сказано.

У земского румянец в лицо пятнами кинулся. Сам себя в расстройстве все за светлую пуговицу дергал.

— Что за околесицу несешь? Я и не думал грозить или звать насильно. Мне кухарка опытная нужна, вот и указали на тебя. Прошу прекратить глупые эти... возгласы. Не хочешь наниматься, не надо! Я думал, ты нуждаешься в работе.

— Работы на наш горб хватит. Вашему брату из-за работников за столь верст колесить не надо. Под боком найдутся, на слушок сами издали спину свою притащут. Не ходит ведь хлеб за брюхом, сказывают. А я тебе не на работу, а на усладу...

— Пошла вон, дура! Какая дерзкая, скверная баба! Ты у меня смотри!..

Отозвалась от дверей. Не зло, а так — будто сама с собой говорила в раздумье:

— То-то, говорю, смотреть нечего. Ни тюрьмы, ни сумы, самой смерти теперь не боюсь. А тебя ославлю не похорошему. Заступников себе, коль захочу, найду. Видно, медовую больно мать меня родила: и городские начальники липнут. Не топочи, ухожу!

В большом расстройстве земский уехал. Думали: конец Вирке, но благополучно сошло. Начальник — и тот связываться с ней побоялся. Или забыл, развлекся с другой. А Вирку для услады в прислуги нанимать еще один барин приезжал. Из дальнего участка, главный инженер. Строгий, с сединкой, господин настоящий, хорошо одетый. Руки держит так, будто загрязнить об других людей боится, и голову высоко несет. А с Виркой разговаривал ласково, с усмешкой в усах. Вирка сразу его не отшибла. Спросила:

— А сколь жалованья положишь?

— Я, право, не знаю... Скажите, какую сумму вы считали бы достаточной. Готовить вы умеете и вообще... моим требованиям, кажется, удовлетворяете. Я люблю хороший стол и аккуратную чистенькую здоровую прислугу.

— Это уж как есть! Видала господ-то, чую, что вам надо.

— Ну, вот. Очень рад. Я не скуп. Вам согласен платить двадцать рублей ежемесячно. Ну, разумеется, на всем готовом. Только предварительно я вас прошу сходить к врачу, нет ли у вас чесотки или еще какой инфекции.

— А семейство ваше сколько человек?

— Я один, без семьи, на постройке. Вам не будет тяжело.

— Какая уж там тяжесть, одна сладость выходит. А прежней-то своей стряпке сколько платили?

— У меня повар военнопленный. Да вы не беспокойтесь, я говорю, что не скуп. Ему платил десять, а...

— Мне, стало, за бабью мою плоть десятку прибавки. Эх ты, лафа бабам! Ну, я гляжу, у черного народу совесть чище господской.

— То есть позвольте... Я не совсем вас понимаю...

— Из ученых ученый, а непонятливый. Семейство у него есть, а бабу-гулену не для блуда, а для святости жить в свой дом зовет! Вот с того и мутит меня от вас. Эх вы, господа! И в пакости — чисто в святости. Это только низкий народ грешит, а вы и в грехе спасаетесь. Пакостить охота, так и сказывай, а не сиди с хорошим лицом, как чистой жизни старатель.

Господин этот после рассказывал, как он от сумасшедшей спасался. Рассказывал с придыханием, сразу теряя важную свою манеру разговаривать:

— Это удивительно! Положительно буйное сумасшествие! И притом эротомания... Удивительно, в простой среде такая изощренная... эротомания.

В деревню Вирка не ходила. И деревенские от нее сторонились. Баба отчаянная, лучше подальше от нее: еще в какой-нибудь суд да следствие втянет. При встречах без разговоров и приветствий обходили. Только Анисья из-за нестерпимого любопытства к Вирке в барак однажды в праздник прибежала.

В недлинные два ряда вытянуты бараки, похожие на кирпичные сараи. Маленькие слепые окна — на самой земле. Теперь снегом чуть не наглухо забиты. Отрывать приходится, чтобы не сидеть и днем в темноте. Скаты у крыш крутые и острореберые, как у скворечниц. Домашняя рухлядь прямо на воле за бараками валяется. Дворов нет. А поодаль недостроенный высокий дом для будущего полустанка. Пустыми без окон еще глазницами пялится, крыльцом без дверей щерится. Около него на бревнах сбились кучкой мужики-беженцы и три военнопленных в чудных коротких шинелях, а рядом — бабы. На солнце в нынешний теплый день из щелей своих повылезли. Анисью оглядели прищуренными от яркого снега глазами. Между баб живой говорок пробежал.

— Здравствуйте-ко, бабыньки! И где тут Вирка нашинская живет? — спросила Анисья.

Молодая беженка из высоко и туго навернутого большого теплого платка выставила остренькое лицо и засмеялась:

— За бараками, с той стороны пошукай. Где пляс да гулянки, там и живет.

Но Анисья зоркими глазами уже увидела далеко впереди Вирку. У барака стояла. Когда Анисья подошла, она не сразу услышала. В сугробы, в степь смотрела. Лицо у ней было суровое. Бороздинка меж бровей резко обозначилась. Будто искала глазами чего-то в сугробах тех. Не нашла и сильно оттого растревожилась. Шубенка на ней была старая и платчишко на голове потертый. Анисье она ответила неласково:

— А здравствуй, коль не шутишь. Чего пришла?

— Ишь ты, как заспесивилась! Поглядеть пришла, как живешь в развеселом-то житье. Чего башку воротишь? Я к тебе с хорошим словом, как бывалыча, а ты — рыло в сторону. Другие-то бабы плюются, как кто заикнется про тебя, а я...

— А у тебя слюней мало? Жалеешь? Чего ты, Аниська, прибежала ко мне? Поглядеть да потом языком чесать? Ну, гляди. Не впервой видишь. Какая была, такая и осталась.

— Нет, не такая. Поплоше и злее. Зря ты так-то со мной! Видно, девка, несладко тебе и тут. Чтой-то ты обряду-то себе хоть не справишь? И в бедном житье раньше приглядней ходила.

— А кому обряда моя нужна? Да и не больно много капиталу у меня, штоб наряжаться. На харчи хватает — и то ладно.

— Вот, Вирка, с богом-то каково спорить! Не молишься, не каешься, он и забижает тебя. Нету тебе долюшки, так и катает тебя по разным местам. Э-эх, горькая твоя жизнь, баба! Право, горькая. Я позавидовать было шла, а теперь гляжу — плохо живешь.

— А ты больно хорошо? Все под богом плохо живут, Анисья. Каждого своя ржа ест. И который говорит, что хорошо живет, только топырится для веселости, об жизни об своей думку подальше загоняет, штоб не точила. Вот, как ты.

— Чего это я плохо? Слава богу, в достатке и в своем угле. Без слез, без хворьбы, знамо, живой не живет. Разве, может, господа, а наш брат не живет. Ну-к, што ж? Я хорошо живу. А ты, Вирка, будто отроду и не дурочка, а подурьи все делаешь. Про господ вот... Ведь как сказать, слух у нас в деревне есть, что ты на гульбу охотлива. Дак

по крайности гуляла бы с умом, достаток бы наживала. Вот и пожила бы в господском житье. Вон из Романовки Мотька-то в город подалась, в хорошем заведении живет, так у ей платья шелковые, кольцо золотое. Приезжала на побывку — хвасталась. Да и здешние-то, которые около инженеров кормятся, погляди. Што тебе обувка, што одежа — завидки берут глядеть!.. А ты... Посмотришь, и прямо жалко. Ей-пра, жалко. Все одно, коль на то дело пошло, дак по крайности с пользой бы. Господа-то к тебе как льнут.

— А ты што же со своим австрийцем без пользы любишься? Тоже взяла бы да наживала на этом деле.

— Ат сравняла! У меня дом, хозяйство не порушены. Я венчанная мужу жена, детям мать и дому хозяйка. Шлюхой никто не назовет.

— Зовут. Я слышала, да и ты сама слыхала.

— Ну, это со зла кто-нибудь, а все одно мир меня за мужнину жену почитает, кличет по мужу, и я вровень с другими бабами иду. Не то есть грех за мной, не то нет, — еще бабушка надвое гадала. Если я тебе сама што болтала про себя, так, может, для веселости тебя задуривала. Поди-ка докажи! А твое дело другое: все напоказ. И с Васькой, и с инженером с этим. Не хочешь, да видишь. А на славу на такую пошла, на страм перед людьми, — дак уж за чего-нибудь, а не дарма. Деньги, да одежу, да домашность заведешь, дак и при какой хочешь жизни другими глазами на тебя поглядим. За спиной, может, скажем потаскуха, а в глаза: Авимовна. Нет! Нет, Вирка, зря ты на меня серчаешь. Я тебе для твоего же добра советы даю. Другая так с тобой говорить не будет, а у меня сердце ласковое. Я никому зла не желаю.

— Ну, а у меня, Анисья, на такую ласку сердце неохотливое. Не жалей и не советуй. Иди-ка, баба, домой, гуляй себе по-своему, а меня не замай.

— Нет, не будет тебе доли. Ох, не будет! Больно уж занозиста. Высоко себя несешь, а все в грязи хлюпаешься. Стой, стой... Еще на одно словечко!

— Еще не все выболтала? Много их у тебя. Такой же дешевый товар, как и ласка твоя. Чего тебе надо?

— Чего ты от господ отбиваешься, вот я никак не смекну. Желанного, знаю, и середь мужиков у тебя нет. Ай по Ваське мозглявому после время сохнуть зачала, ай тот барин чем изобидел, а?

Вирка скривила губы, заглянула в любопытные Анисьины глаза и крикнула злым, высоким голосом:

— Уходи, трепалка долгоязыкая! Не тебе на духу буду выкладывать, кого жалею, с чего пропадаю. Ну, поверты-

вайся. И дорогу ко мне забудь! Был час, когда и ты мне мила была, а теперь никто не мил. Сдохли бы вы всей Акгыровкой, я бы возрадовалась! Черт меня привязал к вам!

Круто повернулась и быстро ушла в барак. Целый день в углу своем на тряпье ничком пролежала. Все разбрелись, одна Вирка осталась в бараке да трое ребят. Назябшись на улице, они забрались на печку. Когда Вирка поднялась, старшая из троих, восьмилетняя Грунька, спросила:

— Вирка! Мамка сказывала, кузнец около барака вьется, все тебя нюхает. А мне чудно! Чего же это он нюхает? Ходит да нюхает!

И засмеялась звонким детским смехом.

Виринея вздохнула, сказала, устало растягивая слова:

— Ты не слушай, Грунька, чего большие бабы болтают, не пересказывай мне. Мала еще, штоб ихними пакостными словами мараться. Ну-к, подвиньтесь, я с вами на печке посижу, погреюсь. Понастроили нашему брату хоромы, со всех щелей дует, а от солнышка в землю запрятали.

Грунька подперла щеку рукой и сказала по-взрослому, по-бабьи, подхваченные сегодня на лету слова:

— А на улке-то тепло, солнышко нынче уж на весну, веселое.

У Вирки тоска по лицу — темным облаком, а глаза большие стали и нежные. Она осторожно погладила пегую Грунькину голову. Самый маленький мальчик в детской дремоте, внезапно его сморившей, привалился к плечу Виринеи и ровно задышал. Вирка, боясь шевельнуться, чтобы не стряхнуть доверчиво припавшего к ней ребенка, тихо сказала:

— Грунь, про «Золотую зыбочку» сказку слыхала?

— Ну-к, Вирка, тетенька... Ну-к, скажи...

И мальчишка постарше придвинулся поближе. У Вирки от горькой нежности сердце захолонуло. Ласкала детей любовным взглядом и певучим голосом сказку сказывала:

— Жила-была на свете девочка-сиротиночка, не осталось у ней ни отца, ни матери, ни родной сестры, ни братика...

Дети скоро заснули, а Виринея долго на своем тряпье ворочалась. Не могла уснуть от дум о добре и правде. Где же их найти?

8

Еще холодом, белым и твердым, дышали в степи снега. И в деревне, и в бараках за деревней еще глухи были навалы сугробов перед окнами.

Но дольше и горячей вглядывалось солнце в землю. И с теплой стороны ветер жаждущий стал налетать. Пил снега. Веселей засуматошились воробьи. Меньше лежала, нетерпеливо двигалась в стойлах и слышней ревела скотина. Охотней на волю из жилья выходил человек. Глаза его к небу чаще тянулись. В набухшей облачной серости искали легкую синь.

В праздник сретения тепел и весел выдался день. Даже отдыхать после раннего обеда мало кто залег, — все на улицу выбрались. Еще до полудня прокатила по Акгыровке пара тощих от частого разгона земских лошадей. Колокольчик прозвякал и замолк около сборни. Народ на улице затревожился. Староста, кряхтя, поднялся с завалинки.

— Не то начальник, не то из земства рассказчик. Сгонять, поди, опять в сборню народ надо. Эх ты, зачастили, прямо роздыху не дают!

И, сердито стряхнув с тулупа налипший снег, староста неохотно пошел к сборне. А через некоторое время мальчишки забегали под окнами. Весело в стекла постукивали и звонко выкликали:

— Дядя Силантий, на сходку-у!..

— Тетка Матрена, посылай мужиков в школу на сход. И сама иди! Баб тоже оповестить наказывали.

— На сход в школу-у!..

— В школу! Из городу начальник высказывать будет!..

Даже к Мокеихе один востроглазый, развеселый, в рваной мамкиной кофте, заглянул:

— Баушка-а! Не спишь? Иди на сход, я всякую бабу зову. Велели! И старух зову-у!

— Напугал, окаянный! Нешто опять наехал кто?

— А ну да... Чать, про войну-у высказывать будет. Може, с картинками! Сыпь, баушка, в школу скорей!

— Вот сейчас так и посыпала, дурак ты пучеглазый. Нужны мне твои картинки да пустобрехи городские! Закрой дверь, избу не выстуживай! Я вот те дам подзатыльника. Нужен ты мне с оповещеньем твоим!

Но оделась и пошла. И все с ворчаньем, будто нехотя, но шли. Много народу набилось в школе. Дело праздничное, можно поглазеть и послушать. Пришли кержаки, рабочие из бараков.

Топтались плотной толпой, ругали приезжего из земства, замешкавшегося в старостиной избе, но ругань была вялая, без горячности. Привыкать стали уж к беспокойству от наездов горожан. В начале войны только по во-

лостным селам ездили. А теперь стараются! И в такие деревни, как Акгыровка, наезжали уже не раз.

Старик Федот настойчивей всех шамкал горькую укоризну:

— Сколь теперь начальников развелось! Беда! И все разного сорту, не подладишь никак! Ране-то знали станового да земского. У их с мужиком крутой да короткий разговор. А теперь из этого, из земству, больно разговорчивый начальник пошел. И на всякое дело особый свой. Агроном там, скажем, скотий дохтур, бабы ездиют, оспу ставят... А мужик всех вози, всех ублажай... Што ни дале, то чудней. Теперь из книжки читать, про войну сказывать — опять отдельные начальники. Не вздохнешь, не охнешь без начальнику! Должно, все образованные начальниками сделались, от войны хоронятся.

И, покачав головой, на батожок свой потверже оперся. В тягучую старческую думу об изжитом погрузился. Старые глаза тихо живут: притушенные усталостью, новых видений не ищут. Но сердце до конца, пока совсем не заледенеет в жилах кровь, тревожится. От новых забот и себя и всех вокруг оберечь хочет. Оттого, когда пришел и стал громко рассказывать худощавый приезжий с вихрастым чубочком над озабоченным лбом, Федот ухом слышал его слова, но думал о своем и часто тяжело вздыхал. Проще раньше жизнь в округе шла. Жили здесь от городских людей, от крупных начальников, от царя — далеко. Горами, логами, буераками, речушками без мостов, лесками низкорослыми, но густыми, и верстами степными лукавыми от них отгорожены. Лихую трясучку летних дорог, внезапную ярость буранов на зимняках только становой с земским нечастыми наездами осиливали. Оттого разномастный, разноязыкий народ жил здесь под начальством мелким: под урядником, старшиной и волостным писарем. Правда, от мелкости своей оно было старательно лютым. Даже беспечальные башкиры твердо запомнили сроки, когда надо в волость «темную» (взятку) везти. Хворая глазами мордва научилась издали писаря узнавать.

А теперь, как царь на войну разохотился, во все стороны рукой достал, мужиков на свое дело собрал, еще больше колгота пошла. А для той колготы и начальников много понаставили. Сходами замаяли. На всех этих начальников расход из мужицкого кармана, и голова болит от их долгих крикливых речей. Ишь, вон твердит: Сербия да Бельгия. Слово к слову ладно прикладывает. Ох-ох-ох, господи батюшко! Народу разного много ты, владыко, рас-

плодил, а земли, видно, мало сотворил, — все дерутся! Друг от дружки, один царь от другого под свою руку землю отнять норовит. И мор на людей бывает: на Федотовой памяти три большие повальные смерти случились. И на войнах много поубивали землепашцев. Если только по своей волости посчитать, кто убит, кто умер от раненья, кто сгинул без вести — длинное выйдет поминанье. Этот чубастенький соловьем разливается, про солдатскую русскую храбрость выкладывает. Ох, храбры, храбры, а, поди, надоело храбриться неведомо за что... Все про войну, про мир ни словечка.

И как бы в ответ на стариковы думы злой голос Виринеи прервал оратора:

— А когда войне конец? Когда из жестокого немецкого плена вызволять наших солдат будут?

Лектор, перебитый на дрожащей душевной ноте, смолк и растерянно взглянул на толпу, но быстро оправился и ответил заискивающим голосом:

— Позвольте, я сейчас. Кто-то мне вопрос задал?.. Я сейчас отвечу... Вот видите, братцы, сейчас меня женщина спросила... Спросила с сердечной болью! Женщина, жена и мать, разумеется, несет на себе тягость нашей священной войны...

Слушатели задвигались. Виркин вопрос всех разбередил.

В толпе прошел не то общий сердитый вздох, не то гул от переговоров. Федот подался ближе к лектору. Ласково речь его перебил:

— Бабенка-то энта глупая, но в час слово-то сказала, ваше благородье! Бывает, сдуру ляпнет малолеток али баба, а оно в час и нужным-то выйдет ихнее глупое слово. Я к тому: не гневайтесь, ваше скородье! Охотимся мы узнать: про замиренье не слыхать ли чего? Слуху нет ли в городу?

И смятенным разноголосьем надвинулась на лектора толпа.

— Может, раздышку хоть какую объявят?

— У меня старшого, Митьку-то, убили, а сейчас опять в письме: Васька — раненый. Тяжело дело-то обертывается.

— Слышь, — как вас назвать-то, не знаю — скажи-ко, голубь, где хлопотать? Способье задержали в волости, а мужик-от ушибленный у меня. На войне то есть завалило его. Руками-ногами не владеет.

Худая желтолицая баба, с огромным страшным животом, настойчиво и тоскливо допытывалась:

— Как приходил на побывку, адрест прописал: действующая армия, двести седьмого полку... А Гришка конопатый оттудова сейчас: нет моего-то в этим полку... Где искать? Во все розыски писала. Где теперь искать? А?

Загудели тревожно, озабоченно. Отдельных вопросов уже не мог лектор слухом уловить. В беспорядке врывались отрывочные слова:

— ...мир!

— ...нащет способья!..

— ...ерманский город, не сказать мне, как его...

— ...посылку в плен надписать...

— ...сухари Ваньке посылали, не получил.

Ни о победах, ни о пораженьях, ни о ходе войны, ни о численности армии, ни о мощи ее не расспрашивали. Говорили о малом, каждый о своем. Расспросами дробили армию на Митриев, Иванов, Василиев. Царская война, победы и отступления — царево дело, поставленных им начальников — забота. А у них — Ванькина смерть, Петрухины раны и скорей бы конец войне. Это — свое, кровное, что отдано ими для войны и счет которому они ведут в отдельности от царя и его начальников. Лектор растерялся. В городе многие понимают, что необходимо войну довести до победного конца. А здесь общий стон: мир, мир! Черт понес его в это село! В земстве друзья предупреждали, что здесь мордва... и вообще дикари. Лектор вытер платком вспотевшее красное лицо и смущенно начал просить:

— Подождите, братцы... Постойте, я не могу сразу всем ответить. Вся страна несет бремя войны, но...

Не знал, как закончить сход, как к выходу пробраться.

В самое ухо ему ударил звенящий женский голос:

— Эх, кабы цари один на один дрались! Пошто нам из-за них бедовать?

Испугался. Вот до каких заявлений дело дошло! Втяпался в историю. За такой сход по головке не погладят.

— Погодите... Прошу вас. Староста!.. Где староста? Надо успокоить сход...

Вместо старосты на подмогу лектору протолкался рослый, плечистый Анисим Кожемятов и крикнул:

— Потише, старики! Чего расшумелись? Не диво — бабы, а то и мужики без всякого порядку налезают. Дайте господину его дело кончить!

Перед властным окриком уступила мужичья толпа.

— Постойте, тише! Не напирайте!

— Чего ты орешь над самым над ухом!

— А ну, постой! Тише! Погоди!

— Да я разве что? Спросить хотела у знающего человека...

— Уж извиняйте, ваше благородье, коль что не так. Мы — народ темный.

В сникающем ропоте сгас шум искренних и страстных вопросов и заявлений. Анисим Кожемятов, поглаживая полу праздничного своего пиджака, наставительно закончил:

— Никому война — не в сладость, а ничего не поделаешь, надо натужиться и одолеть врага. Нечего надоедать: когда мир да скоро ли отвоюют. Когда будет конец — объявят. Мужик для того и родится, чтобы землю пахать да на войне воевать. Богу надо молиться, на армию жертвовать, а зря шуметь нам, хрестьянам, не полагается.

Приободренный лектор закончил уже в покорной тишине:

— Велики страданья наших солдат, но неустрашим геройский дух армии. Наш царь победит!

Когда он распрощался, ушел, народ снова зашумел в школе и около школы на улице. Вирка на ходу сердито говорила беженкам из бараков:

— Намолол за три мельницы, да все не про нашу нужду. Их про наше дело и не спрашивай. Ух, и зло меня забрало! Сгрести бы его да намять бока. Пущай хоть не под пулей, а под кулаками бы помаялся. Небось, сам в солдатах не был, в окопах не лежал.

Короткий мужской смех всех четырех баб разом заставил оглянуться. Светлоусый, с бритым подбородком высокий мужчина, в серой солдатской шинели шел сзади и смеялся. Спросил Вирку с добродушной насмешкой:

— А ты лежала в окопах? Почему знаешь, может, там сладко лежать-то?

— Для таких, как ты, сладко, коль сам тоже не лежал. Рожа-то гладкая. Видно, в городе в каких-нибудь сапожных мастерских аль в услужении спасался. Чего-то я тебя впервой вижу. Видно, не из нашей деревни. Пошел своей дорогой! Чего в наш разговор влезаешь?

— Уж очень ты спесива да задорлива. Только бестолку. Я на тебя еще в школе глядел, как ты шумела. А чего шуметь зря? Не мозгляк этот говорливый дело делает.

— А коль не он, так пущай и не бередит! Чего ездиют, народ тревожат, над мужиком измываются? Эх, была бы моя воля...

— Ты бы сама царевать стала, а? Чьего ты роду, я тоже тебя что-то не признаю.

— Вот привязался, липучий черт! Иди своей дорогой!

Да за мной, гляди, не вяжись! Я таких вальяжных не люблю. Другие солдаты на войне маются, а вот эдакие на теплых местах спасаются. Тьфу! Ноги бы тебе переломать с разговорщиком этим вместе.

Солдат громко засмеялся и свернул в переулок. А Вирка всю дорогу до бараков ругала его и лектора. Беженки, понурясь, молчали. Их мучила своя забота. Скоро ли начнут их отправлять на родину?

Вечером тот солдат к баракам приходил. Вирка на улице под гармошку плясала с кузнецом акгыровским, плохой славы мужиком. Солдат поглядел и ушел. А Вирке сразу скучно стало. Оттолкнула кузнеца:

— А ну тебя, рыжий черт! Надоел... Одно, лапает! Жена хромая не совладает с тобой, а следовало бы морду твою пучеглазую хорошенько набить. Чего к другим бабам вяжешься? И ко мне больше не вяжись, красторожий! Другую игральщицу себе ищи.

Ударила его кулаком в грудь и ушла с улицы.

В бараке у них, несмотря на поздний час, Вирку дожидалась Анисья. Глаза у нее были заплаканы, и лицо вытянулось.

— А я было за тобой на улку идти собралась. Да сердце у меня не хочет сейчас на веселье глядеть, — тут подождала.

Вирка взглянула неприветливо и неласково спросила:

— Чего это ты сегодня расхлюпалась? Аль сударик побил?

— Не говори ты сейчас мне про него, не трави ты моего сердечушка. Ох, Вирка, горе-то у меня какое! Мужик, сильно пораненный, в городу в больнице лежит. За ним приехать наказал.

— Откуда ты узнала?

— А Павел Суслов вернулся нынче, наказ передал. Вместе, говорит, с моим мужиком в Москве в лазарете их лечили. Павла вылечили, и не видать, что сильно раненный был, а мой Силантий чуть дышит, сказывает. Пашку-то из города довезли, а моего на отдельной подводе доставлять надо. Силантий наказал, чтобы я приехала. Ох, головушка моя, ох, сердечушко в лютой тоске! Дождалась, домолилася! Може, только глаза закрыть и доведется мне...

Перешибло слова рыданьем. Но Анисья быстро слезы вытерла, заглотнула плач и снова заговорила торопливо и сбивчиво:

— Завтра чуть свет выезжать надо, а на кого спокину избу и хозяйство? Ребятишек-то куды на то время дену? А корова одна хворая и за всем хозяйством кому-то до-

глядеть надо. К тебе, Вирка, с докукой: иди, подомовничай. Работа-то на дороге у тебя, я слыхала, поденная?

— Вовсе никакой нет! Из бараку гонют, теперь на работу мало народу требуется, да и то мужиков, а баб не хотят. Слыхать, не будут нонешний год дорогу достраивать. Силов из-за войны не хватает.

— Да то и я слыхала. Сразу-то не сказала, а знала, что тебе податься некуда...

— В чайную, на участок, прислуживать зовут...

— Ну, уж ты для ради Христа мне уважь. Ты на хозяйство сметливая. А ведь, как сказать, и в горе, а все одно по хозяйству забота свербит. Подомовничай!

— Мужики охальничать будут. Кабы окна из-за меня тебе не повышибали.

— Да я соседям всем поклонюсь, приглядят. Главно дело, корова хворая, а у тебя к скоту рука способная. К кузнецу приластись хорошенько! Он другим парням тебя в обиду не даст. Вот и целы будут стекла в моих окошках.

Вирка усмехнулась:

— Ладно, уж не учи! Сама отобьюсь, сумею. Приду завтра на свету, коль уж дело такое.

— Да нынче пойдем, с тем шла, тебя привести. К Павлухе Суслову забегем, я его еще расспрошу, как к мужику-то в городе скорей доступиться. Пойдем, ластынька, собирайся скорей.

— А какие мои сборы? Добро не укладывать, сундуков не запирать. Что мое, все на мне. Эй, Ульяна, слышь ты, я на деревню ухожу. Завтра на участок не пойду с тобой.

Шли быстро. Анисья на ходу плакала, слезы вытирала, вздыхала горестно и по хозяйству своему деловито распоряжения Вирке давала. За два дома от своей избы Анисья свернула в чужой двор.

— Я сейчас у Павла еще спрошу... А ты иди в мою избу. Ребятишки-то одни. Не знай, спят, не знай, кричат! Австрийца-то ныне я со своего двора прогнала.

Вирка проводила ее взглядом и вспомнила. Так тот солдат Павел Суслов и есть! Мало и давно видала его, вот сразу и не припомнила. Царскую службу отбывал, а тут война. Четыре года службы да войны уж три без малого. Ну да, он же и есть! Баба у него летом померла. Ребятишки одни, слыхала, в избе отца дожидались. Вон что! Здешний и с бедного двора, а несет себя как высоко! С неожиданной злостью подумала:

«А от войны, видать, все одно в спокое хоронился. Уж не знай, где это он раненный был. Шибко вальяжный».

9

Неделя к концу доходила, Анисья из города все не возвращалась. Виринея и во дворе и в избе одна убиралась. К вечеру сильно уставала. Тяжелели ноги, и ныла спина. Но засыпала с горькой усладой: хоть чужим детям матерью эти дни была, хоть в чужом хозяйстве привычный крестьянский труд, как в своем углу, одна, без хозяйки, справляла. Первые ночи, правда, парни около двора безобразничали. Непристойными словами Вирку на улицу выкликали. Одно окно кузнец камнем разбил. Но на вторую ночь Павел Суслов вступился. Не за Вирку, а за Анисью.

— Мужик на войне маялся, теперь от ранения помирает, а вы его хозяйство разоряете! Я вас на сход вызову, старики в волости вас проучат! Чего? Меня послушают! Ты, рыжий, тут песни орал да с девками занимался, а мы с Силантием каждый день встречали: не последний ли? Не сметь у двора его похабничать! Надо вам эту бабу — ловите на улице, а тут не разводите безобразий. Других солдат подговорю, и без стариков проучим вас за Силантия.

Парни, крепко отругиваясь, от избы ушли. Больше по ночам не тревожили. А кузнеца Вирка сама отвадила. Он ночью у избы Анисьиной пошумел, а наутро она в кузницу к нему пришла. При людях не постыдилась, голосом твердым и громким сказала:

— Я, Нефед, по деревенским слухам, гулящая. Если верит этим слухам хороший человек, пущай он меня срамит всяким словом, где ни попадусь. Хорошему я всякую обиду спущу, перетерплю, еще и поклонюсь да отойду. Только мало, видать, хороших-то! Все больше пакостники, блудники да злыдни. Так нечего и от меня требовать хорошего. И ты меня не замай! Смерти не побоюсь, а тебя отважу. Отвяжись лучше добром! С топором сплю, и топор рука подымет, вот тебе слово мое! Я бесстрашная. Пущай все вот тут будут свидетелями. Как пообещалась, так и сделаю.

Глаза у нее стали ярко-золотыми, жаркими, а лицо и губы побелели. Кузнец было радостно ухмыльнулся, как ее увидел, а теперь попятился. Сроду слуху не бывало, чтобы баба такие слова при людях мужику без опаски говорила, чтобы стращала так мужика. В большом и сильном теле Нефеда пряталась робкая душа. Куражился он только над слабыми, а от грозного отпора быстро слабел. Он ответил сумрачно:

— А на кой ты мне нужна... Сама притащилась ко мне среди бела дня. Убирайся, покуда цела!

— Я уберусь, только слово мое помни.

— Уходи, тебе говорят! Лезет сама... Ну-ну, проваливай!

Вирка тряхнула головой и ушла. Мужики загалдели:

— Воротить ее, стерву!

— Избить хорошень, чтоб не грозила. Па-аскудница!

— По старому обычаю как с такими раньше поступали: избить до остатнего дыханья, заголить подол да на кладбище привязать к кресту. Пускай сдохнет в страмоте.

— Ну, и выродили себе отродье кержаки со старой-то молитвой!

— Эдакой ведьмы по всей волости днем с огнем ищи, больше не найдешь.

— Догнать да немедля проучить. Гляди, какой голос на мужика баба подняла!

Но Виркино бесстрашие невольно смиряло, обезоруживало мужиков смешанным чувством боязни и восхищенья. Никто догонять ее не пошел. Никто больше в Анисьиной избе ее не тревожил, а на улице ночами Вирка не показывалась. С Павлом встретилась на речке. Из проруби воду несла, а он к той проруби шел. Виринея равнодушно посмотрела на него, посторонилась и мимо прошла. Павел крикнул ей вслед:

— Стой-ко, спросить я тебя хочу!

Вирка остановилась, обернулась неспешно:

— Ну? Чего надо?

— Когда Анисья приедет, ты как? Опять назад в барак?

— В бараке место у меня, видишь, не откуплено. Рассчитали меня с работы. Может, на участке к господам в прислуги наймусь. А может, в город подамся. Запрет с меня снят теперь, и документ есть у меня. А тебе что?

— А ко мне не поохотишься жить прийти?

Вирка посмотрела прямо и пристально в его светлые спокойные глаза.

— Хорошей бабы разве не найдешь? Жениться тебе надо. У тебя дети, хозяйство свое.

— Женюсь еще, если пригляжу подходящую жену. А хозяйство мое невелико: лошадь да корова. У людей кормились без меня, теперь за прокорм заплатил, пригнал. Вот и все хозяйство.

— Дак ты и один с девчонкой управишься. Не такой у тебя достаток, чтоб работницу кормить.

— Без бабы нельзя. Женюсь, тогда и без работницы обойдусь.

— Девчонка у тебя большенька. Поди, уж двенадцатый

год аль поболе? С ней управишься. Эдакая уже вполне схозяйствует.

— К тетке в город отправлю ее. Учить хочу. Два парнишки малолетних со мной останутся.

— Ишь ты, тароватый какой. Денег, видать, много нажил. Девчонку учить! Уж хоть бы мальчишку, а с девчонки какой толк! Учи не учи, все одно замуж пойдет, не сама голова.

— А уж это я решаю по своему разуму. Ты про себя-то говори. Неохота, что ль, ко мне? В прислугах у господ разве хорошо тебе жилось?

Вирка сердито сдвинула брови.

— Не больно зарюсь на нежирный твой кусок. Поди-ко, я баба бывалая. Знаю, что жить в избу к себе не на одну денную работу зовешь. И ночью, чать, ублажать себя заставишь. Ну, а я гуляю, когда захочу. За кусок аль за подарки на это дело меня не укупишь. Не пойду. Ищи другую.

Поправила коромысло на плечах и пошла.

— Погоди!

— Ну, чего еще?

Павел помедлил, поглядел на нее и сказал дружелюбно и просто:

— Зря ты, баба, все назло самой себе делаешь. Где лучше не надо, я, мол, возьму да в самое худое нырну. А я тебе вот что скажу: ты работящая, живи и работай в деревне, на привычном деле. Даром кормить не стану, я не купец, не барин, а за работу накормлю. С детьми ты ласковая, я видал. Ты сразу не отказывайся. Подумай нонче, а завтра скажешь.

Вирка мотнула головой, потом тихо сказала:

— Люди смеяться над тобой будут. Много тут шумели про меня.

— А потому, что сама ты о себе много шумишь. Поживешь тихо, и люди к тебе потише будут. Я вот гляжу и думаю, что и о своих грехах ты больше шумишь, чем грешишь. Разве много трепалась?

— Да ты что меня чисто поп на исповеди? Тьфу! И я-то расслюнявилась... Тьфу! Провались, окаянный...

Быстро крутым подъемом от речки шла. Тяжесть полных ведер не чуяла. Сердце колотилось в груди, и редкие у Вирки слезы устилали глаза. Она не рассердилась на Павла, закричала на него лишь потому, что растерялась. Ни один мужчина за всю ее взрослую жизнь так не говорил с Виркой. Павел заговорил с ней, как брат родной. И ночью Виринея долго думала об их разговоре. Тихо плакала.

Анисья вернулась домой с побледневшим румянцем, непривычно тихая. Лошадь во дворе распрягла, сама покупки в избу внесла. Вирку про хозяйство расспросила. И только тогда села на скамью у стола и подозвала детей. Она стала их обнимать, гладить и голосить с положенным причитаньем:

— А и деточки, сиротинушки, да на кого же спокинул вас родитель ваш, светик ясный, Силантий Пахомович! Ой-ой-ой-ошеньки, не ждала, не гадала, отколь и когда напала на сердечушко темна ночь. Голубь белый, желанный, соколик мой, дорогой супруг Силантий Пахомович! Ходят ноженьки мои, глядят глазыньки, а до тебя не дойдут, не увидят тебя боле, не приспокоятся. Ушел от супруги от своей, ушел от родимых малых детушек, ушел — и не будет назад. Залег в сыру землю-матушку, в чужом, во далеком месте и на погосте не на нашинском. Накрепко залег, принакрылся землей, призаперся крестом, — не встанет, не покричит боле, не приластится. Отходили его резвы ноженьки, отработали рученьки, отглядели ясны глазыньки. Ой, тошно мне, тошнехонько и немило глядеть на божий свет. Закрутите и мене́ в саван смертный белы рученьки, призакройте глаза, положите с им в землю-матушку. Не березынька в поле одиношенька трясется-качается, ветру жалится, а супруга твоя, вдова горькая, оземь бьется бедной своей головушкой, кричит, выкликает тебя, соколика, а твово голоса не дождется, не выпросит. Замолчал навек, успокоился...

Долго голосила. В ярких цветистых словах, в заунывном вое, в обильных слезах растворила скорбь, всю печаль и заботы вдовьей жизни высказала. Бабы в избу набежали. Когда иссякли слезы и слова, Анисья подробно рассказала про смерть Силантьеву, про город, о слухах про войну. Потом тесто для поминок ставить стала, хлопотливо закружилась по избе.

Виринея в хлеву доила корову. Задумалась о смерти Силантия, глубоко вздохнула:

— Каждого ждет час, и никто не знает, когда. Может, завтра вот я...

Вдруг необычайно отчетливо, будто по-новому она услышала мычанье коровы, живую возню свиньи рядом в хлевушке, ощутила запах навоза и снега и свое собственное теплое, живое тело. Черным холодом мелькнула мысль: как же, как же это? Сразу застынут жилы, остановится кровь и уйдет все живое из глаз? Будет мычать корова, будет ворошиться свинья, в свой час согреет всех солнышко, а она, Вирка, будет лежать в земле...

Сильный страх встряхнул дрожью все тело. Виринея бросила подойник и на свет, во двор быстро выбежала. Дышала так жадно, будто, правда, от смерти сейчас высвободилась. И до конца дня ощущала ясно и радостно здоровое тело свое. Ночью думала: «И скот, и люди, и трава — все на земле на смерть родится, ну, те хоть думой не маются. А человек обо всем думает, из-за всего старается, чтоб крепко да надолго. И короток живой час у людей, а мы еще сами себя тревожим, неволим, сердечушко свое травим».

Утром рано Виринея постучала в окно Павловой избы.

10

Павел вошел в избу, как хмельной. На лице улыбка растерянная, и глаза, как пьяные. Вирка удивилась. Месяц доживала бок о бок с ним, ни разу пьяным не видала. И от людей слышала: непьющий.

— Ты что, Павел? Выпил, што ли, у кого?

— Староста из волости вести такие привез, что все непьющие ходят, как пьяные. Царя отменили.

— Отмени-или? А как же? Другой, што ль, какой?

— Вовсе отменили, совсем без царя живем.

Вирка опустилась на скамью.

— Ровно на шутки ты, Павел, не охоч...

— Какие шутки! Пакет староста из волости привез. За учительницей послали, сейчас на сходе вслух всем прочитает. Никакого нет царя! Один отрекся, другой отказался, попросту сказать, — посшибали их всех. Завтра в город поеду, все хорошенько разузнаю.

И вдруг добавил, будто невольно в радости открылся:

— Я-то знал... Ждали мы этого. Там в городе еще были слухи, ну, и здесь с некоторыми потихоньку мы разговаривали. А слушай, Вирка, мужики-то не испугались. Право! Нисколько не испугались, удивились только: как же это царя осилили?

— Да у нас глухо, все одно под кем жить, а по другим деревням, поди, воют и боятся. Ты нашему народу, вот мне хоть, лучше не про царя скажи, а становой как? Останется? Нашинское-то начальство прежнее будет?

— Да нет! Становой-то сбежал, а урядника в подполе сгребли.

— Вре-ешь! Ну, вот это диво! Павел, это как же? Ну-к, где платок-то мой? На сходе-то когда вычитывать станут?

Народу в школу столько набралось, как никогда еще не бывало. Стояли на окнах, в сенях и у школы на улице.

Молоденькая белесая учительница слабым и дрожащим от волнения голосом читала:

— «...признали мы за благо отречься от престола государства Российского...»

В толпу доносились неясно только обрывки слов. Мужики задвигались. Один крикнул:

— Не слыхать! Не разбираем ничего. Мужчине отдай!

И в толпе подхватили:

— Пускай мужчина грамотный какой прочитает!

— Ну, знамо дело! Какой у бабы голос. Только визгать может. А ясно, громко где ей выговорить.

— Да кабы еще деревенская. А у этой «ти-ти»...

— Городской жидкий голосишко!

— Айда, который у нас грамотный?

— Солдатов, солдатов вперед! Где солдаты, — они разберут.

— Да и то впереде. Где им теперь стоять, впереде и стоят.

— Пущай Пашка Суслов! Он шибко грамотный.

— Павел! Павел! Где Суслов-то?

— Ну, от этого услышим, глотка широкая.

Павел, приподняв плечи, со строгим лицом, зычно и отчетливо стал читать запоздавшие в Акгыровку манифесты и газеты. Долго читал. Все время напряженная тишина стояла в классе. Плотной молчаливой стеной больше часу стояли мужики и бабы. В такой тишине в церкви никогда не стояли. Расходились тоже необычно тихо, с приглушенным разговором. Только молодой безбровый солдат с девичьим лицом перебегал от одной кучки людей к другой и захлебывающимся голосом говорил:

— Названье нижний чин отменяется. Теперь почетное званье — солдат! Нижний чин — нельзя! Какой тебе нижний? А хто верхний? Нету больше нижнего! Э-эх, я в Романовку съезжу. Энтот, Ковыршина Алексея Петровича сын, в прапорщики вышел, в офицеры. Вместе на побывку в одном вагоне ехали. Я ему говорю: «Степа, дай закурить». А он мне: «Я тебе не Степа, а офицер теперь, а ты — нижний чин, дисциплины не знаешь!» При всем при вагоне я как скраснел тогда! Нарочно съездию. А ну, скажи, мол, я теперь хто? Нижний чин... на-ко, мол, выкуси! Был нижний чин, да весь кончился!

В эту ночь Павел с Виркой долго не спали. У них была общая постель. Тогда, как пришла жить к нему, спросил он ее, как спать укладываться собирались:

— Ну, как ты? Хозяйствовать только пришла аль совсем, как к своему мужику?

Вирка помедлила ответом. Потом просто и тихо сказала:

— А ничего. Поживем вместе и поспим вместе. Только нехорошо как-то перед Анюткой. Большая уж она.

— Она уж спит.

— Все одно нехорошо. Я вот девчонкой, в первый раз как мать с отцом заприметила, с чего-то совестно и туго так дышать стало. А я совсем чужая, и слух про меня нехороший. Обидно ей за отца будет. Первые-то обиды живучи. Погоди, приобыкнет малость ко мне.

Но на Виркину ласку Анютка не подавалась. Враждебными глазами за ней следила. На вопросы Виркины или совсем не отвечала, или бранью отзывалась. Когда увозил ее в город отец, она повернулась на дровнях и посмотрела на провожавшую их Вирку. Таким недетским, ненавидящим взглядом посмотрела, что у Вирки долго сердце щемило.

Анюткину детскую злобу как самое больное, как кару за грех своей жизни в сердце приняла. Пятилетний Семка и трехлетний Панька скоро привыкли цепляться за ее юбку, как раньше за мать цеплялись. Она их холила на диво другим бабам. Анисья при встречах смеялась:

— Мы и то толкуем, чтобы все вдовцы не женились а гулену неродящую в матери детям наймали. Старательные попадают!

Издевались над Виркой недолго. Словами зря не сорил Павел, но слова знал веские. Оборвал одну, другую бабу — и притихли. У Вирки взгляд стал спокойней. Но как-то точно сблекла она в тихости. Говорила мало и часто подолгу задумывалась. С чего сердце в человеке такое несытое живет? Что ни подай — редкий, редкий раз взрадуется. А то все не то, все недохватка, горчит чем-то радость. Павел спокоен, на работу не ленив. Большой грамотности человек. Оттого, хоть беден, а люди не помыкают им. Побаиваются. И Вирку жалеет. В ту первую ночь, как Анютка уехала, с ним спать Вирка легла. Он так ласково с ней обошелся, что Вирка удивилась. Словами Павел не нежил. Только и сказал тогда с горячим вздохом: «Милка ты моя!» А все же обошелся, как с женой прошеной, моленой, к первому к нему в постель легшей, а не с «гуленой», как в деревне ее ославили. Вирка и обрадовалась и смутилась. Будто чужую обряду надела тайком на себя. Увидят — со стыдом, с поношеньем сдерут. От этого между Павлом и Виркой все будто что-то стоит. Обозлилась раз, бешено закричала:

— Чего ты себя перед всеми, как царь, носишь? Думаешь, больно я уж обрадела, что при себе держишь?

Противна мне харя твоя зазнаистая, повадка вся твоя тихая! Уйду завтра! Глядеть на тебя не хочу!

Их взгляды встретились. Светлые глаза его потемнели. Но не разгорелись жаром, как у Вирки, а будто отвердели, без блеска сделались. И Вирка первая опустила свои, хлопнула дверью, выбежала из избы. Совсем со двора собиралась уйти, но не ушла. А Павел, как обычно, говорил с ней, точно ничего не случилось. И ночью первый раз на плече у мужика Вирка плакала.

— Я и сама не знаю, как мне с тобой жить. Вот когда так, как сейчас, согласна ноги твои мыть да воду эту пить. А когда тошно мне с тобой, скушно, и убежала бы я от тебя, только бы не видеть.

Он отозвался тихо:

— Не мудри да не дури. Живи и живи. Работу справляй, детей моих люби и себя береги. Ну, спать я хочу. Хватит разговаривать!

Так и жили. Будто дружно, а не вплотную. Долгих разговоров не разговаривали.

Но сегодня, лежа рядом, долго проговорили. И Павел — больше, чем Вирка. Про город, про царей нехорошее, что узнал в городе, рассказывал. Про всю жизнь. О мужиках говорил. Вирка слушала его слова, как песню на близком, родном, но все же не на своем языке. Звуком, напевом трогает, а слова не все поймешь. Оттого еще слушать и все слова понять охота. Вскоре Павел уехал в город и целых две недели проездил. Прохарчился в городе. Пришлось продавать овцу, которую только что завели. Вирка сердилась, но ему сказать не посмела. Не жена — на срок взятая хозяйка! Пусть как хочет. Опять друг от друга будто подальше подались.

11

До самой весны по-новому беспокоился народ. Сходы стали «митингами» называть, а мир «товарищами», а то «граждане». Новые слова казались звонкими, будто звякали: инструкции, резолюции, учредительное собрание. Сначала охотно собирались, горячо шумели. Потом уставать мужики стали. Выборы да съезды, а земля к посеву готовиться велит. Мало-помалу отставать от сходов начали. Да на деле, кроме выборов на всякие должности, ничего не переменилось. Товары в лавке на участке еще вздорожали. В продаже еще меньше стало нужного для мужика. Гвоздей во всей округе не достать, и соль вздорожала. Земля, как было, в одних руках густо, в других маловато,

а то и совсем пусто, так и осталось, а от шума на сходах голова трещит. Старик Федот, постукивая батожком, сказал на одном сходе:

— Чего мы каждый праздник, чисто обедню, сходы собираем? И в будни почасту гомозимся на собранья на эти. Телеги ладить надо. Земля-то уж повылезала из-под снегу. У правильного мужика об земле на сердце-то зудит, а мы то, да се, да епутатов выбираем. Солдатье в деревню навалило, а про мир не слыхать. Кабы опять не угнали перед самой перед пахотой. Айда, слухайте, старики, мой совет: понавыбирали мы тут всяких комитетов. Пущай этот, за старосту-то прежнего, Пашка Суслов один за все отписывает и насчет солдат старается, чтобы опять не забрали.

И взвалили все на Павла. Целыми днями в школе был. Господ из города еще больше наезжать стало, но сходы собирались жидкие. Только солдаты к разъяснителям из города, которых теперь называли «ораторами», приходили дружно: требовали мира. Ораторы их пугались и уезжали. Беженцы из бараков и беднота из Нижней Акгыровки без схода и без уговора каждый праздничный день собирались у кузницы. Галдели долго, бестолково и глухо о земле, о «самосильных» жителях с большим хозяйством, о том, что в других местах хоть у помещиков землю бедняки отобрали, а тут никаких перемен. Земского начальника хутор — и тот трогать не велят: охрану прислали. На Павла Суслова косо глядеть стали, хоть вровень с ними достаток у него. А побогаче люди, кержаки, с почетом, с зазывом к нему заходить стали. Он похудел, потемнел, домой возвращался злым. С Виркой сквозь зубы разговаривал и к ребятам неласков стал. В одно воскресенье очень рано поднялся, собрал мальчишек и велел на сход скликать:

— Не отставайте до тех пор, пока не пойдут. Павел, мол, зовет: очень нужное дело.

И, когда собралось хоть не полно, а порядочно народу, громким и решительным голосом объявил:

— Вот вам, мир честной, товарищи граждане, все бумаги, разъяснения, положения всякие! Вот и сельский писарь нашинский с ними, который до революции был и теперь при мне состоял, остается при деле. А меня увольте. Нет моего хотенья на это дело.

И сколько ни галдели, ни просили — твердо на своем настоял:

— У нас с солдатами другие мысли.

Старый кержак крякнул и громко спросил:

— С ружьем землю отбивать будете?

— А это уж там увидим, только всем вам я не коновод. Поближе которые мне, к тем подамся.

Кержак зло отозвался:

— Какая ни есть суматоха, а за порядком следят. У кузни, гляди, не нагалдите себе чего на шею. Слыхал я: от войны согласники твои здесь хоронятся. Знаю, многим отпуск кончился, а которы и совсем без отпуску.

Солдаты загалдели:

— А ты над нами доглядчиком?

— Сам, старый хрыч, подайся на войну, коль охота больно!

— Мы проливали кровь! Хватит с нас!

— Коль навредишь — гляди, мы тоже острастку найдем!

Долго шумели, потом все солдаты сразу ушли. На место Павла Суслова кержаки своего поставили.

Павел со светлым лицом домой вернулся. Ласково хлопнул Вирку по спине:

— Разделался с одним мирским делом — за другое примусь.

Виринея засмеялась:

— Не терпит печенка! Шуметь охота. Я своим глупым разумом и то думаю, какая это свобода? И войну не кончают, и земли не дают, и богатеи пузом нашего брата все зашибают. Уж трясти дак до корню трясти. Я радельника-то своего, дядю Антипа, встрела, дак не удержала слово: готовься, мол, дядя. Добро забирать к тебе придем. Равнять дак равнять.

— Ну? Он чего?

— Выругался нехорошо, и глазами — как волк. А тронуть не посмел. Тут я гляжу, хоть больно перемены жизни у нас не видать, а все — не то время. Раньше бы сгреб, так, гляди, и душу вытряхнул бы. А теперь — чуть не бегом от меня подался.

Оба засмеялись. Павел ласково, по-новому как-то, заглянул Вирке в глаза:

— А ты мне, пожалуй что, не только по хозяйству, а в других делах хорошей помощницей будешь.

Все чаще наезжали из города учителя, агрономы и даже ученые барыни рассказывать про учредительное собрание и про всякие политические партии. Книжечки, листики раздавали: каждый старался привлечь народ в свою партию. Мужики с теми листками и книжечками заходили к Павлу:

— Ни хрена не поймешь! Ну-к, гляди, как тут насчет земли сказано...

Павел с помощниками своими из солдат горячо за дело

взялся. Он всюду поспевал и без устали объяснял, призывал, предупреждал:

— Не поддавайтесь на обман, товарищи! Требуйте мира, требуйте землю. Стойте за нашу трудовую правду: раз свергли царя, то и царскую войну долой! И опять же — раз народ революцию делал, то и землю народу надо дать сейчас же, без канители. Вот за что, товарищи, борется партия большевиков. Я к этой партии еще на войне примкнул. Правда этой партии нам в окопах стала яснее ясного. Когда мы узнали, чего добивается эта партия, — всю крестьянскую трудовую жизнь словно солнцем осветило, и мы свой путь увидали: по дороге нам только с партией большевиков. Только эта дорога вперед ведет. Остальные партии около прежнего все кружатся, вьются, а в конце концов сворачивают на старый режим. Не пойдем назад, товарищи!

Слова Павла были понятны, доходчивы. В партию большевиков записались почти все солдаты, даже и не из бедных дворов. С постройки народ — гуртом, дружно. В Акгыровке мужики между собой не поладили: некоторые за Павлом пошли, иные у школьной учительницы записались в эсеры, а кержаки с верхней части вдруг с православным попом поладили, записывались у него в кадетскую партию. Но эта партия оказалась самая малочисленная. Жаркие споры между народом пошли. До большой драки даже дело дошло один раз. Эсеры с большевиками у кузницы подрались. С уханьем, с тяжелой кулачной надсадкой бились. Троих в лежку уложили. Но отдышались, ни один не помер. А раззадорила их на драку Виринея. Отход от Павла мужиков, которые раньше крутились около него, она приняла как личную обиду Павлу. Вгорячах прибежала в школу, когда там кое-кто из них был. И с большой страстью, сильным голосом стыдить начала:

— Куда лезете? Воевать вам не надоело? Солдаты чуть отдохнули, а сколь накалечено. Вояку-то главного, Николашку, сдвинули куда следует, а вы дуром в тот же хомут, только с другой шлеей. Э-эх, мало вас нужда, видать, забирала! За землю держитесь? А кто на земле хозяевать будет, коль война не скоро кончится? Кто войну кончать хочет? Большевики, только они одни и стараются. А вы... «до победного конца!» Гляди, дадут вам конец. Обалдели, сами на смерть лезете.

За больное место она их зацепила, но оттого еще больше разгневались. К ученым бабам, разъясняющим мужикам про общественные дела, привыкать уж стали. Но чтоб своя деревенская их учить пришла... Ну нет:

— Ах ты, стерва... Чего еще разбирать-то можешь?

— У большевиков все общее. Бабы, сказывают, общие будут, дак вот она и охотится по прежней закваске!

— Чего с ней долго растабаривать. Сгребай, поучи!

Трое наскочили бить Виринею. В ярости с необыкновенной силой отбилась от троих мужиков. Царапалась, даже кусалась, с подбитым глазом, с ноющими боками, но живая и некалеченная из их рук вырвалась. А мужики, раззадорившись, и к кузнице пошли. Там и произошла жаркая схватка.

Павел сначала рассердился на Виринею, ругал ее, а потом смеяться начал:

— Вот так оратор! Сильно ладошами хлопали... только все по ораторовой по морде. Все-ем собра-анием.

— Замолчи! А то я, хоть и подбитая, а и на тебя кинусь! Что ж, что баба, у меня тоже дума в голове теперь не только об домашности. И сердце кипит. Дураки-то какие. За войну, а? Все еще за войну!

Долго в деревне Вирку бабы дразнили, как она мужиков учить ходила. Анисья даже плюнула с сердцем при встрече:

— Думала я все-таки, што толк в тебе есть, не вовсе дурная. А теперь вижу: порченая. Совсем порченая. Не то, дак это, а никак не живет в лад с правильными людьми!

Виринея засмеялась:

— Что били меня, это, правда, зазорно! Вспомню, краска в лицо кидается. А все одно: за что били, то еще попомните. За правду били, за жалость к нашему мужичьему положению. У меня сердце распальчивое, но тут я не шибко долго гневалась. Не от ума били, а от темности от нашей. Вот погоди, венчаться на красной горке думаешь, мужика к себе в дом берешь. А не осилят большевики, опять и другого на войну сдашь.

— Не каркай, ведьма! Не стращай! Солдаты все приходят домой. Один за одним разбегутся, и без твоих горлопанов дело сделается. А то поровну хочут! От одних отца с матерью ровны-то не родятся. А которы получше живут, те поболе работали. Тьфу! Заплевать бы тебе все глаза твои бесстыжие. Смеется, пялится... И куды лезет? И мужики-то, которы поумней, ни про какие партии слушать не хочут. Только пустельга озорная этим занимается. А тут баба влезла. Нате вам! Тьфу! Тьфу!..

На ходу все плевала в Виркину сторону. Что Вирка ведьма, теперь Анисья сама уверилась.

Вскоре после этой ссоры Анисьи с Виркой новую поли-

цию из города прислали: солдат в волость сгонять, чтоб назад в армию отправить.

Мужики солдат отбили, полиция ни с чем еле-еле тайком ночью обратно выбралась. А все же волненье пошло. «Наколдовала, проклятая!» — думала про Вирку Анисья.

Пришел час, земля к себе мужиков затребовала. Сгасли в Акгыровке споры и разговоры. В жильном мужичьем труде про всякие перемены забыли. И малоземельные и батраки на чужом поле по-старому всей силой в землю ушли. Брошенным без засева остался только малый надел Павла Суслова. На крестьянский съезд в уездный город его от волости послали. И до самой осенней уборки жизнь в Акгыровке старым порядком шла. А осенью взволновалась деревня снова. Про выборы в учредительное собрание заговорили. Павел надолго в волостное село перебрался. Свое хозяйство он совсем забросил: даже лошадь продал. Последний запас хлеба доедать стали. Вирка по людям работать опять ходила, — ребят надо было кормить. За глаза ругали ее, но на работу брали. «Коль хорошо для хозяйства старается, и сатану наймешь в жаркую пору», — говорили наниматели. Павел опять в выборные попал: его назначили в окружную комиссию принимать листки.

Поржавели листья у деревьев, стала стынуть земля. Солнце ласково светило, давало тепло, но уже чуялось, что оно не то, как летом. Смирное, без жаркости, и в воздухе печаль. После жатвы, в осенней стрижке своей, печальными стали поля. Павел из волости в Акгыровку приехал, листки с номерами привез. Много номеров — всех и не упомнишь. В назначенный день нужно листки везти в волость, в ящик опускать. Сначала шумели мужики, что не будут они отвозить, канителиться. Но опять беспокойство всех взяло: война все не кончалась, из-за земли спор с башкирами пошел. Акгыровка на арендованной у башкир земле. Оттого и под названьем нерусским, под башкирской шапкой ходила деревня. Аренда кончалась. Башкиры грозили землю отобрать, меж собой поделить. Жатву с горем и с боем снимали. И про войну и про землю, думали, решит учредительное собрание. Оттого, как близко время ко дню выборов подошло, затревожились. Стали списки разбирать, какой к чему. Один только листок можно опустить — выбирать надо. Бабы к Вирке забегали, чтоб разъяснила, какой листок опускать.

— Уж скажи, касатка! Как ни то помоги! Сперва было ровно совестно. Куды бабам лезть? А теперь мужики сами заставляют, а што к чему — не рассказывают.

— Вирка, какой из этих листков на конец войны? Ну-ка, расскажи!

— Слышь-ка, мужик велел мне первый опускать. Мы, мол, с хорошим достатком, наш номер первый. А я к тебе тайком: сын у меня еще не вернулся с войны. Ты мне скажи, какой большаковский-то. Я его тишком в ящик суну.

— Пятый, тетка, опускай, пятый! Против вашего брата он, а все равно его опускай — на конец войны только он.

— А пускай против, там разберемся. Сынок-от бы хоть вернулся. У отцов сердце твердое, а мать как замается, так ни то что листка, ножа вострого не побоится. Пущай, что хочут, делают, только бы сынок живой воротился.

Бабы горевали, что цифры разбирать не умели:

— Какой он тут пятый, разве упомнишь с непривычки. Другие-то изорвать бы, мужик ругается. Он за третий. Ну-к, Вирка, капни маслицем, который пятый. Я его и положу.

— Павел сказывал, меченые станут выкидывать.

— А небось, не выкидают. Много ль грамотных? Все пометят. А ты легонько, чтобы только мне видать. Вот игде-нибудь в уголочку.

И Вирка капала. Помечала малой отметиной.

Ясный, ведреный, весь прозолоченный день выдался, когда подводы из Акгыровки в волость двинулись. Длинной цепью по дороге телеги. В них мужики и бабы в праздничных полушалках. Детные с грудными на руках.

Волость, деревянный дом с высоким крылечком на выезде села, почти в поле, окружен подводами. Как табор цыганский, шумливый и пестрый. Крыльцо серело солдатскими шинелями.

В большой горнице, где на стенах висели пустые рамы от портретов царя и царицы, большая пыльная икона и новые приказы, стоял длинный стол. Сбоку около него деревянный крашеный, из города присланный ящик. За столом с деревянными от напряженья и важными лицами сидела комиссия. Посредине председатель, учитель волостного села. У него был тик, и прыгала левая бровь. Но разговаривал он внушительно. Все время делал указания, как подходить, как опускать. Лишние расспросы обрывал.

Павел, красный и потный, но с уверенным и спокойным взглядом, у самого ящика сидел. На улице и на крыльце стоял шум от разговоров, восклицаний и смеха. А в горнице, где находился ящик, было тихо. Мужики подходили к урне поспешным шагом, супили брови, опускали листок в молчанье. Бабы со сконфуженной усмешкой, иные с ти-

хим присловьем. Сначала молились в угол на икону, потом уж оглядывали ящик и дрогнувшей рукой долго толкали листок в отверстие. Почти каждая спрашивала:

— Куды класть-то? В этот в самый? А как класть?

Разбитная, смешливая солдатка опустила листок и, сверкнув смеющимися глазами, сказала:

— Баба — и та в счет пошла. А ну, бабы, не подгадь, клади за пятый!

Учитель сердито крикнул:

— Агитация у ящика запрещена. Опустила и уходи!

— Чегой-то! Ты больно-то не ори, отошло ваше время орать! Пятый самый правильный.

Крепкотелую, но слепую старуху ввели под руку две молодые бабы. Она, шаря кругом невидящими, неподвижными, тускло-синими глазами, спросила:

— Где икона-то? Чтой-то сбилась я в углах с перепугу...

Перекрестилась истово и громко, торжественно сказала:

— Помоги, господи, не в зло, а в добро! Допусти постараться в дело.

Поклонилась поясным поклоном и позвала:

— Ну-к, Марька, веди, где тут ящик-то? Куды совать, направь руку-то мою.

Председатель завозился на стуле и крикнул:

— Нельзя, нельзя! По закону лишена права голосовать. Слепые не допускаются...

Старуха властно оборвала:

— А ты что за человек и какой такой закон? Бог обидел, и люди обидеть хочут? Я листок за десять верст пешком несла... И я сыновей для войны родила, и я над землей тужилась, а мне нельзя? Кажи, Марька, куды опускать. Не может он не допускать меня!

— Но я не имею права! — настаивал председатель. — В законе ясно сказано...

И в горнице и в дверях, даже за открытым окном на улице начался шум.

— Пусть опускает! Для бедного народу будто бы стараетесь, а она из бедных бедная.

— Правда, пешком шла! Лошади не достали нигде, а на чужую подводу некуда.

— Сами всеми семьями приехали. А она, чать, не виновата, что ослепла.

— Опускай, баушка, не слушай! Теперь слабода, а они все с издевкой.

— Опускай, опускай! Покажи ей щелку-то! Эй, востроносая, покажи, говорю.

— Энтот там расселся посередке-то! И вытряхнуть

недолго, коль бедным запрет делает. Опускай, баушка! Всякому закону по делу да по нужде должно быть послабленье. Не старые времена. Теперь для человека легкости хотят, а не обиды.

Председатель развел руками, еще сильней задергал бровью и смирился:

— Ну, опускай, только чтоб мне в ответе не быть.

Старуха опустила листок и опять помолилась:

— Господи, помоги!

Бабы увели ее.

В горницу ворвался косоглазый мальчишка в черном бешмете, в порыжевшей тюбетейке на бритой голове и с длинным кнутом в руках. Прямо к столу кинулся.

— Чего тебе, малайка? Куда лезешь?

— Башкирский листка номер второй, айда, давай. Ваша ни пада, наши ни хватаит. Ваша вота.

Вынул из-за пазухи кипку смятых листков и бросил на стол.

— Айда, давай, пыжалыста, скарей, наша волость ждут. Вирхом скакал, шибко лошадь гнал!

Председатель выругался и замахал руками. Писарь быстро встал, достал со шкафа пачку листков и сунул башкиренку.

— Дуй!

Тот блеснул косыми глазами, взял листки и убежал из горницы. Учитель вздохнул, потер лоб и покачал головой.

Народ подходил. На улице шум становился все сильней. Солдаты смотрели в окна с улицы и громко определяли:

— Этот красноражий — номер первый. Эй, Павел, садани его от ящика!

Злой мужичий голос с улицы крикнул:

— А за пятый — самая прохвостня! Конокрад битый ваш пятый номер понес, я видел.

— Прошу без агитации. Где милиционер?

Солдат, стоявший у ящика, громко и наставительно объявил:

— Когда мы на фронте выбирали, так у нас так было поставлено...

Председатель завопил:

— Послушайте, товарищ, уходите от ящика! Вы не имеете права второй раз голосовать. Чертова окраина! Выбираем не в один день с другими, а с запозданьем, вот и... Я вам говорю, вы не имеете права! Я сообщу, все выборы пропадут. Опротестуют.

— А тебя кто тянет сообщать?

— Да ведь я же обязан!

— А ты для нашего брата старайся, а не против нас! Мы кровь проливали, да не смей в своей волости!

И потянулся к ящику. Но Суслов удержал его за рукав.

— Не скандаль, нельзя. Еще, правда, всем навредишь.

— Так и ты против солдат?

— Говорю, не скандаль! Уходи!

Тот плюнул, но Павла послушался, скомкал листок и бросил его на пол.

У стола новая заминка. Кривоногий встрепанный мужичонка совал председателю штук шесть листков.

— Который тут третий? А? Я заспешил да спутал. Ровно отдельно клал, а, на поди, сбился. Ну-к, покажи!

— Да понимаете вы, что тайное голосование, тайное! Нельзя показывать!

— А, какие тут тайности! Все знают. Я сперва-то за пятый хотел, да на третий меня сбили. А какой лучше-то?

Председатель безнадежно схватился обеими руками за голову.

— Совершенно невозможно! Разъясняли, все деревни изъездили. Ну, что теперь делать?

Суслов засмеялся, взял мужичонку за плечи и вывел его из горницы. Дальше гладко дело пошло.

Но вдруг опять зычный голос на улице, покрывая шум, гаркнул:

— Макрушкин со своего хутору целу подводу с первым номером привез. На тройке приехали. Не пущай его!

Но толпа привычно расступилась перед богатым хуторянином Макрушкиным. Он, сверля встречных черными острыми глазками, сладким теноровым голоском отшучивался:

— А кто видал, что первый? Я второй привез. За башкир, они — народ покладливый, они мне больше русских по душе. От них, можно сказать, я жить начал. Я за башкир. Второй, второй номер.

Угрюмый длинный солдат зло оборвал его:

— Знаем! От них награбастал землю-то под хутор, обжулил. У тебя чудо сотворилось: мертвые под приговором в продаже подписались.

И кривоногий мужичонка поддержал:

— Погоди, дай срок, все на чистоту выведем, а землю-то для трудящего подай. У тебя отберем... Пятнадцать работников, на-ко!

Но Макрушкин, не смущаясь, пробирался вперед. За Макрушкиным длинным хвостом двигались приехавшие с ним его приятели и прихлебатели. Ответил опять шутливо:

— А я к башкирам подамся, в их веру. Теперь свобода вероисповеданья... А они еще землицы мне удружат. На наш век простачков еще хватит. К башкирам, к башкирам я...

Два дня тянулись выборы. Во всей округе разгорелись страсти. В день подсчета солдаты тесным кругом сдавили стол с комиссией. Щупали листки глазами, орали, ругались. Но подсчет все-таки удалось закончить. Ящик провожали конные добровольцы разного настроения. Все опасались, чтоб подвоха не вышло.

В конце зимы утвердилась советская власть во всей стране. И в волости главой поставил народ большевика — Павла Суслова. Вирка говорила ему:

— Не сносить тебе головы! Нет, чую, не сносить.

— Что ж, на печку забиться да закрыться юбкой твоей?

— Я бы тогда сама тебе в пирог мышьяк запекла. Коли взялся — выстаивай. Уж такое дело твое. Только когда сердцем я скучлива, дак опасаюсь за тебя.

— А ты не опасайся. Детей моих береги. Теперь, видно, и стариться вместе станем. Привык к тебе. Ни к первой жене, ни к одной бабе так не привыкал. Жена теперь ты моя до старости, а там и до смерти. Одно только, родить тебе надо. Почему не тяжелеешь?

У Вирки сгасли глаза. Опустила голову, как виноватая. С тяжелым вздохом сказала:

— Неплодная, видно, я. Ваську винила, а, знать, сама неплодная.

И долго сидела молча с поникшей головой.

Тревога в уезде все ширилась. Казаки в сторону от большевиков линию гнули. Соседей башкир под свою руку сбили, обещаний им всяких надавали. Зимой разгорелась настоящая война. В сорока верстах от Акгыровки начались бои.

Павел Суслов с фронта однажды сумрачный приехал на побывку домой. Всю ночь с Виринеей тихо и долго говорили. Встала с постели с пожелтевшим лицом, но с твердо сжатым ртом. Морщинка у губ обозначилась и не пропала даже тогда, когда объявила Павлу тихонько и боязливо:

— Слышь, я затяжелела. Боялась верить, а выходит — правда.

Он посмотрел в ее большие тревожные глаза, в молящее лицо и радостно улыбнулся:

— Рожай! Отобьемся от казаков, на сынка порадоваться приеду.

Павел уже выезжать собрался, как во двор вошел совсем седой, но все еще дюжий Магара. Вирка вскрикнула и побелела. Не пугливая была, но неожиданное появление Магары напомнило ей о прошлом. И сразу дурное предчувствие ударило. А Магара прямо к Павлу:

— Айда, забирай меня с собой. В силах я еще, постоять за правду хочу. Где вашинско-то войско?

Про Магару Павел слыхал и знал его. Усмехнулся:

—А тебе что в нашем войске, божий старатель, делать? Уж ты лучше зятя с добром, тобой нажитым, застаивай. Откуда ты?

— Из тюрьмы. Теперь вот выпустили.

Вирка дрогнувшим голосом спросила:

— За этого... за инженера отсиживал?

Магара даже не оглянулся на нее. От Павла воспаленных глаз не отрывал, но ответил Виринее:

— За богохульство и кощунство сцапали. Еще до перевороту. В церкви на икону плюнул и изругался. Святой там один нарисован, схожий с энтим, кто меня спервоначалу на молитву-то попутал.

И добавил глухо:

— Не верую, не могу и никогда боле не смогу божьим старателем быть. Другую правду теперь ищу. За бедный народ стоять пойду, за мужичий весь род. Растревожили мужика, а ходу ему нет. Богатый в торговцы лезет, а трудящему нет земли, чтоб в правильности. С вами постараться хочу.

Павел вздохнул, задумчиво оглядел Магару:

— Ну что ж, айда! Не знаю, долго ли у нас продержишься, а пока, видимо, хорошо сражаться будешь. Сейчас я тебе лошадь раздобуду.

И уехали они вместе.

Убили Магару скоро: дуром, с гиком один на казачий разъезд кинулся. Но и Магара сумел в этой неравной схватке троих уложить.

Как приезжал Павел в последний раз к Вирке на короткий час, то рассказал про это. Вирка вздохнула:

— Знаешь, Павел, а много народу у нас в деревне на новое поворачивает. Сидели, сидели сидняком-то, а теперь поняли: нельзя больше жить по-старому. Нельзя!

Павел поднялся и стал собираться. Приласкал детей. Вирка припала к нему и замерла. Он крепко поцеловал ее и бережно отстранил. Но у порога задержался. Не поворачивая головы, стоя спиной к ней, сказал:

— Береги себя, очень я к тебе привык. Дитя родишь,

жалей, обихаживай. Я об нем часто думаю. Жалко, не дождался, не поглядел.

Потом повернул голову, усмехнулся невесело и нежно.

— Дело наше тоже справляй. Через тебя о нас вести давать буду... Ну, ладно! Давай еще поцелуемся. Прощай.

Уехал. Виринея глядела ему вслед. И вдруг будто ярким светом осветилась перед ней вся ее жизнь с Павлом. В короткий миг вся перед глазами прошла, подлинно такая, какой она у них была и какой она еще ее не видела. Считала его желанным, любила его. Но ни разу с таким, захлебнувшимся болью и восторгом сердцем, как сейчас, когда смотрела ему вслед, не обняла его. А вот теперь, когда он не слышит и ей не догнать его и, может быть, свидеться им больше не дано,— она ощутила, как дорог ей. Как один только может быть дорог одной.

— Павел... Пашенька...

Целый день как в чаду ходила. Терзалась: слов своих, вот тех, что сейчас сердце жгут, не высказала ему. Воротить бы его! Хоть бы на недолгий час... Сказать бы только ему!..

12

Всю свою жаркую страсть и тоску по Павлу Виринея в заботы и хлопоты по его делу вложила. Акгыровка стояла в стороне. Казаки расправу чинить в ней еще не появлялись. Но властно наложили руку на всех Павловых пособников кержаки с горы, Кожемятов и еще пятеро богатеев. Ездили с возами в казачий лагерь, оттуда привозили приказы. Десять мужиков из акгырской бедноты и восьмерых из бараков отвезли в город, в тюрьму. С десяток в волости выпороли нещадно. Вирку тоже в волость таскали на допрос. Отвечала она сдержанно и покорно, чтоб Павла не подвести. Только глаза прятала.

— Ничего не знаю. Не венчанная ведь жена — так, полюбовница. Взял и уехал. Теперь, может, с другой тешится. Где он, я не знаю, нету слуху. Я вот тяжелая, да еще двоих на меня кинул. Кабы знала, где он, не смолчала бы, выдала. Все одно он со мной жить не будет.

Вновь поставленный председатель волостной управы кулаком по столу стукнул:

— Врешь, потаскуха! Как провожала его, видали люди.

— Провожала, просила не бросать одну с детьми, без всякого запаса. А куда уехал, не сказал.

Три дня в холодной при волости отсидела. Потом опять выпытывали уж не про Павла, а про тех, кто к большеви-

кам сейчас льнет. Вирка упорно отзывалась незнаньем, только все на обиду от Павла жаловалась, что бросил ее с детьми. Помаяли и отпустили. Тяжелевший с каждой неделей Виркин живот не мешал ей далеко и быстро ходить, тайком видеться с товарищами Павла. И работала она много, чтобы дети не голодали. А тут еще Павел два наказа выполнить велел втайне. Один: за десять верст в деревню письмо верному человеку отнести. Другой: одного большевика целую неделю прятать. Когда первый наказ передали ей, она вздохнула. Потом сказала худощавому старику в беженской одежде:

— Сама пойду. Кого пошлешь? Сноровку надо, а главное, чтоб без страху.

И ходила сама за десять верст, будто бы в больницу: в том селе как раз больница была. Обратно чуть ноги дотащила по неровной снежной дороге, но концы чисто схоронила.

Другое было трудней, а все-таки уберегла в своем подполье присланного Павлом мужика. Даже любопытные и хитрые соседки ничего не унюхали. И чем больше старалась, тем дороже становилась ей ее вторая, тайная жизнь. Теперь с подлинной верой говорила своим при встрече:

— Коль уж доведется пропадать, мы и пропадем, а тем помогать надо. Совсем задавили маломощных.

Видеться стало трудно. В деревне каждый вздох слышен и каждая новая щепка на дворе заметна.

Но вот пришел слух, что Павлов отряд к Акгыровке подвигается. Павел на словах с парнишкой безусым, но строгоглазым передал:

«Хорошо, если бы вы с затылка их нажгли: восстание бы наладили.»

Вирка с этой вестью пошла в бараки. Постройку давно забросили, но беженцы и бездомовые, работавшие раньше на дороге, в бараках жить остались. Шла быстро, но чутко ушами и глазами за дорогой следила. Дошла, никого не встретив. В большом бараке жило трое одиноких мужиков и четверо семейных. И все были одного, большевистского толка, оттого Вирка без опаски вошла. Но разговор начала не сразу.

— Здравствуйте-ка! Тетка Дарья дома, что ль?

Дарья от печки отозвалась:

— Здесь, дома. Ты чего, Вирка?

— Да вот к тебе, пощупай-ко ты меня... В повивалках ходишь, знаешь. Что-то больно одышка замаяла. Скоро ль разрожусь?

Дарья усмехнулась.

— И щупать нечего. Так видать — не боле недели носить. Да ты говори дело-то. Тут никого чужих нет. Сейчас мужиков со двора позову.

Когда собрались, Вирка дрогнувшим голосом сказала:

— Ну, мужики, зачинать драку надо.

И, откашлявшись, уж спокойным и ровным голосом рассказала то, что Павел ей передал.

Мужики не сразу отозвались. Долго, раздумчиво молчали. Первым белесый и худощавый Васька Дергунцов заговорил:

— Нет, товарищи, нам это дело не сделать. Напуган сейчас народ, не подобьешь. Мается, а молчит.

И другой, с седоватыми коротко и неровно стрижеными волосами, подтвердил:

— И думать нечего. Как блох, переловят!

И третий сказал:

— Подождать надо. Может, как совсем близко наши к деревне уж подойдут, тогда. А сейчас никак нельзя.

Вирка поднялась. Глядя хмуро, исподлобья, спросила:

— Это и весь сказ?

— А чего же?

— Больше никак нельзя.

— Дело не выйдет.

— У наших там войско. Пусть уж стараются как-нибудь к нам пробраться, тогда поможем. А сейчас ничего не выйдет.

— Ах вы, собаки! Мне ли, бабе, учить вас али корить? А вот приходится. Словами только блудили, а как до дела час дошел, испугались? Нельзя так, мужики! Нельзя, братцы вы мои, товарищи! Кто говорил: стоять до последнего? До чего жидка в страхе душа у человека! Не хотите, не надо! Еще людей наберу, найду. Мне не поверят, жизни своей поверят, что нельзя боле ждать.

Глаза у ней жгли и молили, а говорила спокойно, твердо:

— Придет час, вернутся наши. Тогда опять к ним лицом, а не задом повернетесь? Ну дак ладно, я одна, баба, вот в тягости, одна пойду дело заводить. Охота дале в голоде да в побоях жить — живите. Вот этот хилой раньше говорил: сердце чешется против кержацкого насильничанья! А теперь казаков ждать будет. А казаки вас не помилуют, хоть вы им ноги все излижите. Давно косо глядят, чуют, какая дума-то у вас. Наши подходить станут, казаки все одно с вами расправятся. Ну, ладно, нечего мне с вами, видно, и разговаривать.

Пошла было к двери. Но мужики заговорили все трое сразу. Ругали Вирку, спорили меж собой, а все же решили сделать, как Павел указывал.

Вирка уходила со светлым лицом. Будто на большую радость спешила, а не на трудное дело. Седоватый стриженый мужик сказал ей со смехом:

— Ты, баба, выходит, у нас и за командира и за попа полкового! Ишь ты, сколь начесала! Целу проповедь высказала.

А «командир» чуть домой дошел, по дороге у Виринеи родовые схватки начались. Но все-таки сама за бабкой Козлихой зашла.

— Скорей! Рожать, видно, я наладилась.

В избе у себя Вирка долго не хотела лечь. Ходила по избе, крепко стискивала зубы.

Козлиха прикрикнула на нее:

— Чего ты молчком? Кричи, кричи, легче будет! Первый раз эдакую каменную бабу вижу! Без крику рожать собирается..

Вирка улыбнулась коротко и тускло. И, опять сморщившись, сказала прерывисто:

— Пускай с радостью на све-ет выходит. Шибко больно я его ждала... Не хочу кричать, хочу в легкости родить его.

Крикнула только раз. Коротко, сильно. Будто не от боли, а от восторга. И тогда несказанно легким показалось ей собственное тело, и она услышала на диво звонкий крик рожденного.

— Ишь ты, какого горластого выродила. Да большой. Отцу поглянется. Ты чего? Не сомлела?

— Не-ет. Покажи... Сыно-ок!

— Откуда узнала? Ишь ты, дошлая. Ну-к, пущай полежит, потружусь около тебя.

Недолго Виринея на сына радовалась. Через пять дней, когда она ждала от своих извещенья, как у них там наладилось, ночью в дверь тревожно и тихо кто-то застучал. Вирка бросилась к двери, спросила шепотом:

— Кто?

Бабий испуганный голос сказал:

— Открой скорейча, впусти!

Но в избу Дарья не вошла, из сеней тихо спросила:

— Козлиха-то у тебя?

— Тут, сегодня пришла, заночевала. А что?

— Где она?

— На печке спит.

— Буди скорей, пущай возьмет ребенка, а сама беги

немедля. Через огород, туды к речке, а там тебя Парфен ждет.

— Да ты что? Ребенка-то я как?

— Ребенка... а коль саму прикончат? Павлу надо успеть слушок подать, а то втяпается. Да собирайся ты, буди Козлиху. Чего стоишь?

— Так чего ты сразу...

— Казаки приехали, у Кожемятова сейчас. Кожемятов батрачишка-то с им ездил... Слыхал, что пронюхали. Анисим дознался про наше дело. С доносом в станицу ездил. Ну, только назвал, что тебя да мово мужика. Мой-то схоронился. Беги! Ой, кабы меня тут не застали... Дак огородом-то... огородом к реке...

И нырнула в темноту. Вирка взяла ребенка из зыбки.

— Баушка, баушка! Нако-сь.

— Ну, чего ты загомозилась? На печку его? Ко мне? Ну, давай.

Виринея вздрогнула, будто от тела оторвала теплый живой комок, и подала ребенка старухе. С лицом настороженным, без слез, без вздохов, быстро накинула платок и полушубок и выбежала из избы.

— Вирка-а? Вирк, ты куда? Что это, осподи, поприт-чилось, что ли, ей что...

Все поняла только, когда в дверь, оставленную после Вирки без запора, ввалились казаки и мужики. Поняла, поглядела спокойно и стала успокаивать заплакавшее дитя:

— Ну-у, ну-у, распелся, на ночь глядя. Ш-ш-ш...

— Ты, старая хрычовка, где баба?

— Убегла куда-то. Я не спрашивала, мне на што? За ей не побегу, не молодая.

Рыжеусый казак шашкой погрозил:

— Сказывай, а то не удержишь башку на плечах.

— Она и то плохо держится. А чего я скажу? Убегла — слова не сказала. Хуть кишки мне выпусти — чего я знаю? Не налезай на дите-то, злыдень! Задавишь неповинную душеньку.

Анисим Кожемятов сказал чернявому офицеру:

— Ничего теперь, ваше благородье, не добьешься. Она правды старухе-то не скажет. Следить за избой надо.

А седой, худощавый и строгий, похожий на святителя с иконы старого письма, Антип-кержак сказал:

— Пущай ребенок с бабкой тут остаются. Сама придет. Молоко ее к дитю приведет.

На том и порешили. Караульщики во дворе в хлевушках запрятались. Три ночи караулили. На четвертую, уже

за полночь, в самый глухой и темный час насторожился под навесом рыжеусый кержак и шею вытянул. С огорода двигалась темная женская фигура. Кержак затаил дыханье, как охотник, завидев зверя. Вирка шла легкой, неслышной поступью, будто земли не касалась, птицей летела кормить или выручать своего детеныша.

Уже у самой двери в сенцы была, когда рыжеусый крикнул другим, укрывшимся темнотой:

— Имай, держи ее! А-а, поймал. Беги, Сычов, зови его благородье.

Виринея вскрикнула и забилась в дюжих руках приземистого казака.

— Стой!.. Стой, увертливая какая! А, ты кусаться, стерва! Стой!

Вирка рванулась, высвободила руку и с большой силой ударила его в пах. Казак взвыл от боли и выпустил ее. Но подоспел рыжеусый, скрутил ей руки за спиной. Она билась, качала казака во все стороны. Он неловко повернулся, зацепил ногой за ступеньку крыльца и упал. Падая, увлек за собой Вирку. Она закричала еще раз резко, пронзительно и смолкла. Затылком ударилась об острую железную скобку, для отскребывания грязи, вбитую около крыльца. И тогда же из избы донесся живой и требовательный плач ребенка. Виркины глаза встрепенулись в последнем трепетанье — и погасли.

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ

1

Главное дело — фамилия не по существу.

Это ему, еще мальчонке, когда в чайной развесной у Высоцкого служил, младший конторщик разъяснял не один раз, часто.

— Я в городском училище две зимы учился, так знаю! Александр Македонский был всемирный покоритель и герой, а ты худородие, а в паспорте у тебя тоже: Александр Македонский. Ну и рассуди: чему это подобно? И не в том еще, что нижнего сословия, а существенно смешно, что из себя ты, как мыша голодная. Тот всемирный император, а ты кто? Не то голоса человечьего, — вздоху чужого боишься. Нет, брат, чрезвычайно иронично тебя обозвали.

Щуплый Сашка моргал всегда налитыми испугом глазами и тихонечко вздыхал в ответ. Что тут скажешь?

Один только раз осмелел и сказал, будто выпрашивал, чтобы так было:

— А може, его величали не Евдокимыч?

— Кого?

— А этого... императора-то.

Конторщик фыркнул так, что бумажка на столе подпрыгнула.

— Ну, дурак ты, Александр Македонский! Евдоким — имя простонародное. Никак императора им величать не могли. А только тебе от этого какой резон?

— А може... как в различку... дражниться-то не будут.

— Эхе-хе, нет у тебя смысла в мозгах, Алексашка! Кто тебя когда величать станет? Всякому не трудно за насмешку паспорт твой упомнить. Так и помрешь Александром Македонским! Кто это тебе напакостил, как крестили? Ну назвали бы Иван или Степан, вот тебе и различка. А то на, Македонский да Александр! Поп али отец с матерью удружили?

Разве он знает, кто? Мать одну помнит. А она что скажет по серости своей? Прачка, так прачка и есть Уговаривала:

— Дед у тебя псаломщиком был. До дьякону не дослужился, помер. А детей девять, и все живые. Где надо, и мор не берет! Отец-то твой ровно как и духовного звания, а так сапожником и на тот свет ушел. Мне вот четырех вас оставил. И все Македонски. Я как прозвание сменю? Гумаги те, поди, полиция наблюдает. Сумей-ка, смени! Александр — имя хорошее. По-православному дадено... Да не веньгай ты! Вот как чебурахну, узнаешь, как мать попрекать! Стирашь, стирашь на них чужую грязь, а они изгиляются. Как окрестили! Пропаду на вас нет!

Конторщик правду сказал: Евдокимычем не много раз за сорок лет жизни называли. Все! «Эй, как тебя...» А еще: «Братец мой». Слова хорошие, о родстве говорят. Только на голос плохой люди научились их выговаривать. Как скажут: «Подай-ка, братец», «Ты, братец мой, не рассиживайся...» — о родстве не подумаешь. Образованные, те больше по паспорту с усмешкой выкликали: Александр Македонский. Как ни называют, повертывайся.

И Сашка повертывался. Через плечо на бумажки глядя, грамоте у конторщика выучился. Потом дома над книжкой и тетрадкой изводился. Мать, жалеючи, била. Ничего, дошел. Выучился слова на бумаге выводить, как конторщики, грамматикой не смущаясь. Барин Шидловский над прозвищем его похохотал. За веселый миг, ему доставленный, Александра к себе на хутор пригородный взял. Богатый хутор: с заводами винокуренными и пивоваренными, с фермой молочной. И на хуторе все за прозвище смешное не забывал. В младшие конторщики Александр поднялся. А видом все робок и неказист. В Евдокимычи не вышел, хоть и шестерых детей нажил. Даже, кто ниже остался, не величают. Старшая дочка Лизанька с гневом говорила:

— Да распрямитесь, папаша! Что вы все, будто палкой на вас кто замахнулся? Посмелей были бы, легче бы нам. А так... все равно, Сидором бы звали, нашли бы над чем смеяться. Только пригнись, люди до земли придавят!

Потом бранью надрывной, крикливой на всей семье зло срывала. Обида в нее, как болезнь, вошла. Иссушила и будто пристарила. Семнадцатый год, а губы сожмет, как у матери рот станет: с морщинкой. Из третьего класса за невзнос платы за право учения исключили ее. Хорошо училась, да стипендии другим, к начальству близким, отдали. А отец не вытягивал на семью в восемь ртов. Жалел дочь,

виновато моргал глазами. Нежностью щемящей жалость свою показывал.

— Доченька, аппетитных капель я у доктора достал. Попила бы... Худая больно.

— Отстаньте!

— Или бы шитье бросила? Ничего, ведь с голоду не помираем! К рождеству прибавка...

— «Прибавка»! Да не вяжитесь вы ко мне! Душу вымотали.

Она срыву хлопала дверью и убегала.

Мать вздыхала:

— Порченая или своебышная... Я и говорить-то с ней боюсь! И деньгам за шитье не рада. Изводится девка! И по праздникам не отдохнет, все в книжку. На што обучал? Жили без грамоты ране, ничто, кусок глотали! А ей все поперек. В нутро нейдет! Замуж бы взял кто. А сейчас кто возьмет? Над рабочими словно барышня, а господам не ровня...

Отец моргал глазами. Чем поможешь? Во сне один раз Лизаньку радостной, замужней с детками видел. Все хотел, чтобы еще тот сон привиделся. Не повторялся. Перед самой февральской революцией в город Лизанька шить перебралась. К первой городской портнихе в мастерицы.

2

Город разлегся в степи. В нем — жители: татары и русские. У жителей много скота и пшеницы. Оттого по широким немощеным улицам своего города они ходят неспешно, вразвалку, любят просторную одежду и крепких плодовитых жен, любят свою плодородную землю. Оттого даже двухэтажные дома в городе широки и низки. В домах много пуховиков и подушек. Всегда пахнет готовым жирным обедом. Царит в домах спокойная сонная дрема.

Много в городе колбасных и гастрономических магазинов. Учебники и сонники продает торговец иконами, извлекая их из-за образов Спасителя и святых. Библиотека приютилась на дворе пожарной части. Толкутся в ней только гимназистки — просят книжки писательницы Вербицкой и реалисты — оспаривают друг у друга очередь на Луи Буссенара. Взрослые книг не читают, хоть и выписывают многие «Родину» и «Ниву» с приложениями. Волнует кровь только игра в карты и в лото в общественном собрании и в гостях друг у друга.

По железной дороге уходят из города вагоны с мукой, кожей и салом, приходят с чаем, красным товаром и рыбой. По широкому тракту из города и в город тянутся терпели-

вые верблюды с тяжелыми вьюками. И вереница дней проходит, в цепь жизни сцепляясь, спокойная, сытостью нагруженная, как этот караван. Кольцом заперла город от внешнего мира жирная степь. И кажется — умирают здесь только от старости.

По праздникам — а они часты: город чтит и малых святых — долго стоит над домами густой звон круглых невысоких церквей. В часы татарских молений так же густо и благодушно кричат аллаху с минаретов мечетей крепкие старики муллы. И бог этого города — гладкий, румяный и гневом тревожиться не любит.

А Лизе город сытости не дал. Все воск на щеках и кость в обтяжку. Только речь стала глаже. Мать горестней вздыхала:

— Все, видно, в книжку глядит. Говорить по-книжному зачала. Вот присуха-то проклята!

А отец вспоминал, как сам над книжкой корпел, и робкой улыбкой будто извинялся за себя и за дочь.

3

Не углядел сытый, сонный бог. Разорвало покой. Толстый Иван Макарович, купец первой гильдии, пыхтя и отдуваясь, вытирал большим платком круглую плешь. Говорил Сафиулле Ишмуратову:

— Царя, кричат, не надо, Родзянку не надо, Керенского за штат! До чего добрыкаются?

Щурил хитрые глаза Сафиулла. Тюбетейку повыше сдвигал, жаловался:

— Чай на дорогам пропал. Убытка многа! Мал-мал пора свобода кончать!

— Гляди, как бы нас не кончили! Расшарашился народ.

И напророчил. Стали большевики верховодить. Галдеж пошел и на заводе Шидловского. Выборы всякие и рабочий контроль. Шидловскому хоть неполная, а как будто отставка. В городе больше проживать стал. А Лиза из города часто к отцу наезжала в эти дни. Объявила:

— Я, папа, партии большевиков.

Отец ничего не сказал, а мать заплакала. Фельдшер ее напугал. Много про большевиков, горячо и злобно, рассказывал. С достатком был человек. Беспорядка большевистского опасался.

Лиза удивилась:

— Что ты, мама? Чего испугалась? А?

Посмотрела на тихую, раньше срока стареющую мать и обняла:

— Старенькая ты моя...

Мать от ласки неожиданной еще больше растревожилась. Никогда раньше Лиза так не ласкалась. Растерялась Не смогла дочь поругать. Только, всхлипывая, спросила:

— Лизанька, неужто и богу отмена?

Лиза рассмеялась:

— За что жалеешь его? За пазухой у него не жили.

Слова злые. А лицо у девушки светлое. Македонский не слова, а свет этот уловил. Сам прояснился. В первый раз покровительственно, как старший в доме, на жену свою взглянул. Ослабла мать. Дочерней радости не видит. Уверенно успокоил:

— Не плачь, — выросли дети, куда лететь, сами знают.

Вместе с Лизой отец на собрания стал ходить. У нее взгляд резвый. У Македонского тоже спина прямей стала, глазами реже моргал. На хуторе слышней голос его раздавался. В городской совет в выборные попал, в списке полным именем прописали: Александр Елизарович Македонский. В отчестве ошибка вышла. Ну что ж, не беда! Александров Македонских больше нет. А где тут помнить: Елизарыч или Евдокимыч? Невелика птица, хоть по-иному, да возвеличали!

В газете напечатали его имя. Всегда волосок к волоску на голове приглаживал, а тут с газетой домой прибежал: волосы в разные стороны, лоб мокрый. В глазах не то испуг, не то радость. Жена испугалась:

— Побили тебя, что ли?

— В совет, Нюраша, выбрали. Вот гляди! Пропечатали: «Александр Елизарович Македонский». То есть надо Евдокимович, так отпечатка вышла!

— «Отпечатка»! Гляди, как бы на загривке отпечатки не сделали. И куды лезет, и куды лезет, господи батюшки! На загорбке шестеро — в совет! Досидел тишком до старости, а на старости яйца курицу выучили. За Лизкой потянулся. Да чо же это будет? Чо же это будет?

Завела на целый день слезливую жалобу. Голос скрипучий, как у матери-покойницы. Похожи все бабы друг на друга, хлипкие. А Лиза в отличку вышла. Вспомнил о дочери — свет по лицу. И жену пожалел:

— Не тревожь себя, Нюраша. Никакого тут страху нет. Почет большой. Кто я есть? То есть кто я был? А теперь член совета. То есть городом с трудящими другими управляю.

— Управитель! Видать, всем взял. Что рожей, что кожей! Девку в городе спанталыку сбили... Другой бы отец пристращал, а этот за ней на поводу. Один чирей в семье был, теперь два...

И осеклась... Не видала еще такого лица у мужа. По-

белел весь, в упор взглянул и рукой о стол ударил. Словно и не он.

— Ты Лизу не задевай! Может, только одно добро за нами, что ее родили...

Не кончил мысли. Махнул рукой, ослабел. Опять смирным, обычным голосом закончил:

— Низкость наша примяла нас, Нюраша! Я было к тебе с радостью... Как именинник... Ну, да ладно. И вправду зря распетушился. Колун-то где? Пойду дров наколю.

Посмотрела, как присутулился опять, как торопливо напяливал старенькое ватное пальтишко, прожгла жалость сердце.

— Ты бы, Алексаша, отдохнул. Наколем с Петенькой. У тебя теперь други дела. Жить-то в городу придется?

Хотелось сказать ему много слов. Хотелось уверить: радость и почет, что выбрали, но слов не нашла. Солгать не сумела, боялась за него.

— Нет, наезжать в город только буду. Ты не тревожь себя...

И вышел.

Рада была не тревожиться, да как же, если тревога по пятам? Лиза в другой город по делам каким-то уехала. Веселая прощаться приезжала.

— Папа, тебя очень хвалят! Говорят, ты тихий, а работоспособный. Это хорошо, что ты здесь в кооперативе работаешь. Там чужой элемент есть. Подожди, я приеду!.. Мама, что ты все сохнешь? Устала ты? Ничего, отдохнешь скоро. Вот погоди, я приеду...

Глаза Лизины жизни радуются, — жаркие. И на месте не сидит. Все движется, легкая и быстрая. Вышли за ворота провожать.

— До свиданья! Ждите меня!

Мать заплакала тихо и горько. Ярко в память врезалось все: деревья предосенние с тускнеющими листьями, серая лента дороги и дочь, тонкая, в черном пальто, четкая такая в тарантасе. На повороте дороги белый платочек в руке весело в воздухе взвился, красной повязкой голова закивала.

Улыбнулся тихой улыбкой своей Македонский. Жена сильнее заплакала. Он осторожно взял ее за плечи и повернул к дому, спокойно сказал:

— Не наш черед плакать. Помолчи.

4

И песчинка малая, в вихре закрученная, вместе с вихрем несется, вместе с вихрем!

Так Александр и рассуждал:

— Попал, так изворачивайся, чтоб не притоптали.

Пятеро их с хутора Шидловского скрыться успели, когда белые в городе на посты стали. Расправа с людьми большевистской партии началась. И вот привелось скрываться ему в чужом городе... А Нюраша с ребятами в своем родном мается... Не засудили бы ее! А Лиза... Но он — человек тихий. К молчанью привык. Хоть груз тяжких дней на спине горбом нарастал. Присутулился. Но не кричал. Никому не жаловался. Только чаще моргали красноватые веки безбровных глаз. Кричать зачем? Если всякий раз, когда больно, кричать, — криком бестолку изойдешь.

Самая тяжелая забота: помнить, что теперь он — Иван Суслов. До старости без малого донес свою смехотворную кличку. К новой трудно привыкнуть было. Но привык. Под такой же, как сам, серенькой — легче. Ведь и прежде только фамилия его хорошо запоминалась. А видом — был неприметен. Неприметность его теперь полезна. Для такого придумано: особых примет не имеется. Говорили Лизиной партии люди, теперь и ему свои:

— Товарищ Суслов, сегодня на вокзале встречайте... Незаметно надо тючок получить...

— Товарищ Суслов, как идет передача в тюрьму? Не забыли? Ничего не перепутали?

Как на службе когда-то, ни одного поручения не забывал. Ничего не перепутывал. Все делал старательно. И по-особенному, бесшумно. Других ловили, а его не замечали. Даже те, кого на тайные квартиры провожал, кому помощь, на всю жизнь памятную, оказывал, сразу лицо его забывали. А в такой-то, как теперь, заварухе и крупных теряют. Где углядеть мелкоту!

Так и жил. Делал дело под охраной своей тихой, незаметной внешности.

В артель поваров и официантов — лучшее в городе кафе на главной улице — удалось поступить. И там при других остерегались, а на него взглянув, в разговорах меньше стеснялись. Случалось важный слушок поймать, своим передать.

Но один день все изменил. Когда в кафе шел, человека своего повстречал. Тот письмо от Нюраши передал. Петенька, сын, писал с ее слов. В письме ничего, кроме: живы, здоровы, кланяются. Видно, приказали с осторожностью писать, но на словах приезжий передал:

— На допросы вызывали, обысками мучили, но ничего. Отвязались. С хутора выгнали. В городе живет: сторожихой в земскую управу определилась. Дети одолевают! Постарела очень. Старший сын мальчиком в редакции служит, другой на посылках, тоже в земстве. Плохо, но с голоду не умирают. Товарищи помогают. Только передать велела, что слух прошел: Лизу захватили. В тюрьме в Омске будто бы теперь.

Не помнил, как в кафе дошел. Думы в голове узлами. Голове больно:

«Лизанька... Доченька...»

Хваткой за сердце воспоминанье: потускневшие листья и девичье лицо радостное. В первый раз сомнение затомило:

«Надо ли было самому ввязываться? Теперь семья мается. И Лизаньке, может, помог бы тогда. Э-эх!»

— Суслов, задремал? Слышишь, с твоего столика зовут!

И вот тут, будто за то, что от думы горькой оторвали, захотелось закричать. Даже лицо перекосилось при мысли:

«Запустить бы тарелкой в тебя, жеребец краснорожий! Поди, дома ел-ел. Еще чего-то надо! Сюда припер!»

Подошел и угрюмо спросил:

— Ну!

Приземистый, плотный господин еще больше порозовел. Но не рассердился, а скорей удивился:

— Разве так спрашивают, братец мой? «Ну!» Недавно, видно, пришел? Пусть тебя поучат с людьми разговаривать! Другого кого-нибудь, потолковей, нет ли? Эй, чела-эк!

— Занят я, господин. Вот Суслов на этом столике. Суслов, пошевеливайся! Слышишь, барин требуют...

— Ну, киче-о-о! Все равно! Так вот, братец мой, карточку. Тэк-с... Мазагра-ан с сосисками? Интересно. В первый раз слышу. Это что написано? Мазагра-ан?

— Повар так обозначил.

— Ха-ха-ха!

Колыхался от смеха круглый живот. Благодушно узились глаза. А Суслову было бы легче, если б этот гладкий ругался. Смехом, видом своим благополучным дразнил.

— Подать мазагран?

— Несите ваш мазагра-ан с сосисками. Очень интересно!

Собирал прибор в буфетной, коротко, резко покашливал. В первый раз злоба душила. Этот холеный барин... Вид такой, будто жизнь ему до конца только одно благо-

получие обещала. Погоди! Еще будет тебе «мазагра-ан!» Щеки парикмахером выглажены, одежда из товара заграничного и будто только из-под утюга. Но, наверное, из вагона недавно. От большевиков удирал. Видно, из столичного города.

Вдруг опять сердце в тиски:

«Доченька... Лизанька...»

Покашливал, как стон сдавливал. Моргал глазами. Привычно двигался. А тиски на сердце не разжимались.

Пополнилась утроба кафе. У вешалки два человека, как заведенные, поворачивались налево-направо. Принимали одежду. Как в панике, смешно и нелепо взметывали салфетками официанты. Люди за столами и столиками требовали еду, жевали, звали лакеев, смеялись, разговаривали. И смешанный гул их голосов стоял в комнате, как глухое ворчанье успокоенного сытостью многоутробного зверя. Из глаз ушло беспокойство мысли. Пленкой мутной закрылся их блеск. Туманила голову дурманная смесь ароматов и вони. Пахло мясом, пряными приправами кушаний, нежными и крепкими духами, пригорелым маслом, табаком, пудрой, человеческим телом, разогретым едой, и несвежей одеждой. От сытости и щекочущих звуков веселенькой истории про полк гусар-усачей, которую рассказывал оркестр, жизнь казалась успокоительно-забавной.

Но полог истомной одури то и дело разрывался, потому что въедливой струйкой вливался в смесь благополучных запахов тревожный запах остро пахнущих лекарств от повязок, видных и не видных глазу. Потому что жутко гримасничал и дергал шеей контуженный офицер за столиком у окна. Поправлял черную повязку на лице, закрывая вытекший глаз, другой. С не увянувшим еще пушком юности на щеках. Потому что невысохшие буквы газет на столах передавали глазу слова: наступление, отступление, наш фронт, их фронт, большевики, меньшевики, социалисты, капитализм, революция.

Но даже призрачное внешнее спокойствие сидящих за столами было невыносимо сегодня. Ведь гвоздем вот здесь, в груди:

«Засудят... Доченька...»

Дрогнули руки. Т-ррах!..

— И об чем этот человек думает? Нате, тарарахнул целый поднос. А там господин, которому подает, жалуется: зачем, говорит, таких держат... Не дождешься, говорит. Ругается!

Плюется буфетчик. Ногами топает. А Суслов не видит его. Напоминание о господине стегнуло.

— А, этот «мазагра-ан»... Брюхом там колыхает...

Злоба, какой не испытывал во всей цепи прожитых лет, в голову ударила. Повернулся, толкнул, — кого, не разглядел, — и в столовую из буфетной. Но дюжей рукой вцепился в его воротник Тимофей Васильевич и отбросил от двери назад.

А, этот еще буфетчик, гладкий черт! Украшенье кафе. С двумя «георгиями» на груди. Инвалид почетный, с инвалидством, от глаз скрытым...

— Ты чего это, мужичня сиволапая? Мне на мозоли наступать? Эдаку паршу не то что господам прислуживать, — в кухню допускать нельзя!

Буфетчик самому Колчаку в вагоне до Омска прислуживал, как икону, его в кафе показывают. От Колчака у него бумажечка есть.

Рванул Суслов воротник из крепких пальцев, вырвался. Но назад не повернул. А наскоком на буфетчика Тимофея Васильевича.

— А што твои мозоля, в церкви священы? Колчаку... салфеткой вытирал, дак над всеми людьми начальник? А? Плевать я хочу на тебя и с Колчаком-то с твоим!

Тимофея Васильевича от удивления даже назад отбросило. Переступил шаг и опомнился. Завопил:

— А, ты верховного правителя пакостишь! Пригласите сюда дежурного офицера! Пригласите! Всякая сволочь на особу покушается! Пра-шу пригласить дежурного офицера!

Ну, теперь уж все равно! Развернулся и с большой, взыгравшей нежданно радостью влепил полновесный удар над правым рыжим усом.

— От сволочи. Получите!

От столика, для дежурного офицера всегда в кафе приготавливаемого, в буфетную хлыщеватый военный спешил.

— Что случилось?

— Ваше благородие! Вот я двух георгиев кавалер, а он при мне в недостойном согласовании верховного правителя...

— Взя-а-ть!

По улице шел легко, как никогда. Будто гной наседал на сердце, а теперь его выхаркнул. Вольно дышала грудь. Соображал:

«Бумаг никаких не давали. А что в голове — не узнают. Не выковырнут!»

Но в тюрьме затомила тоска:

«Из-за чего вляпался? Кого завтра на вокзал пошлют? И дома там-то... На свободе все скорее можно помощь по-

дать. Да кабы еще на деле поймали... А то из-за Тимофея-блюдолиза! Эх, незадачливым мать родила!»

Дивился, как накатил гнев. Сколько обид выносил раньше, а тут — на! Потом пришла в голову мысль:

«Лизаньке бы рассказать, как я его — развернулся да в морду! Она бы посмеялась».

И оттого, что опять ясно представил, будто увидел Лизину улыбку нечастую, — повеселел. Показалось вдруг: все будет хорошо. Увидятся. Не может быть, чтоб не увиделся еще с дочерью. Заснул крепко, с облегченным сердцем.

И до последнего дня пребывания в тюрьме по ночам наседала тяжелая тоска:

«Зачем не сдержался? Свои-то отвернутся! Как мальчишка глупый какой...»

Опять спасся, оттого что тих и сер лицом. Других допросами мучили, с собой увезли, а о нем никто не вспомнил. Вернулись большевистской партии люди. Из тюрьмы выпустили.

Вот жене и его лицо из всех отметное. Припала к плечу, как в молодости. Целовала, гладила, причитала:

— Постарел, Алексашенька! Этих вот морщинок не было. И головушка пегая стала. Ну, да вернулся, а седина да морщины все равно свое время не упустят. Пора им и приходить.

Гладил он ее склоненную голову, а на глаза слеза набегала. Жалеет мужа. А сама-то... Тоже сгасло лицо в старческой усталой серости. В волосах также клоками седина. В глазах оторопь и тоска. И про Лизу не спросил, хоть и лезли на язык слова неотвязно. Очень уж жалко старую. Зачем бередить? А других разговоров не находил. Много их, да сейчас не о том надо. Чтобы не молчать, спросил:

— На хутор-то когда перебрались?

— Да всего пятый день. Рабочие перевезли. Айда, говорят, на старое жилье, мужа дожидаться...

Но Петенька рану ноющую расшевелил. Повисел на шее у отца, покрутился вокруг и с юною нерассуждающей, жестокой правдивостью сказал:

— Папа, а про Лизу говорят: замучили в тюрьме.

Жалобно заплакала мать, поникнув вся, будто сразу одряхлев. Больше всего заботы с Лизой. Оттого глубже всех детей в сердце обоим вошла.

Побелел Македонский, но с последней спасительной надеждой за мысль уцепился:

«Может, не разузнали еще? Ошиблись. Только прибыли, не разобрались».

Вслух сказал:

— Завтра в город разузнавать пойду.

Всю ночь провздыхал, проворочался. Убеждал себя: пятеро детей живы и здоровы. Ведь радостно? Но сердце не слушалось. Ныло о старшей, беспокойной.

5

Только прибыли новые хозяева — и сразу свой лик на городе отпечатали. Будто во всех домах двери настежь. Перекатом говор из домов на улицу. С улиц в дома. И дома стали, как палатки походные. В купеческих — штабы всякие разместились. Сорваны кружевные занавески. В беспорядке мягкая мебель по всем комнатам и в кухне. На хозяевах платье — нарочито мешком. На мебели обшаркана, ободрана нарядная обивка.

— Товарищ ротный, буржуазия самовар растопила.

— Черт их дери! Зачем?

— Не то с перепугу, не то от умыслу.

— Грей чайники на плите! После разберем.

— Товарищ, а товарищ! Далеко белых-то угнали ай нет?

— Беги, може, догонишь!

— Да я не к тому! Деньги вашенски на базаре дали. Дак как, отмены не будет?

Худенькая, с клоком волос, кокетливо взбитым, портниха Шурочка на улице патруль остановила:

— Товарищи, скажите, пожалуйста: швейные машинки ведь отбирать не будете?

— Отберем! Твою первую. Заместо пулемета!

— Нет, кроме шуток, товарищи! Я, как своим трудом... трудящая...

Низко нависли новые нити спешно проведенных телефонов.

— Граждане, на другую сторону! Другой стороны держись!

...Сме-ело мы в бой пойдем
За вла-а-сть Советов...

— Послухам, послухам, как новы поют!

— Товарищи, Семена мово не видали? Пермски, пермски, мы... То есть как на побывку прибыл, так Колчак у себя задержал... Масков, Масков Семен-то... Красный, красный... вашинский...

Тонкий синеглазый парень из рядов выдвинулся.

— Слышь ты, тетка! А бельма у него на глазу нету?

— Нету, родимый, уж этого, извиняйте, нету! Так, лобастенький!

— Ха-ха-ха!

— В ряды! Чего отбились! Что вам, гражданка?

— Мужика свово ищу! В Перме в Красну вашу Армию то есть поступил! А где есть, не знаю.

— В Перми? Зайдите в дом купца Трофимова. Там вам справку дадут.

И тут, к кому первому за справкой баба обратилась, высокий, синеглазый, весело, уж из рядов, отозвался:

— Найдешь, тетка! Нашински доходчивы!

— Вот спасибо, родненьки! Товарищи!

Яркий луч радости сразу осмыслил курносое бабье лицо.

На вывеске трехэтажного, самого большого в городе универсального магазина Сафиуллы Ишмуратова с сыновьями, отбиты золоченые буквы слов. И обломки их на железной сетке вывески — как знаки неведомой грамоты. Огромные зеркальные стекла жалуются трещинами и выбоинами. Но шумом здоровых глоток полон дом. И на дворе солдаты муравейником. На тротуаре около — дети соседних дворов. Суматохе радуются. На улицах толпа пестрая. Но редко мелькнет тонкое личико, изящный костюм. Все-таки страшно! Блузы, бабьи фартуки, плохо сшитые френчи и дешевые платья приливают, сменяются, движутся. И в радостном гуле — праздничное. В самой большой аптеке спешно прячет хозяин в подвал спирт и дорогие лекарства. Объясняет жене:

— На всякий случай, Этинька, на всякий случай!

А служащие в белых халатах гурьбой на улицу высыпали.

— Товарищ, пожалуйста, нам! В аптеке многие прочитают.

Это человек в военной одежде на возу газеты раздает.

— Гражданка, гребеночку потеряли! Растопчут!

— Какая там гребенка! Ведь с Москвой, с Москвой связь теперь!

— Здравствуйте, Анна Самойловна! Газеты получили?

— Да, московские!

— А я в городскую управу... То есть не знаю, как теперь называется... В бывшую городскую управу. Там все учительство... Кажется, опоздала!

— Смотрите, аэроплан, аэроплан!

— Красный!

— Нет, белый!

— Нет, красный!

Бах-бах-бах! Из магазина Сафиуллы Ишмуратова винтовки. Трах-тах-тах!

Из десятков дворов, из-за заборов выстрелы по аэроплану. Дальше, дальше по городу. Грозней перекличка винтовок. Будто каждый дом насторожился. В небо бьет: город наш, город наш!

— Прекратить стрельбу!

— Кто-о распорядился? Прекратить!

— Товарищи, прокламашки кидат.

— Все равно, прекратить! Ну-ка дайте. «Большевики наши деньги отменяют, а их бумажки ничего не стоят. Мы вам их даром набросаем. Вот получите». Вот стервецы! Смотри — десятку испортили! Со штемпелями-то, конечно, ничего не стоит.

— Товарищи! Красны флаги приказано убирать с домов! Слышите! Еще аэроплан!

Ток-ток-ток!.. Бах-бах-бах!.. Ток-ток-ток!

— Слышите, слышите! Опять пулеметы!

— Наступают? А? Наступают?

Конного военного толпа на углу остановила.

— Товарищ, вот в военном суде у белых состоял. Поймали.

Высокий старик глубоко втянул голову в плечи, будто весь в одежду уйти хотел. Лицо с крупным носом и твердым ртом обмякло. Стало старчески вялым, молящим. Но глаза жили. Горели жутью ужаса.

— Нет, нет... Я — военнослужащий.

Конный отмахнулся рукой:

— Трибунал приедет, разберется! Вот в тот дом ведите. Да не трогайте!

И поскакал дальше.

Толпа со стариком на тротуар подалась. Прижала Македонского к дому. На хутор назад было спешил. Справочку дали такую: еще ничего не известно. Может, и жива Лизанька... Да вот застрял... Что-то радостная суматоха города тревожной сменяется. Орудия за городом забухали. Надо у Митрича переночевать. Завтра уж домой. Хорошенько разузнать. Свои ведь пришли.

А наутро грозней уханье орудий. Чаще и дольше отдаленное токотанье пулеметов. На улице меньше людей. Тревожны разговоры:

— Будут отступать?

— А мы-то как? А мы-то как?

— Говорят, обозы... Ну, ну, видите, — обоз вывозят из города!

— Товарищ, товарищ, эвакуация?

— Погоди, лихоманка, успеешь!

До вечера тревожное недоуменье: что будет? Свистящий шепоток затаившихся в углах. Тех, у кого кровные сбежали во Владивосток.

Пусты квартиры в подвальных этажах на окраинах. Все обитатели их на улице.

— Вывезли обоз?

— Что, товарищ, отступление?

— Аль жалеешь нас? Ждали-то, поди, печенка болела! В газетах-то ваших как честили красных!

— Которы честили, уехали. А наше дело — без вас карачун! Отступаете?

— Увидим. Уйдем, так ненадолго!

— О-о! Тут в день всю привокзальну слободку вырежут!

К ночи стало известно: перерезали путь подходящим к городу красным войскам. Пришедших недостаточно. Придется город отдавать.

Только на рассвете затихла пальба. Будто притомились стальные глотки. А утром на заборах беспокойными пятнами красные листы. Призыв добровольцев на защиту города. На ближайшие копи каменноугольные, — жирная степь и угольные богатства таила, — на хутор Шидловского, в железнодорожные мастерские, по всем улицам города клич красных листов. Запись добровольцев на Николаевской площади с двенадцати дня.

Базарный торговец, кривой Степан Федорович, посмеивался:

— На большую площадь записывать зовут! А думают — на малой тесно будет?

Вышло — тесно. С полудня молчаливо, нахмуренной толпой стояли люди из железнодорожных мастерских. Пестрой, шумливой — с окраин мастеровые, мелкие служащие. На углах кучками любопытные. Люди всякого званья.

— Гляди, прут!

— Оружья-то не хватит?

— Которы и стрелять-то не умеют?

— Ну, чего буркалы пялите? Вали записываться!

— А бабы, бабы! Тоже воевать?

— Ничо, бабыньки, не убивайтесь! Глянь, кака сила.

— Гляди, гляди, копейские, копейские! Мамыньки, да сколько их?

Длинной, звенящей, орущей лентой полз обоз по дороге: в тарантасах, в телегах, на копейских таратайках-двухколесках, далеко, далеко, не видно конца по дороге.

— Сторонись, сторонись!

— Эй, эй! Ребятишек с дороги!

— Здравствуйте, товарищи! Встревайте войско!

Вихри враждебные веют над на-а-ми...

— А-а-а...

— Эй, влево, влево!..

— Кареты-то больно хлипки у вас! Колес не хватает!

— Доедем!

— Это танки нашински!

На шум и крики из домов валом. Посмотреть на копейское войско.

— Гляди, гляди: старики!

— А энти-то, мальчонки. Ребятишек пошто взяли?

— За своими гляди-и...

И за своими не углядишь. Высыпала из десятков дворов и домов бурливая юность. Пятнадцатилетний, низкорослый крепыш ломким, от радости юных лет, голосом кричал:

— Молоде-ежь, сбор нашему возрасту у реального-о...

— Остановите, остановите детей!

— Чорт их остановит! Эти напором!

— Садись, мелкота! Подвезем!

— Товарищи копейские! Меня, меня...

— Товарищи рабочие! Отстоим!

— Вон в энту телегу вваливайся!

Вста-а-вай, проклятьем заклейменный...

Толпа с тротуаров прихлынула к самым таратайкам. Рослый, с буйной кудрявой гривой актер, отставший от уехавшей труппы, звучно кричал:

— Товарищи, това-а-рищи! Великий момент! Картина неподдельного народного энтузи...

— Старанись! Орет дуром, патлатый...

— Не путайся под ногами! Вали на площадь!

Орудия били снова и упорно. Но в смятенье, в радости, в испуге жители слышат только ликующую толпу. Восторженно кричали все. И те, кого отвага двигала, и те, кому выбора не было: не послушались белого начальства, отказались, спрятались от эвакуации. И те, кого из дворов и домов захватили копейские.

Приливали и осторожные. Такая сила двинула! Своевременно записаться лучше. Видимо, город останется за красными. Тогда учтут.

Солнце на небо в этот день осенний выплыло разогретое. Будто тоже поближе поглядеть придвинулось.

Сгрудились у столов на площади. От давки жарче, чем от солнца.

— Не налегай, не налегай! Записывайте...

— Отходи, записанный.

— Куды-ы теперича?

Потом, как росой, покрыты лица записывающих.

— Пятьдесят лет? Отдыхай, дедушка! Молодых много.

— В очках? Слабо зренье? Подожди, после позовем, если надо будет.

— Александр Македонский? Ого, имя победное. А, партийный? Свой. Здравствуйте, товарищ! С нами вместе вернулись? Не налегайте, товарищи!

Свой. Единица, в тысячах сосчитанная. Малый ли, щуплый ли, кличка ли смехотворная — в шеренгу! Молодо ходит кровь в жилах от этого... Получал винтовку. Ехал на телеге с копейскими. Даже про Лизаньку забыл.

Три дня пробыл у наведенных спешно заграждений, в рядах, в обозе. Стрелял в невидимых. И не боялся, что попадет. Не жалел. Оттого, что почуял себя в шеренге, олютел против тех. Кто там? Все равно. Палят в нас? Пали! И почуял — и в тихом есть жестокость. От нее, может, больно будет потом. Сейчас — пали!

На третий день, будто устав, замолкли пулеметы. Сгущались сумерки осенней ночи. Будто пологом плотным задергивались дома. Но на улицах было шумно и людно.

Потный, хилым комочком на коне, ехал по главной улице Александр Македонский. А впереди два десятка перебежчиков от белых. Как сбившееся, отупевшее стадо. Он один, конный, сзади пастухом. Разгладился сморщенный кулачок лица. Глаза будто шире стали. Необычно звонко разливался по улице его тенорок:

— Вот пятая партия! И чего бы сразу? Говорим, говорим вам — сдавайтесь! Ну, русским языком говорим — сдавайтесь! А вы третий день палите! Говорим, а они палят, они палят! Ну, чего палите? Чего палите? Э-эх, товарищи! И товарищами-то вас стыдно называть!

Задний, бородатый, коротенький, отозвался мирным баском:

— И то гуртом гонишь. А ты кака вояка? А гонишь.

— А третий день чего зря палить? Сказано: власть советская! А вы в ее палите! Тоже — товарищи!

Таких «гуртов» прогнали десятки. Покачнулся строй там, за городом, у врагов. На бревнах у штаба без охраны сидели «пленные». Они терпеливо ждали возможности зарегистрироваться, просили у женщин, из любопытства приходивших на них посмотреть:

— Слышь-ка, бабочки! Хлебца приволоките! Поди, долго еще сидеть.

Уходили и сами за хлебом. Снова возвращались.

Кончилась пальба. Победно взметнулись на домах красные флаги. Усталые красноармейцы парились в городских банях. Опять прошумели телеги и таратайки копейских.

Александр Македонский на хуторе раз пять за день принимался семье рассказывать:

— На коне — это я... Я им высказал ха-а-рашо!

До смерти воспоминанье об этом случае грело его, когда воскресало в мозгу.

6

В городе одну улицу, когда по-новому переименовывали, назвали: улица Елизаветы Македонской. Девушку-большевичку замучили белые в тюрьме.

Младший Македонский, Митенька, перед товарищами гордился:

— Нашей Лизе целую улицу отдали.

А у отца еще одну глубокую борозду на лбу горе провело, тусклее и старше стали от скорби глаза. Он чаще задумывался. Упорно, надолго. Будто точный и строгий подсчет про себя производил. Тогда не слышал, что кругом говорили. Опомнясь, к левому уху руку прикладывал. Напряженно в лица говорящих вглядывался. На хуторе Шидловского Евдокимычем стали называть. В разговорах о нем сочувствие высказывали:

— Глохнет, сдает! И так неслышный был, а теперь ровно и нет его.

В городе о нем часто вспоминали: отец Лизы Македонской. Но рад был, когда в город не звали. На хуторе много работал. Приказ в газете вышел: отобрать у частных лиц книги и огромную, небывалую в городе общественную библиотеку создать. Почти в каждом номере газеты писали: «Книга для всех». Отец Лизу острее вспомнил. Как она над книгами... Э-эх, не дотянула, дочка!..

На хуторе, в барском доме, шесть шкафов с книгами после отъезда владельцев брошены были. Вместе с другими вещами в дни суматохи растаскали много книг.

Македонский по квартирам долго ходил, собирал тихо, но настойчиво.

В парадном доме, в бывшем барском жилье, он одну комнату у заводских выпросил. И часами там сидел: стряхивал пыль с книг, счищая грязь с переплетов, страницы подклеивал, по размеру одинаковые подбирал, названия записывал. Рабочие посмеивались:

— Все за книгами? Гляди, не спять от них на старости.

Лишнюю мебель из комнаты вынесли, чтобы разместились большие шкафы с книгами, но оставили клетку с попугаем. Выкрики говорящей птицы мешали Македонскому сосредоточиться в работе. Кроме того, надо было чистить клетку, сменять воду, находить соответствующую пищу для нее. Уходом за попугаем во время работы Македонскому заниматься было некогда, Александр Евдокимович отнес клетку к себе домой, чтобы его семья кормила и берегла общественную птицу.

Рабочие любили заглядывать в тихую комнату с книгами: хорошо было в ней отдохнуть от табачного дыма, клубами висевшего в остальных, про защиту города вспомнить. Перекличку дням тревожным и радостным сделать. Македонский больше слушал и улыбался.

Но временами оживлялся и он. Как пленных в город приводил, рассказывал, и как в кафе колчаковскому лакею морду набил. Рабочие терпеливо выслушивали слышанные уже рассказы. Беззлобно над ним острили:

— Ты, поди, на табуретку вставал, чтоб до морды-то ему достать? Говоришь, здоровый был?

— А поджилки не тряслись, как пленных вел? Поди, задень локотком какой, ты и с коня! В телесах-то у тебя слабо!

Македонский не обижался. Знал, что верят ему. Его во все контрольные комиссии выбирали.

На большом районном собрании рабочих Долохин, угрюмый и злой старик, дубильщик с соседнего кожевенного завода, в речи один раз сказал:

— Только и есть кому поверю, вон плюгашу энтому из шидловских — Македонскому! Старательный и за совестью надзирает! Хоть и в служащие выпятился из рабочих, а прямо скажу: его выбирайте!

Его любили, как умеют любить люди, не разрядившие душевную полноту отношения нежными ненужными словами. Разговаривали грубо, но охраняли и действенно помогали ему в быту.

— Скажи-ка Евдокимычу, коли надо что из городу, приволоку.

— Эй, старик! Паек я тебе принес. Сиди уж над книгами, ваше благородье! Ну, ну, ничего! Спина у тебя слабая, а моя дюжит.

Только учитель временами возмущался:

— Живете вы, Александр Евдокимыч, в бурное время, в революционное, а все тихонький, приглаженный, кроткий. Ну, допустим, вот случилось так: пять человек надо убить, а не то все — вверх тормашками. Ну как вы? Нахохлитесь, как воробей, и пусть вверх тормашками?

Заморгал веками Македонский, но глуше и тверже, чем всегда, отозвался:

— Болтать про это не следует. Бахвалиться — это зря. И для меня дело найдется...

— Ну, а все-таки? Ну, все-таки?

— Если нужно будет убить врага советской власти — убью и маяться не буду. Трепать об этом языком не люблю. Прекратите, пожалуйста.

Даже взгляд его тверже стал. Учителя после этого разговора он избегал. Нехорошо человеку зря душу выворачивать — что да как. За что взялся, стой до последнего.

Когда на смену революционному комитету исполнительный уездный выбирали, избрали Александра Македонского в исполком. Три ночи сон от глаз бежал. Кряхтел, кашлял, сомневался:

— Куда? Образование, можно прямо сказать, копеечное. Сноровка тихая... Э-эх!

А в газете отпечатано «Заведующий горуездным отделом народного образования тов. Александр Евдокимович Македонский с быв. заводов Шидловского».

Даже отчества не перепутали. Отказывался, его горячо убеждали:

— Нельзя! Пролетарское око нужно. Вы — партийный.

Один товарищ целую речь сказал про рабочий контроль, про партию. Даже забыл, что о Македонском начал. А у Македонского лицо пятнами и на душе смутно, хотя в отчете всех жизненных дел смело мог он написать: выполнил. А теперь? Не по плечу. Образованных людей боялся.

Но, если надо, так что разговаривать? Покряхтел — и будет. В город, в комнатку на окраине, жить перебрался.

В городе потощали лавки мясников. Легче стали воза с пшеницей и хлебом. Сосчитаны в печке поленья дров. Устало, больной, вялой поступью плелись по железным дорогам несогретые поезда. Падали на шоссе, проселках и улицах кони, не вытянув и полегчавшей клади. Еже-

дневно насыщалась, толстела только одна ненаписанная, но ежедневно людьми читаемая — книга записи близких, взятых жизнью в расход. В учреждениях рядом с дорогими, роскошно обитыми креслами стыдливо кривились трехногие табуреты. На прекрасные письменные столы подавали желудевое кофе в глиняных кружках с отбитыми ручками, с облетевшей глазурью.

С каждым днем пустей дома, сундуки и чуланы. Серей и смешней на людях одежда. И с каждым днем громче, бурней голоса. Шире планы, толще сметы, дерзостней приказы. И даже тихому Александру Македонскому не страшно слушать на заседаниях коллегии предложения:

— Организовать в уезде передвижных библиотек-читален в количестве шестисот. Приспособить под передвижки автомобили. Назначать заведующими передвижными библиотеками лиц, по возможности, с высшим образованием.

Читать в сметах школьного подотдела:

— На уезд двести пятьдесят школ. В каждую школу необходимо приобрести по микроскопу. В волостные желательно — телескопы.

Взмывом дерзостных желаний захватило и его, робкого. Заведующая центральной публичной библиотекой в городе просила:

— Дров! Хоть полсажени! В шубах застываем! Потом, знаете, три воза книг так и не разобраны. Не успеваю. Помощники малограмотные. Нельзя ли кого-нибудь?

А он, сияя тихой улыбкой, рупором приставив руку к левому уху, говорил:

— Вчера на заседании коллегии постановили: в детском отделении библиотеки чтоб особые такие шкафы... Знаете? И чтоб уютно было! Завтра комнатные цветы из дома купца Зайцева привезут. Руководило чтоб знающее лицо!

— Да дров-то...

— Дров... дров?.. Сейчас я попрошу заведующего снабжением. Посидите минутку! Сейчас...

И возвращался сконфуженный.

— Двенадцать полен сейчас на салазках привезут. Знаете, я себе на квартиру в лесу на хуторе нарубил. Как-нибудь, знаете...

Когда приходили с требованием жалованья, Македонский сжимался в комочек, беспомощно разводил руками. Понимал: правы. Надо. Но как? А грозных слов, чтобы доказать, что правы и они, здесь сидящие, не знал.

В наробразе его не любили. Машинистка Сонечка фыркала.

— Из-за угла мешком хваченный!

Секретарь коллегии в бороду посмеивался:

— Подпись громкая, а сам: чихни погромче, рассыплется!

Делопроизводительница удачно изображала, как он бумаги читает: пальцем по строчкам водит, губами шевелит, глазами моргает.

— Нет, слушайте, слушайте! Он один раз резолюцию написал... Ох, умора! Пишет: «канкструкция».

Заведующая книжным коллектором рассказывала:

— Откопали. Действительно! Пришел первый раз в коллектор: пальтишко — жена, видимо, из старья сшила. Шея женским пуховым платком замотана. Покашлял, помялся: «Нельзя ли ноты во временное пользование? Манечка у меня на пианино обучается». А я разве знала, что это заведующий? И думать не могла! Говорю: «Товарищ, всем Манечкам не можем ноты давать. Я за достояние государственное ответственна». Ушел. Потом с записочкой от заведующего внешкольным подотделом пришел. Я прочитала, кого выгнала, чуть смехом не подавилась! Ну, бобер!

Один только раз на защиту его делегатка женотдела вступилась:

— А вы образованные, так показали бы! Все с издевкой! Плевать я на вас хочу. Не желаю!

И убежала перепрашиваться в здравотдел.

Некоторые беспартийные члены коллегии с Александром Македонским разговаривали вразумительно-ласково. Как с ребенком.

— Товарищ Македонский, вот здесь подпись нужна. Это по частному вопросу. Выслушивать вам будет утомительно, а вот мы здесь все уж подписались. Так что ручаемся за необходимость.

— Да не бе-еспокойтесь! Авансовый отчет бухгалтерия проверила. Бухгалтерия у нас в струнке.

Отношение служащих к себе знал. Но проходил в кабинет, не ускоряя неспешной походки. И под смеющимся взглядом бумажку не бросал. Всегда медлительно, с натугой два раза перечитывал. Только тогда подписывал. В большом строгом здании, среди толстых папок, шкафов со специальными книгами, среди обученных, всегда в своем знании уверенных, томился, как заложник, от тех, что на хуторе остались. Но изживал свою трагедию один.

Никому не жаловался. Что мог и умел, делал.

Приходил в наробраз раньше всех. Опускал свой билетик в контрольный ящик приходов и опозданий. Никто из ответственных работников этого не делал. Тихонько садился за свой стол в кабинете и старательно работал. Паек получал после всех. И всегда после того, как приезжала ругаться жена. Она сильно постарела, но грубей и смелей стала.

Глядя в злые глаза жены, он понимал, что у нее ржа сердце сосет, кротко говорил:

— Завтра получу.

Получал. Даже в губпродком однажды ездил, ситцу выпросил. Ночью долго ворочался и вздыхал.

Просил освободить его. Строгий партийный товарищ его обрезал:

— Вы коммунист? Стыдитесь малодушничать! Каждый из нас теперь должен твердо стоять на посту.

А случившаяся в укоме учительница с хутора Шидловского, Леонтьева, нравоучительно сказала:

— Твердость пора приобретать, товарищ Македонский. Нам, коммунистам, нельзя быть мягкотелыми.

В партию Леонтьева месяц назад, в партийную неделю, записалась и правами партийной очень гордилась.

Македонский ничего ей не ответил, но тихие глаза суровей стали. Смирил себя мыслью:

«И такие нужны. Образованная, поможет».

Но помогали мало: для взятой тяготы пригодных все не хватает. Вот Македонского сменить некому. А время суровое. Так и работал в наробразе Александр Македонский.

Оживал, расцветал улыбкою только по субботам. До понедельника к своим, заводским, на хутор уезжал. Там, надев женину теплую кофту, рубил дрова, воду носил, в библиотеке, им собранной, беседовал с рабочими, рассказы детей своих выслушивал. И эти шустрые вышли. Петенька на собраниях союза молодежи речи говорит. Теперь какого-то учителя на хуторе отыскал. Языку международному у него обучается. С жаром отцу объяснял:

— Знаешь, на этом языке со всеми заграницами можно переписываться. Кружок у нас. Маленько подучимся, заграничным пролетариям письма пошлем!

Но день за днем Македонский привыкал и к наробразу. Хутор помогал. Дети по воскресеньям взбадривали. После поездок веселей голос. Неспешно и некрикливо он коллегии докладывал:

— Средства на курсы вот так можно отыскать...

И выходило правильно. Только всегда как-то забывали, кем нужный выход найден. За находчивость не Македонского, а друг друга члены коллегии хвалили. Но этого он и сам не замечал.

Примелькался и наробразовским. Меньше смеялись вслед. Храбрее стал. На губернском съезде заведующих отделами поразил всех. В первый раз на большом собрании внес предложение, которое единодушно было принято.

Все тяжелей шаг сурового тысяча девятьсот двадцатого года. Ощутительней дыханье недостач. А радостный, всегда справедливый, взбадривающий жизнь дух дерзаний только ширился. Планы, проекты, сметы.

На большом собрании ответственных работников обсуждался проект постройки в городе грандиозного рабочего дворца. Инженеры чертежи представляли. Понравился всем самый грандиозный. Здание в два раза больше университета Шанявского в Москве. Со многими техническими усовершенствованиями. С механическим выдвиганием и вдвиганием стульев в стенные ниши, с вращающейся сценой, с невиданной вентиляцией.

Македонский, как сказку, слушал. И, под наркозом ее, первый громко молвил, глядя на чертеж дворца:

— Еще бы повыше...

Разом все подтвердили:

— Выше, выше надо!

На этом собрании подошел к Македонскому новый человек. Высокий, кудлатый, с ясным взглядом голубых ребячливых глаз.

— Дочку я вашу знал. Здесь встречались.

Как подкинуло Македонского к нему. Расспрашивал, слушал сказанные когда-то Лизой слова. Будто с ней повидался.

С собрания вместе вышли. Оказалось, новый знакомый в губернском наробразе инструктор. Дорогой все проектом дворца восхищался.

Но Македонский уже угас. Грустно сказал:

— Средств не хватит.

Но потом, оживляясь, взбодрился:

— Все-таки мы удумали.

— Правильно! Вот это меня и влечет! Несем тяжелый крест искупления! Целой страной несем за старое подлое время! А миру бросаем великие идеи! Каемся, платимся!

Македонский смутился, не понял:

— В чем каяться? Какое искупление?

Но слушал восторженную речь охотно. Хоть и половины не понимал. По-своему разговор резюмировал:

— Поаккуратней работать надо.

Проект рабочего дворца остался недоконченным. Туши в городе не нашлось. Но с того вечера подружился Македонский с инструктором Яковлевым. Недоумения свои ему рассказывал. Даже на хутор к себе пригласил. Дорогой посетовал:

— Видать, вы человек правильный! Только в партийности у вас недохватка!

— Вам бы все припечатывать!

— Партийность — это не припечатка, а стремление, так сказать, души.

Помог ему один раз Яковлев. О необходимости самообразования горячо в партийных комитетах заговорили. Объявили на одном собрании Македонскому:

— Товарищ Македонский, подберите книжки, почитайте. Назначено вам доклад о первобытном коммунизме сделать.

Эх ты, вот тут заковыка! Книжки-то книжки, а как поймешь? Пошел с докукой к Яковлеву. Тот своими словами кое-что на бумажке записал. В книжке нужные места карандашом отчеркнул. Прочитать можно. Это умел. Грамоту хорошо одолел.

Но в ячейке все-таки оробел и, заикаясь, предупредил:

— Товарищ Яковлев, беспартийный то есть один, мне помогал. Я сам маленько недохватил.

Долго смеялись, но сделать доклад заставили. К удивлению многих, доклад получился не только живой, но и глубоко содержательный. Петеньке рассказывал Македонский:

— Прямо как лекцию отмахал! Теперь все усвоил! Вот я тебе сейчас все разъясню.

Яковлев в другой город уехал, но Македонский его не забывал:

— Вот спасибо человеку! Первобытный коммунизм со мной проштудировал.

Грозней, стремительней натиск дней. Тех, которых никто не сможет из памяти вытравить. Тех, о которых детям, еще не родившимся, учебники истории расскажут. Тех, что отпечатались надолго на всех российских городах, селах и деревнях.

Вокруг города и в городе было много борьбы, сражений, смерти.

В одну субботу уехал Александр Македонский на хутор и там застрял. Вспомнили о нем, только когда он пона-

добился. В коллегии разногласие вышло. Вспомнили, как часто в таких случаях Македонский умел находить выход, и позвонили на хутор. Ответили по телефону:

— Вечером скончался от сыпного тифа.

Перед тем как заболеть, неприятность у него была. От какого-то недоброжелателя поступил на Македонского донос, что он украл общественного попугая. С допросом приходили к нему на квартиру. Вечером Александр Евдокимович жаловался жене:

— Эх ты, замарали как! Очень унизительно.

И тут же уверенно добавил:

— Ничего, товарищи разберутся. И не в таких делах разбирались.

Но на другой день захворал. И уже не вставал. Доктор определил, что у больного тиф. Натруженное сердце не выдержало: Македонский скончался.

На кладбище провожали Александра Евдокимовича заводские огромной строгой толпой. Флаги склонили перед тихим, теперь затихшим совсем. Нескладную отрывистую речь пожилой рыжеватый рабочий говорил. Короткую:

— Так что, товарищи, правильный был человек! Работящий. Можно прямо сказать: себя окупил, не задарма на земле прожил!

1922

ПЕРЕГНОЙ

1

Про Ленина слухи разные ходили. Из немцев. Из русских, только немцами нанятый и в запечатанном вагоне в Россию доставленный для смуты. Бывший старшина волостной Жиганов очень этим интересовался, всегда из города новый слух привозил. Вчерашний день заполночь вернулся. А не утерпел: в земскую библиотеку в окно постучал. Испуганно к окошку от стола щуплый, низкорослый библиотекарь Сергей Петрович метнулся. С газетами все засиживался.

— Кто там? Что такое?

Жиганов вплотную к стеклу черную бороду свою придавил и сквозь двойную раму зычно крикнул:

— Сбежал! Не пугайтесь! Благополучно вам вечеровать! Из города сейчас. Сбежал!

— Здравствуйте, Алексей Иваныч! Кто сбежал?

— Ленин. Из банков все забрал! Вчистую. И скрылся. Погоня послана. Завтра все расскажу!

— Зайдите, Алексей Иваныч. Сейчас открою.

— Неколи. Дома ждут. Завтра все расскажу!

— Газеты привезли?

— Привез. Только старые, в них еще не пропечатано. По телеграмме... Ну, ты, упрямая холера, т-пр-у!

И в санях уже сам с собой проговорил:

— Не стоится! До дому охота, жрать охота! Сказано — скотина!

А назавтра слухи сникли. Обманули в городе: утром какой-то с «мандатой» приехал и непонятные слова на сходке читал: «Совнарком — исполкомам всех совдепов». Не уезжал Ленин.

Про Ленина разговор больше в Небесновке. Народ книжный в ней живет. Сектанты. Как из России сюда

пришли, хвалили. На небеса, говорят, попали. Так и прозвали Небесновка. Все сектанты для чтения священного писания грамоте обучены. От Тамбовки, хоть одно село Тамбовско-Небесновское, столбом с доской отгородились. И доска для грамотных. Белым по черному прописано: «Небесновка — мужского пола 495 человек, женского 581. Под самой доской почти крайний дом тамбовский, а народ разный. В Небесновке почище. В Тамбовке тоже, кто пообразованней и помоложе, о Ленине осведомлен, а бабы да старики про большевиков слыхали одно: войну кончают.

Старшина Жиганов из Небесновки был. Солдаты тамбовские сняли его с должности. А сейчас не разбери — бери какое правление. Солдат Софрон верховодит. На сходке к Жиганову прицепился:

— Эй ты, ботало молоканско! Каки слухи про нову власть распускаешь?

Немалого роста Софрон и плечистый, а жигановские глаза на него сверху черным блеском дразнятся. На голову выше Жиганов. И не робкий, но сметливый. Зря в драку не полезет.

— Чего, как петух на куру, наскакиваешь? Что в городе слыхал, то и рассказал. Мне брехали, и я брехал. Почем купил, потом и продаю.

Мужики уж дышат на них, сгрудились. Приезжий с мандатом чай пить ушел. Сход не расходился. Собрать из домов трудно, а как соберутся деревенские — не разгонишь. Не мало у них вопросов накопилось. Пока все выспросят, много часов пройдет.

За Жиганова наставник сектантский Кочеров вступился:

— Гражданин Софрон Артамонович, нехорошо этак на морду налезать! Алексей Иванович — человек с интересом. Узнал в городу — сообщение предоставил. А ежели заблуждение вышло...

Софрон — человек без резона. От тихой вразумительной речи Кочерова взбеленился, заорал зычно, на весь большой класс. В школе все сходы собирались.

— Товарищи! Граждане! Небесновка вся — кулаки! Сладко поют, им не верьте. Сейчас я вам слово скажу! Как я сам председатель этого митингу, слово скажу!

И сразу за стол, откуда речи говорились. Солдаты отпускные к нему подались. Солдатки и голытьба из-за оврага, где бедность осела, тоже за ним. Небесновские за купцом из Тамбовки Сычуговым было к дверям, да шепот жигановский им быстро передан был:

— Не расходитесь! Кочеров Софрону отчитку делать будет!

Кудрявый рыжий волос Софронов всегда торчком над головой, как сиянье. Борода тоже рыжая, и нет в ней степенности. Клочковатая, во все стороны. И в глазах строгости нет. Одна синь, в гневе темнеющая, но без свинца. Оттого нестрашная.

— Товарищи! Богатеи Небесновки нас сомущают. Мы на фронту кровь проливали, они — которы за богом прятались! Вера, дескать, не дозволят на войну идти! А сейчас им опять нашу кровь подавай! Котора власть за войну, эту им надо! Нашу не надо.

Гулом сход отозвался.

— Правильно! За богом-то сидючи, брюхо нагуляли!

— И наши на войне были! Одни добротолюбовцы отказывались!

— Мы каторги не боялись, на войну не шли!

— Теплоухов только-только с каторги вернулся...

— Дело говори! Это все слыхали!

— Теплоухов у них в каторге! А у наших руки, ноги оторваты! Это тебе как?

— Ни за што почиташь!

— Не шли бы и вы!

— Ах ты, пузо наливное! Земли-то в вечну награбастали! На семьи хватит, и на каторгу можно...

— Старались бы, так и у вас в вечну...

— Чего разговаривать! Бей их, толстомордых!

— Тише! Слово дайте сказать!

— Слобода слова...

— Говори, Софрон!

— Нечего говорить! Все слыхали!

Шум разрастался. Голоса свирепели.

Во всю грудь надсаживался Софрон, чтобы перекричать:

— Товарищи! Опосля посчитаемся! Этак не слыхать! По череду все скажем.

Жиганов всех успокаивал:

— Помолчить! Помолчить! Кочеров ему завертку сделат!

Стихли. В глухом, рассерженном, но затихающем ворчании ясный, густой голос Софрона заиграл:

— Товарищи! Вон эти ободранные, заовражные... Эти нам теперь товарищи! Мы, то есть, вам товарищи! А небесновские мужики богатые. Им все равно, чья земля. Им все равно, коли нас опять в окопы. Дарданеллов им надо!

Вот каки они! Они вас смущают — все, мол, от бога, от писания. Им ладно на бога-то уповать. Богатому легче войти в царство небесное. На земле жиром наливаются, а помрут...

Жиганов не выдержал. Зычным окриком из толпы:

— Клеплешь на священное писание! Там сказано: бедному легче войти в рай...

Софрон затряс кудлатой головой. Распалился. Яростно, громче прежнего, будто лбы разбить хотел, в толпу кричал:

— Недосмотр в писании вышел! Богатый человек богу угоден! Богатый мужик чистый, обходительный. С чего я псом кидаться стану, когда каждый передо мной шапку ломает? А бедному всяк по загривку. От этого в ем завсегда злость. Обязательно! Богатый с господами за ручку, всему обучен. А бедный-то и молитвы по-матерному вывернет, потому ничего не понимат! В писании сказано: не укради. Обязательно украдешь, как трескать нечего! В писании опять же: не убей. Обязательно убьешь!

Взревели небесновцы:

— Эт-та хорошо! Значит, крадь, убивай!

— Вот оно, ново-то ученье!

— По словам человека узнают!

— Слыхали, как большевики-то!

— Истинно, острожники у них коноводы!

Заовражные свое:

— Заткни хайло, толстопузый!

— Кого убили? Кого нашински убили?

— А следоват! Бей их, чертей вальяжных!

Старуха Митрофановна поняла: спор на веру перешел. Дребезжащим выкриком из толпы заовражинских:

— В православной церкви святы дары, а в ихнем, молоканском, что?

В шуме потонули слова. Задвигались руки, загудели, засипели, зазвенели разные голоса, все слилось в дикую музыку взметнувшегося рева.

Софрон сначала кулаком по столу стучал, потом табурет поднял. Сиденьем его по столу стал колотить. Затихли было, но прорвался надрывный выкрик Редькина:

— Наша власть! Будя! Они себя пообихаживали!

И опять гомон в толпе. Не стояли на месте. Надвигались друг на друга, грозили кулаками, толкали, теснились, давили. Близилось побоище.

Кочеров протискался к столу, отвел чей-то увесистый кулак сильной рукой и, выхватив у Софрона табурет, застучал им сильно и часто по столу. Небесновцы стихли.

Софрон своих унимал. Выделился мягкий, ласковый, приятный басок Кочерова:

— Братья! Злобствие для зверя оставлено, человеку надо миром и любовью.

Была в мягком голосе привычная властность, уверенность начетчика. Редькин плюнул и выругался в ответ. Остальные замолчали.

— В гневе у человека глаза не видят, уши не слышат. Зачем так-то? Зачем брат Софрон злобе дал себя оседлать? За веру свою от старого правительства большое наказание мы принимали. Из России сюда спасать свою веру унесли. В чужую землю пешком с семействами шли. В вечное владенье земли купили. А как? Этого вы, братья, не видали? Миром купили, всем миром! Не только что пóтом, — кровью наша землица полита. Да, да! Как старо правительство наших на каторгу гнало, вы тогда нас жалели. На войну у нас добротолюбовцы только не шли. А много ли их у нас? Мы, евангелические христиане, шли... У меня сын на военной службе. Мы с вами тяготу несем.

Голос, будто священным елеем смазанный, был ласков, проникновенен, умиротворял. Толпа сникла и сжалась. Только Софрон крякнул да Редькин больным, звенящим выкриком запротестовал:

— Книжники! На писанье насобачились...

На него прикрикнули, он смолк.

Ровно и убедительно говорил Кочеров. Будто капли успокоительные больному подносил.

— Насчет большевицкого учения мы не против. Войны мы не хотим, как в писании сказано — не убий. Бедного человека, по писанию, мы так же подымать должны. Но учение человеческое — не божье. Оно всегда с собой муть грехов наших несет. Отобрать да отдать — обида и зло. Нашу, к слову, землю как отбирать? Мы не подарком ее взяли. Все это надо обсудить в мире, в тишине, в спокойствии. Я поинтересовался насчет большевицкого учения, в город съездил. Разузнал, что главный их учитель был Карла Марксов. Ха-а-ра-шо. Был он человек нерусский, записал по-иностранному свое учение. Вот узнать бы досконально подлинность Карлом Марксовым прописанного. Русский народ — он у нас скоро уверяющий. Как нам подали, так мы и глотаем. Разбору нет у нас в привычке. Насчет образования, касательно иностранных языков — слаб. Если к иностранному несумнительно допустить — Ленин чего приписал, как узнать? Надо иностранные языки уразуметь и Карло Марксово писание с русским сверить. Вот тогда можно: пролетарии всех стран!

В таком деле, как политика, без доскональности невозможно. На уразуменье время надо, верных людей надо, тишину и мир надо. А как очертя голову в новый хомут лезть...

Болью подлинной вытолкнуло из тишины свистящий выкрик Редькина:

— Заливат! Товарищи, глаза вам молоканский начетчик отводит.

Сразу Кочерова оборвал. Запнулся на слове от неожиданности.

Софрон крепко, зло и властно крикнул:

— Будя! Напустил туману! Мы едак не умеем! Товарищи! За землю держится! В ее вцепился, нас обхаживат. Будя!

Опять многоголосый крик:

— Верно! Правильно! Обхаживат! Заткни глотку!

— Охальники! От слова доброго отвыкли.

— Пущай говорит Ефим Кочеров!

— Правильна изъяснял!

— Дербалызни его по затылку-то, забудет, как изъяснять!

— Софрон, твое слово! Ты по-нашински!

Но на стол Редькин забрался.

Худой, нескладный, с воспаленным взглядом злых черных глаз, с яркими пятнами на скулах, он бил себя кулаком по впалой груди и хрипел со свистом:

— У меня девять ртов! Мои ребята, хучь малые, своими бы зубами землю выборонили. И игде она? Игде у меня земля? Ну, игде? Мово брата на войне убили. А игде у его семейства земля? А этот брат Андрей, вам известно, в сектанты передался. Кочеров его накормил? Землю дал? Как не так! В работниках гнулся. Сын у Кочерова взят! В портных сидит, в спокое! Ему, Кочерову-то Ефиму, сколько добра привез, как на побывке был. А он нам заливает! Кабы у мене достаток!

Выкрикнул, закашлялся, сгусток крови в руку выхаркнул, махнул рукой и слез с трудом со стола.

Софрон мигом на его месте вырос. Лицо у него побелело, глаза будто чернью подернулись, и в первый раз строгим взгляд стал.

— Товарищи! Нечо долго разговаривать! Мы не начетчики, не умем. Айда, вот что сделаем: записывайся всем миром в большевицкую партию. Больше нам делать нечего! Эй, Митроха, писарь, айда, записывай!

Заколыхались, встрепенулись, закричали вразброд.

— Вот так командир!

— Припечатай еще! Антихрист завсегда с печатью.
— Каин тоже меченый!
— Записываться! Правильно!
— Записываться! Записываться!
Софрон старался перекричать всех:
— Скопом, миром за себя постоим! Они нас одурить хочут! Эй, беднота, заовражнински, двигайся! Которы не запишутся, нет им земли!
— Правильно! Не хотят с народом, как дурну траву из поля вон!
— Айда, вываливай, которы не наши!
— Митроха, записывай!
Семнадцатилетний смешливый белобрысый Митроха, закрывая рот рукой, пробрался к столу. Мигом перед ним очутился лист серой бумаги.
Но крикнул библиотекарь:
— Товарищи, граждане! Слова прошу.
Все время бурного схода он простоял в кучке у окна. Там были учительницы, священник и он. Все они давно шептались, но в передрягу не ввязывались. Шум в глубине класса не стих, но у стола замолчали.
— Так, граждане, нельзя! В политическую партию так не вступают!
Софрон вцепился ему в узкое плечо:
— Ты с нами не запишешься? Говори — ты не согласен?
Библиотекарь голову в плечо втянул, еще меньше стал, но ответил твердо:
— Нет! Вы сами не понимаете, куда лезете!
— А, так. Ладно. Не понимам? А этаких понимающих — нам не надо! Пошел вон к своим богачам!
Неожиданным взмахом руки Софрон схватил его сзади за воротник и пинком толкнул в толпу. Библиотекарь не упал только потому, что ткнулся головой в грудь рослого старика.
Повернув к Софрону бледное, перекошенное обидой лицо, он взвизгнул по-детски:
— Насильник!
Заовражинские на него кинулись, но стеной закрыли его небесновцы. И Софрон новым криком остановил:
— Опосля сосчитамся! Подходи записываться! Кто не запишется, сосчитамся. Узнам, которы наши!
Небесновцы завопили.
Но Митроха уж записывал:
— Крученых Павел с семейством...
У стола теснились желавшие записаться.

Кочеров рукой махнул и пошел к выходу. Небесновцы почти все за ним вышли. Остались только пятеро.

У стола гулом стояло:

— Софрон, а Софрон, бабу отдельно записывать, ай с собой?

— Баб для счету отдельно. Теперь для их права вышли! Ребятишек не записывай.

— Ой! А как на их земли не дадут?

Солдатка Ульяна к Софрону кинулась:

— Каки права для баб вышли?

В толпе засмеялись. Митроха из-за стола звонко крикнул:

— Айда, записывайся!

Взъерошенный, как нахохлившийся воробей, низенький Артамон Пегих солдатку оттолкнул.

— Записали, и не таранти! Сказано, для счету!

Оживший Софрон будто вырос. Глазами опять радостно сиял и, поворачиваясь во все стороны, объяснения давал.

Через два часа он передавал на въезжей квартире оратору из города лист.

— Вот тут сто пятьдесят восемь человек записались. В большевики. Передайте список, а нам документ пущай вышлют, что есть мы теперь большевицка партия.

— Да как это так? Вот успех! Поразительно! Что значит вовремя приехать. Спасибо, товарищ! С радостью передам! Скоро еще приеду. Вы, товарищ, фронтовик?

Софрон охотно и радостно рассказал о своей солдатчине, о ранении, об отпуске домой, о том, как в армии о большевиках узнал. Ему хотелось говорить о себе подробно и долго, но приезжий оратор засуетился, собираться стал, и Софрон вышел.

Хрустящий снег под ногой, далекое, молчаливое, будто застывшее небо, отголоски разговоров еще не заснувшей улицы, обрывки частушки — все будоражило Софрона, поднимало новое чувство торжества и тревоги. Будто на войне отряд вывел.

По сделанному им распоряжению в этот час подъехал Артамон Пегих к библиотеке, разбудил библиотекаря и объяснил:

— Укладывайся! В город тебя сейчас повезу.

— Как в город? Зачем?

— Сход приказал. Нам эдакого не надо! Айда, укладайся.

— Да я не хочу ехать! Это насилье!

— Не поедешь, Софрона разбужу. Приказано.

Отплевываясь и ругаясь, библиотекарь начал связывать свои вещи. Обида жгла лицо румянцем. Софрон, всегда презираемый в былые дни! Он один с ним возился. Отмечал, ценил его тягу к книге, а теперь вернулся с фронта командиром! Вынырнул новый, темный, злой. Другим хмелем хмельной. Д-да! Пожалуй, правда, пропала Россия.

Когда в последний раз вошел в библиотеку, чтобы посмотреть, не забыл ли чего, вспомнил:

— А ключи кому?

— Софрон сказал, ему завезти.

— Ну ладно. Ему так ему! Поедем.

А Софрон стоял уже у подводы, около библиотеки. Когда подошел библиотекарь, он протянул ему зажатую в кулак руку.

— Накось.

— Что это такое? А?

— Трешница! Тебе от меня. Так что много довольны. Никогда не обижал. Возьми-кось, там, в городу, пригодится!

Из-под нахохленных рыжих бровей застенчиво блеснувший свет и мягкую пугливую улыбку вместе с трешницей принял с екнувшим сердцем библиотекарь. Не сумел отказаться.

2

На трех китах стоит земля, говорили старики. Одного, видно, вытащили из-под нее. Зыбкая стала. Ни в чем нет твердости и нерушимости. А с году девятьсот семнадцатого ходуном заходила деревня. Не стало в ней крепкой приверженности к своему исконному, деревенскому. Была раньше жизнь подневольная, трудная, но истовая и мерная, многими поколениями позади утвержденная. Когда разрывалось тихое течение дней пьяными драками, боями на улицах, пожарами, смертями, то и самые тревоги эти были старыми, понятными. Хмель и драка на праздниках во всем буйстве и дикости их были привычны и не страшны. Играет ведь река в половодье, грозит и крушит, потом уляжется спокойная, мирная поилица. Теперь не то.

Все это передумал не раз и не два Кочеров. И только в этих думах узнал, что бывает всему в жизни препона. Не осилишь! А познав бессилие, познал и сам непреоборимую злобу, бешеной хваткой терзающую человека. Глядеть не мог на Софрона: на другую сторону улицы переходил, когда встречались. Один раз Софрон приметил,

что избегает его Кочеров. Оскалил белые зубы и заорал на всю улицу:

— Эй, молоканский поп! Что в землю буркалы-то упираешь? С небом, видно, разлучку сделал? Правильно!

Нехорошо, мутно Кочеров на Софрона взглянул; ответил без крику. Только голос не был по-всегдашнему ровен. Осекался.

— Остановите ваши неприличия, гражданин Софрон Артамонович! Вы теперь на виду, не подобает по-прежнему озоровать. Как бывалыча в пьяном виде.

Весь яд, затаенный в намеке на прошлое Софроново, выцедил и, взбодрив голову, прошел плотный, степенный и видом благожелательным всякому приятный. Только рубашка горячей стала. Сердце в гневе сразу всего разогрело. Заходили гневные мысли в голове:

«Неразумные слова, как лай бестолковый собачий. Прошел спокойно и не слыхал! Кабы только слова! Нет, ведь власть таким вот теперь дана, горлопанам. Самая что ни на есть дурнота наверху кружится.

Пьянчуга Софрон. Земли у него не хватало! Какой есть клок, и тот ребятишки старшие да бабы засевали. А он никогда старанья крестьянского не имел. Чужаком был Редькин, у которого все внутри сгнило, потому что всю силищу растаскал по новым местам: все искал, где лучше. И другие все такие же искатели. Затерялись среди них трое богатых солдат небесновских. Их и не слыхать. Софроновцы-оборванцы над здоровым, хозяйственным, правильным за начальство поставлены. И там-то, в столицах, тоже, по газетам видать, порядку нет. Э-эх, Россия!»

Не видел, как и домой в думах дошел. А дома опять новость. Красивая, рослая жена, в сорок лет молодым румянцем приманчивая, в слезах его на дворе встретила.

— Приказ тебе из волости от Софрону... Ты, Жиганов, Глебов да еще каки-то, уж не дослушала, в десятски наряжены. Айдате по дворам народ на сходку сзывать.

Сразу понял: для насмешки. Всегда в десятских самая рвань ходила. Мальчишек из школы тоже наряжали. А теперь Софрон измывается: самых уважаемых, богатых из Небесновки выбрал.

— Кто приказ передал?

— Артамон Пегих. Да в избе он. Поди спроси сам.

Оттого, что на стуле и не в кухне, а в горнице сидел и дымил вонючей махоркой взъерошенный Артамон Пегих, горница хуже стала. Золотые буквы изречений евангельских и наставлений учителей, что на стенах в рамках под стеклами висели вместо икон, казалось, потускнели. На

крашеном лоснящемся полу от огромных заплатанных валенок лепешки талого снега и грязь. Занавески городские и вязаные скатерти на столах в дыму потонули. Сурово сдвинул Кочеров брови, снимая шапку.

— Брат Артамон, табачное зелье почитаю для человека вредным и богу неугодным. Пристав, когда заезжал, тут не куривал. Упреждаю вас обстоятельно: прекратите табакокурение!

Артамон шмыгнул носом, плюнул на папироску и кинул на пол.

— Что же, кады вера ваша молоканска така! Брошу. А вот как вы полагаете, иконов не надо, а эти вот в рамках, этта почему? Опять же табаку не надо, а с бабой спишь? В ей греху-то боле. Староверы, энти которы...

— Не время, брат Артамон, нам сейчас об вере разговоры рассуждать! Свою-то забыли вы. Како дело до чужой? За делом за каким ко мне ай как?

— Ы-ы-х ты, какой спесивый! Не вашего, дескать, уму дело!

Вдруг взъерошился и громким, звенящим голосом на всю комнату:

— Врешь, нашего! Под вашим задом сидели, свету не видали! Теперь обязан ты все рассказать? Обязан. И я желаю знать, чо к чему. Рассказывай про свою веру!

— Не кричи, брат Артамон. Господу злоба неугодна, и я в грех с тобой входить не стану. Зачем прислан?

Сам прозеленел весь и пальцы в кулак, а держится, не кидается. Только в глазах уже сладости нет. Кровью налились.

— Нужон ты мне с разговорами! Так я, поучить. За брюхом за твоим прислан, вот зачем. Иди-ка потряси его! С батожком под окнами походи: на митингу, мол, товарищи. Вот зачем!

— Софронова выдумка?

Дух с хрипом перевел. Артамон удивленно-восторженно головой затряс:

— Вон чо, аж вздохом подавился. Ну, ну... Во каки! Срамотно мир извещать, под окошками ходить. А мы ходим, ничо. Много спеси, много у богатого! Пойдешь ли, что ли? Жиганов не пошел. В исполком уволокли. В холодной сидит за ослушание. Тебя как понимать? Тоже в холодну?

Все забыл Кочеров. Хватил стулом об пол так, что разлетелся на части.

— Пшел вон, пакость!

Артамон от неожиданности мигом в дверь, согнувшись,

выкатился. Но оповещать о сходке Небесновку Кочеров пошел. Степенной обычной своей походкой шел по улице, только на лице смиренье и страданье изобразил. Медлительно, кротко батожком в окна постукивал.

— Граждане! Братья! На сход пожалуйте.

За ним по всей улице шепот смущенный и возмущенный:

— Кочеров под окнами ходит!

— Ну, Софрон! Экого растряс!

— Ат, хулиганы! Измываются!

— Христос терпел и нам велел.

Опостылели сходы, но шли. Опасались дома оставаться. Ждали решенья насчет земли, хозяйства. Но приходили уже к распре готовые. Каждый своим еще дома возбуждался. И до начала схода стоял гул спора, препирательств. Нередко были драки. Сегодня взволновало сообщение об аресте Жиганова. Толпились в сенях около запертой на замок клетушки с оконцем. Под замком сидел Жиганов. Около двери молодой парень с винтовкой стоял. Небесновцы старались словом перекинуться. В дыру оконца кричали:

— Алексей Иваныч, потерпи!

— Одежду-то баба прислала ли?

Парень караульный отгонял:

— Не подходь к арестованному! Нельзя! Подале! Подале!

Редькин мимо прошел, лицо улыбкой непривычной перекосил.

— Других долго саживал. Сам, старшина, посиди!

Сход начался по новому порядку, который Софрон с солдатами установил. Пеньем... Запели «Вставай, проклятьем заклейменный». Шапки все поснимали, но пели только Софрон, солдаты отпускные да ребятишки, везде поспевающие. Несмотря на увесистые подзатыльники и цыканья, всегда на сходах терлись. И самой большой угрозой старикам было их неверное, ломкое, но всегда радостное пенье... Мужики постарше, даже из буйных заовражинских, пенья этого стыдились. Головы в тулупы прятали. Нехорошо. На селе зубоскалы дразнятся:

— Как есть чертова обедня! «Проклятому» молитву поют.

Небесновцы все светские песни бесовским игрищем считали. Пели только свои псалмы на голос песенный. Оттого их хмурое молчанье было привычным.

Нынче Софрон праздничный, радостный. Изнутри в глаза бьют свет и ласка. Оттого и зорок и чуток. Как спели, без ругани, по-доброму сказал:

— Пошто стеснились, старики? Голосу в песню не даете?
Отозвался смущенно Артамон Пегих:
— Ладно уж! Свое отпели. Молодых послухам!
Софрон весь в его сторону подался, трепетный и радостный.
— Товарищ Артамон Петрович, как мы, партийные, понимать должны. Песня эта для пролетарию складена. Интернационал, значит: всякий, который неимущий, крестьянин ли, иль другой кто, — все вместях. Понимаешь? И как раньше нас проклятыми называли, мы им для ответу! Покажем, дескать, как мы прокляты! Понимаешь?
Софрон старался, объяснял Артамону. А тот подальше подался и совсем сникшим голосом сказал:
— Сумнительно. Слово черное, а промежду прочим, дозволяем. Все одно уж...
Фронтовик Семен Головин вступился:
— А что касательно слову «интернационал»... Это слово большевицкое. Большевицкий язык трудный, но ежели в корень дела взглянуть, обстоятельный. Хлесткий!
Артамон Пегих деловито, без улыбки подтвердил:
— Куды хлеще!
Небесновцы засмеялись.
Но Кочеров, мучась нетерпением, не выдержал, крикнул из толпы:
— Довольно бы, братья, обученья-то этого! Дело разобрать надо. Зачем скликали народ?
Толпа задвигалась, загудела:
— Дело... Дело изъясняй!
Всегда мучимый болью Редькин надрывно прокричал:
— А это не дело? Слова новые надо понимать. Штоб не омманули, на старое не свели.
И крик его был близок и понятен многим из софроновской партии. Приняли новизну. Отшиблись от своих учителей стариков. Городу передались, а исконного недоверья к нему еще не изжили.
Вдруг толпа закачалась, раздвинулась в удивлении.
Пятнадцать человек фронтовиков и молодых безусых парней с винтовками за плечами пробрались к столу. Сразу тихо стало. И четко, торжественно прозвучали слова Софрона:
— Революционная охрана!
Минутное жуткое молчание толпы подчеркнуло для всех: наступает новый час. Борьба здесь вот, в своей деревне. Оттого твердый, спокойный голос Софрона отозвался, как бранный клич:
— Вся земля в волости общая. Мир — хозяин. Отдель-

ных хозяев нету. Разобьем на участки. Всех людей в нашей Тамбовско-Небесновской, по-теперешнему Интернациональной, волости тоже разобьем на коммуны. Каждой коммуне по участку. Миром сеять и убирать... Кто в коммуны не желат, пущай на печи лежит. Ни хлеба, ни сена не дадим!

Вздох или стон в толпе, и опять миг молчания, потом дрогнувший голос Артамонов:

— А машины как?

В годы войны по всем деревням затосковали по машине. Увидали, как справлялись легко богатые с ее помощью. Наслушались от военнопленных о царствах, где машины кормят и спине передышку дают. Но купить их могли только многоземельные, сильные. Разом подхватили Артамонов вопрос:

— Машины... Машины как?

— Из городу дадут?

Софрон опять твердо и победно:

— Приказ есть. Все машины у хозяев реквизировать! Мало ль у нас богатеев? По коммунам разделим.

Радостное, тревожное, протестующее в гуле. Неподвижные, хмурые мужики с винтовками у стола. Волной толпа к столу, но через миг сникла, от стола подалась. Будто спрятаться хотела.

Только Кочеров, забыв всякую осторожность, не своим резким, крикливым голосом прямо с места заговорил:

— Это грабежу подобно! Небесновцы миром землю покупали. Последнюю лапотину за ее отдавали! У господ отбирать ладно! А мы как трудящие! Над трудящими изгаляетесь? Свово брата-мужика зорите? Небесновцы допрежь вас коммуной жили. Сообча землю покупали. Всей небесновской обчиной. Грабители вы, а не устроители! Свово́ брата-мужика!

Закричали многоголосо:

— Верно говорит!

— Не дадим!

— Потом, кровью наживали!

Разобрать слов уже нельзя стало. Все слилось в одно грозное: а-а-а-а!.. Но торжествующий крик Софрона все услышали:

— Силой отберем!

Если б не «революционная охрана», разорвали бы Софрона. Двинулись небесновцы к столу, а парни ружья наизготовку, сзади заовражинские и тамбовские мужики с грозным ревом. Кочеров зубами заскрипел, но понял: да, сегодня сила Софронова. Гурьбой, будто сговорившись, многоземельные повалили к выходу.

Оставшимся в школе Софрон горячо объяснял:

— Брешут небесновцы, что их неправильно. «И у нас тоже коммуна!» Брешут. Что ни дом, то разна секта. Богато свово на клочки разорвали. Добротолюбовцы, субботники, баптисты, евангельски хрестьяне. Грызутся, как собаки. Теперь заодно, как за свой кус испугались. «Землю всем обчеством покупали!» А разделили как? Кто сколь денег дал! Маломочны, так и есть маломочны! А у Жиганова четыреста десятин. У Кочерова триста пятьдесят. «Трудящие»! Пуза-то не больно натрудили! Все за работниками да за батраками живут! Кочеров-то за попа галдит да портняжит с подмастерьями и не нюхат землю-то! Жиганов на нас сидел! Пертрясем! Всех пертрясем! Нашего дню дождались!

Среди оставшихся была половина Небесновки. В первый раз властное требование земли и хлеба слило вместе «православных» и «молокан».

Расходились опять за полночь. Софрон дольше всех в школе топтался. Охрану отпустил. Большебородый фронтовик остерегал:

— Изобьют на улице!

Но Софрон успокоил:

— Седни не тронут! Напужались!

А сам в нетерпенье крутился по классу, ждал, когда уйдут. Как надеялся, так и вышло. Ушли все, и открылась дверь в коридоре. Выглянуло тонкое белое личико.

— Разошлись?

— Ушли, Антонина Николаевна! А вы чо не спите?

И в дрогнувшем голосе софроновом большая благоговейная радость. Непрошенно, нежданно вошла в душу эта чистенькая барышня из города: учительница. Как в исполкоме главным заделался, захаживать по делам стала. Разговор о деле, а улыбка такая домашняя, греющая. Бегали раньше кое-какие учительницы к старшине и станового привечали. Эта к новому начальству под крыло. Знал, а совладать с собой не мог. Каждому человеку праздника хочется. Бабы деревенские с жирными, тягучими голосами, с красными загрубелыми руками и грубыми тяжелыми словами — будни. Привычные, постоянные, надоевшие будни. Раньше, когда читал книги, очень любил Софрон писателя Дюма. Так не похоже было все в его книгах на Софронову жизнь. Оттого прекрасно и недосягаемо. А рассказы о крестьянах и рабочих читал только для того, чтобы уважить библиотекаря Сергея Петровича. Софрон признавал эти книги необходимыми только для богатых. «Им черного хлебушка охота, белый надоел. А нам белень-

кого хоть кусочек. Заместо пряника к празднику!» Таким пряником праздничным, никогда не пробованным, была Антонина Николаевна. Раньше водку пил, чтобы в пьяных мечтах не видеть настоящего. Теперь буйным хмелем напоила революция. Водки не требовалось. Мечта одолевала: все праздничное, неизведанное теперь будет. Был Софрон от плоти и кости деревни, но не старой, кряжистой, а новой, встряхнутой, идущей вперед. Оттого над ним мечта большую силу взяла. Софрон от книги заразу любви воспринял. Антонина Николаевна для него дурманным, расслабляющим соблазном пришла. Не мог с собой совладать. Тянулся к ней.

— Ну что же, посидим еще. Поговорим немного. Сторожа уже спят?

— Не видать что-то. Стало, спят.

Легкая, вспрыгнула на стол и ножками тоненькими, но крепкими, в тугих черных чулках, заболтала.

Думал, до боли в сердце, нежно:

«Пташечка... Касатушка...»

Сказать не мог бы вслух. Мял в руках папаху. Стоял среди класса смешной, взъерошенный, с растерянной улыбкой. И то, что к себе в комнату не пускала, остерегалась, и то, что близко не подходила, только глазами ласку посылала, не сердило, а умиляло.

«Беляночка... голубушка...»

А она скрыла легкой гримасой позевоту и спросила:

— Ну, как приняли новость? Кричали очень. А я за вас боялась.

Ведь все понимает, хоть женского пола. Слова такие легкие, к месту всегда. Так охота говорить с ней. Все бы рассказал, а язык во рту, как бревно. Слова неудачные вылезают, нескладные. И еще комкает их огромная застенчивая нежность.

А она одобряла:

— Вы совершенно правильно рассуждали: земля не может быть чьей-нибудь собственностью.

Поднимала для внушительности тонкие круглые бровки. Говорила залетевшие в уши чужие слова, но так уверенно и свободно, будто свое, передуманное.

Антонину Николаевну занимала и услаждала власть над новым волостным воеводой. Понимала, что его в уезде держит только благоговейная вера в особую чистоту ее. Это было ново, смешно и радостно. Ножками играла, возбуждала, а кротким, чистым голосом и взглядом невинным предостерегала. Жутко было при мысли — чем кончится? Поцеловать его не могла бы! Нескладный рассказ Соф-

ронов оборвался. Почуяла: опасно затягивать частые паузы в их разговорах наедине. Спрыгнула со стола.

— Поздно уж. Вы утомились сегодня.

Под окном на улице заскрипел под ногами снег. Кто-то осторожно карабкался на подоконник. Насторожилась и лицо сделала строгое, а сама пугливо поежилась.

— Подглядывают. Нехорошо говорить будут. Заходите завтра днем чай пить. Сама вам песочник состряпаю!

И ручку издали протянула. Э-эх! Какая сила в бабе бывает!

Зацеловал бы, а боится. Глядит, как на солнышко. Только взглядом всю выпил и руку до боли сжал. Каждый день видятся. И всегда вот так: в сторонке держит.

Когда вышел, видел: от крыльца метнулись к амбару две черные фигуры... Насторожился, вынул из кармана револьвер и выстрелил вверх. Испугало только тревожное «ах» за дверью. Крикнул туда молодо, радостно:

— Не сумлевайтесь!

И пошел по мертвой белой улице, которую будили, но не оживляли шалые взвизги собачьего лая. Два ряда темных, живое дыхание затаивших домов были печальны и предостерегали, как угроза. А душа не боялась, ликовала.

Оттого, что руки были настороже у револьвера, оттого, что в своей деревне в первый раз шел с опаской, росла и ширилась горделивая смелость. Оттого, что думал о желанной, ни на кого не похожей, по-весеннему шумело в голове.

3

Совсем мало спать стал Софрон. Такая радостная, бурливая полоса пришла, что страшно спать. Неохота спать. Жизнь расцветилась, заиграла перед ним, тридцатилетним. Стал как парень молодой. Все хватал, ловил, тормошился. В городе забирал дерзкие приказы. Узнавал короткие, тревожные и смятенные, как набат, слова.

В селе кричал: Советская власть! Смотрел, упоенный, торжествующий, как учатся сгибаться перед низко в жизни поставленными непривычные к поклону спины. Но в торжестве, для самого себя незаметно, впивал яд командирства. Не замечал, как в деловых распоряжениях, в снисходительных шутках со своими товарищами иногда разговаривал свысока.

Для Антонины Николаевны мужицкую одежду переменил на городскую. Словца городские обходительные усвоил.

В городе Софрона уже выделяли. Одну его речь даже в газете, подправив и сгладив, напечатали. Газету Антонине Николаевне трепетно подсунул. Думал, обрадуется. Но она только ласково протянула.

— Ах, ваша речь здесь. Очень интересно! Вечером почитаю.

И больше о газете ни слова. Неужели забыла? Ведь для Софрона эта газета, как грамота жалованная. По ночам просыпался, огонь зажигал, ее перечитывал. И казались напечатанные слова большими, крепкими. Читал их вслух внушительным шепотом. Вырастал будто, в них вслушиваясь. Неужели забыла?

Из именья господина Покровского уездный совет передал Интернациональной волости большую библиотеку и часть обстановки барского дома, которую не успели растащить. Софрон сам сопровождал от завода до села возы с книгами и мебелью. Всю обстановку в библиотеку приказал доставить. Новый дом для библиотеки определил. Верх в доме Жиганова. Дом большой, двухэтажный был. Жиганова в нижний этаж выселил. Жиганов не сопротивлялся, но в неделю одежда на нем обвисла, и взгляд волчий стал. Сам Софрон установкой шкафов и мебели руководил. Надеялся Антонину Николаевну в библиотекарши определить. Смотреть сбежались со всего села. Даже хмурые небесновцы пожаловали.

Потное лицо Софрона сияло, глаза искрились, когда помогал по лестнице пианино втаскивать.

— Заиграм теперь на городской музыке! А тя-же-лен-ная, почеши ее черт! Товарищ Кочеров, подпоешь под музыку?

У Кочерова в лице давно уже румянцу не стало. А тут покраснел и сердито пробурчал:

— Не по нам плясы, гармони да матани городски. Это вы уж для всей волости, Софрон Артамоныч, первый гармонист. Забавляйтесь.

Софрон намек понял, но только сплюнул. Не огрызнулся. Когда пианино втащили, Митроха-писаренок сразу пальцем попробовал. Потом ладное что-то подобрал. Кочеров вздохнул:

— Все бесовски утехи! Гвоздей бы лучше на деревню дали.

Когда стали разбирать картины, Софрон сам смутился. Голых баб много.

Артамон Пегих пальцем в одну ткнул:

— Все как есть! Соблазн! Это для господского распалу, а нам ни к чему. У своей бабы видали.

Небесновцы плевались. Софрон распорядился:

— Сожечь!

Кочеров вздохнул:

— Сжигай не сжигай, все одно разблудился народ!

Книжки были в дорогих красивых переплетах. Долго гладили и щупали их тугими, негнущимися пальцами. Такие в руках держали первый раз.

Артамон Пегих опять головой покачал:

— Не для мужицких рук. Засусолим! А чтение-то какое в них?

Кочеров открыл том Пушкина на «Русалке». В глаза бросилась картинка — опять голые. Сердито бросил на стол книжку.

— Непристойность одна!

Но Митроха-писаренок живо со стола подхватил.

— Э... Лександр Сергеевич Пушкин! В школе учили. — И уткнулся в книжку. Потом вдруг закричал. — А занятно про самозванца тут!

Зачитал вслух. Скоро могучий хохот бородатых, пожилых мужиков покрыл чтение Митрохи. Очень понравилась сцена в корчме. Небесновцы ворчали, но подвигались поближе, будто ненароком. Хотелось слушать.

Кочеров возмутился:

— Братья, светско чтенье для греха, для пустой забавы! Одна для нас книга — библия. Можно когда и для пользительных сведений что почитать. А эту забаву прекратить бы. Не по нам!

Софрон торопливо стал перебирать книги.

— Всякие есть, всякие. Вот тут и по землепашеству есть. А энту тоже сожечь!

Артамон Пегих спросил:

— А про божественно есть што? Про божественно люблю.

Кочеров зло и презрительно хихикнул:

— В большевицку партию записался, а про божественно запросил. Они про бога-то как сказывают?

Неожиданно со стола лохматую седую голову поднял Иван Лутохин, небесновский сектант. Пророком звали. Всегда по священному писанию предсказания делал. Глухо и торжественно его голос зазвучал.

— По библии, по священной книге нашей, большевики поступают. В руках у бога все поступки их и по бога велению. Написано у пророка Исаии: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю так, что другим не остается места, как будто вы один поселены на земле. В уши мои сказал господь Саваоф: многочис-

ленные дома эти будут пусты, большие и красивые — без жителей... И будут пастись овцы по своей воле, чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых».

Как все сектанты, он целые страницы библии знал наизусть.

Кочеров, как громом оглушенный, выкатил глаза и руками в стороны развел, будто увидел свои руки пустыми, а свое оружие в руках врагов. Потом опомнился и яростно рявкнул:

— Ложь! Суесловие! Осуждат священно писанье поступки, дела и слова ваши. Осуждат. Гибель им предрешат. Сказано про конец про ваш у того пророка Исаии: «Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнятной речью, с языком странным, непонятным». Это про вас сказано! Про слова большевицки. Разнесет вас господь...

Но была ярость Кочерова больше от гордыни, чем от боли. Потому горели одни слова Ивана Лутохина, а кочеровские сказались исгасли.

Артамон Пегих тоже, с дрожью в голосе, в спор вступил:

— Большевики по-божески хочут!

И многие из софроновской партии сбились у стола торжествуя. Рушить старое хотели, но еще привычно обогревало небесное покровительство. Вековым пластом налегла темная вера. И, как от стены глухой, горячие Софроновы слова отлетели:

— Попы на нашей темноте наживались! Правильно поем: «Никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и не герой».

Артамон Пегих головой затряс:

— Про бога выбросить из песни! Не желаем без богу!

Фронтовики загалдели. Семен Головин махал руками, буйно кричал:

— А нам твово богу не надо! Кому помогал? Богородица в девках родила.

Увесистым, сильным ударом отшиб его к стенке плечистый сумрачный сектант. Головин с наскоку бросился на него и начал душить. Софрон разнимать кинулся. Ворочались на полу трое пыхтящим клубом. Ревом нестройным, бестолковым гудела над ними толпа. Визжала забежавшая на шум снизу баба:

— Задушили! Стриганова задушили!

Митроха-писаренок тоже разнимать кинулся. Его сзади Жиганов за шиворот схватил. Вцепились и в Жиганова.

Скоро мужицкая рукопашная разгорелась вовсю. Стекла от шуму звенели. Ломали стулья, топтали тяжелыми сапогами дорогие переплеты упавших книг. И в драке

кричали дико и зычно про веру, про бога. Прибежали бабы за своими мужиками, царапались, ловили за ноги, пронзительно визжали. Только когда избитому, в разорванной одежде Софрону удалось выбраться к двери, он послал верхового за охраной.

Сцепившихся в драке разливали водой, били прикладами и выгоняли из библиотеки. Семену Головину отшибли что-то внутри. Остался лежать на полу, большой, замолкший. По серому усу из поблекших губ текла тонкой струйкой кровь. А на лице — ни страха, ни боли, — удивленье застыло. Тонко, с причитаньем бабьим проголосным у ног его плакала жена.

Жиганов, уходя, зловеще и хрипло бросил Софрону:

— Вот эдак и тебя разутюжат.

Кочеров печально покачал головой:

— Темнота!

И тоже ушел. Софрон с оторванной полой по-городскому сшитого френча, с налитыми кровью глазами ругался, размахивал руками. Зол был на себя, что револьвер не взял. «Не приучили еще ходить с ним. Тоже, солдат!»

Наутро приехал из другого села фельдшер, написал удостоверение о смерти Семена Головина. В тот же день хоронили. Богатые, почетные жители галдели:

— Хоронить без погребения! Богохульники!

Старик Головин в ногах валялся:

— Мир честной, сымите грех с души! Пустите сына до бога!

Смилостивились. Послали за попом. Старенький совсем, в село неслышный иеромонах вместо сбежавшего попа был дня за два только до побоища в село прислан. Он отпел Головина.

Когда гроб несли на кладбище, Артамон Пегих и Степан Гладких с дровами навстречу ехали. Артамон остановил лошадь, снял шапку и, кивнув на покойника, спокойно и ласково сказал:

— Домой поехал!

И во взгляде его, проводившем гроб, не было ни жалости, ни страха. Впитал за долгие годы единой с природой жизни: «Земля еси и в землю отыдеши».

Жена Семена Головина на кладбище заунывно причитала. А вернувшись домой, вытерла слезы, надела будничную одежду и сказала свекру:

— Айда, что ль, в хлеву убирать!

И ни одной самой мелкой работы в этот день не забыла, не перепутала. А вечером пришла к Софрону спрашивать:

— За мужика выдадут како способие аль как?

Была она за Семена взята из Небесновки. Грамоте сектантами обучена, считать хорошо могла и хлопотать за себя сама умела. Долго и упорно с Софроном торговалась. Только ночью, все управив, в глухой, темной тоске залила едкими слезами засаленную подушку. Молодой был мужик-то и желанный. Опять же дети сиротами остались.

От Небесновки выборные к Софрону приходили.

— Нельзя ли дело об убийстве Семена Головина затаить? Для богу старались! Ненароком до смерти-то!

Но Софрон распалился еще из-за того, что и его синяками украсили.

Распорядился, и увезли сумрачного сектанта, начавшего драку, и еще трех мужиков небесновских в город в тюрьму.

Когда сошли с лица синяки, Софрон снова за устройство библиотеки принялся. Починили мебель, повесили на стенку портрет Ленина и печатную надпись: «Курить воспрещается».

Внизу под этими словами Софрон своей рукой добавил: «Также и плювать на пол». Прямо против выхода повесили большой плакат: великан-солдат разинул рот и кричит. А надпись на плакате: «Подписывайтесь все на военный заем». Нагнали баб. Те вымыли полы и окна и долго не хотели уходить. Пялили глаза на невиданные мягкие кресла, большие столы, шкафы с дверцами стеклянными. Ульяна-солдатка деловито щупала обивку на мебели.

— Рубли по три, поди, за аршин при царе плочено.

Дарья Софронова тоже убирать в библиотеке пришла. Повяла баба, как мужик начальником стал. Все молчит больше.

Бабы ее распаляли, про учительницу говорили. Губы подожмет и молчит. Строгая. А, видать, мается. Глаза в черных кругах и старанья в одежде нет. Долго книги смотрела. От шкафа к шкафу ходила. Будто пересчитывала. Потом вдруг сказала:

— Попалить бы их!

— Кого?

— А книжки. Грех в них один. Народ из-за них беспокоится.

И ушла, хлопнув дверью. Когда шла по улице сторонкой с морщинкой скорбной у рта, по дороге новенькие городские сани проехали. В санях Софрон сбочку на сиденье, а рядом учительница Антонина Николаевна лебедкой, свободно, по-господски расселась.

Белый платочек пуховый и нежный румянец на лице в глаза Дарьи ударили. Слезы выступили. Остановилась,

кинуться хотела, закричать режущим бабьим визгом, исцарапать, заплевать. Но будто что-то вспомнила. Круто повернула и почти бегом до дому добежала.

Дома гнев на младшего сынишку излила. До синяков избила. Потом прижимала к себе вздрагивающее от всхлипываний пятилетнее тельце и жалобно тонко голосила:

— О... о... и... и... смертынька-а моя... О... и... м-а-а-м-ынь-ка-а...

А в библиотеке Софрон перед барышней старался: заглавия книг в шкафах читал, указывал, что все по-городскому:

— Здеся читальня и завроде клуб. Здеся вот книжки получать, а там дале для библиотекарши комната. Полюбопытствуйте посмотреть!

И торжественно дверь распахнул. Туалетный стол под белой кисеей. Кровать с блестящими шариками под господским одеялом. Маленький, как игрушка, письменный стол наотлет от стены поставлен. В углу диванчик, мягкие пуфы и стол круглый с белой скатертью. Все из дома господина Покровского.

— Очень милая, очень милая комната. У вас вкус есть, Софрон Артамонович.

И Антонина Николаевна, застеснявшись, опять в библиотеку прошла. Там мужиков уже много набилось. Артамон Пегих допрашивал:

— Этта самый Ленин и есть?

Софрон гордо, как своего знакомого, представил:

— Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

Артамон голову набок, губами пожевал.

На столе в рамке красного дерева стояла кабинетного размера карточка Луначарского. Но подписи на ней не было. Антонина Николаевна и то не знала. Спросила:

— А это кто?

Софрон смутился:

— Кажется, по земельному делу комиссар. Чтой-то я запамятовал.

Артамон Пегих успокоил:

— Должно, сродственник Ленину какой.

Небесновцы на портреты мало смотрели. Больше читали через стекло названья книг. Кочеров пустой передний угол заметил и одобрил:

— Икону не навесили, это правильно! Всякому вхоже. Мы вот, к слову, икон не соблюдаем, башкирин тоже в нашей волости водится. Эдак-то для всех равно.

Артамон Пегих вздохнул.

— Да уж что весить-то? И православны-то отбились! Тады за веру поругались да человека укомплектовали! Не примат нас теперь икона-то. Ы-хы-хы!

Бабы у плаката сгрудились. Ульяна-солдатка сочувственно сказала:

— Милай, в роте-то все почернело, как орет. Что это он?

Но никто ей не ответил. Софрон властно объявил:

— Ну, буде покамест глазеть, граждане. Завтра часы установим, когда за книжками ходить, тогда пожалуйте. А сейчас закрыть пока надо.

Артамон Пегих затылок почесал.

— Ладно. А по часам-то уж небесновски пущай ходют. У их есть. А мы по брюху: до обеду да опосля ужину. Прощенья просим. Занимайтесь!

За Артамоном пошли и другие. Кочеров на Антонину Николаевну, уходя, искоса взглянул. На крепкие крючки Софрон дверь закинул и к Антонине Николаевне взбудораженный, радостный вернулся. А она опять тихонькая, строгая, за столом стала. Как подойти?

— Дак вот, Антонина Николаевна, для вас расстарался! Получайте, хозяйствуйте!

Она тревожно в окно выглянула и улыбнулась Софрону. Но бегло, испуганно:

— Это вы про что?

— В библиотекарши вас определяем! Для вас старался! Седни и переехать... А?

Голос мужским горячим нетерпением дрогнул. К ней за стол пошел. А она боялась, ежилась... Но комнатка уж очень хороша! Протянула ему руки. Как перышко, на руки поднял.

— Софрон Артамонович, Софрон Артамонович!

Нес и давил лицо горячими губами. Будто отпечатать поцелуи мужицкие хотел. Но в дверь выходную забили настойчиво, часто.

Антонина Николаевна с силой уперлась руками в грудь.

— Пустите... Ради бога!

Даже губы побелели. Какого черта принесло?.

А в дверь стук все сильней и тревожней. Софрон, злой, багровый, взлохмаченный, к двери кинулся.

— Кто там?

За дверью голос Дарьи, властный и дерзкий:

— Открой!

Антонина Николаевна тоненько, по-заячьи, взвизгнула сзади и в дальнюю комнату кинулась. Софрон сразу опамятовался: внизу стук услышат. Торопливо откинул крючки.

Дарья вошла бесстрашно, лицом и грудью вперед. Софрон отступил. Не то испугался, не то растерялся.

Дарья сама оба крючка накинула.

— Всей волости начальник, а ум-то где? Средь бела дня эко дело завел. Где она?

Голос у Дарьи оборвался, лицо пятнами пошло, а в плечах дрожь, в глазах — мука!

— Дарья! Убью!

— Не маши кулаками! Неколи. Небесновцы сговорились тебя за блудом поймать. Солдатка кочеровска выболтала... Страм, страм какой! Прибегла я...

И голос оборвался.

— Придут, дак жена тут. Лучче сама топором ее зарублю!

Диким выкриком последние слова сорвались.

Софрон в разум пришел. Отвела баба беду. Не простили бы битому за блуд! Главный в волости — и за такое дело битый. А то убили бы сами. Сразу стихшим голосом сказал:

— Жена, как же теперь?

У той лицо злоба скосила.

— Пакостить умеешь, а концы хоронить учить надо?

И властно к дальней комнате пошла.

— Барышня, госпожа! Айда суда. Бить не буду. Опосля рассчитаюсь. Иди суда!

И за руку Антонину Николаевну вытащила. У той от испуга слезы высохли. А волосы и юбку с кофтой уж поправить успела.

— Придут, виду не кажи, Софрон...

В дверь застучали. Дарья кивнула на дверь.

— Открой.

Софрон откинул крючки. Первым вошел Артамон Пегих. За ним Кочеров и еще четверо. Три мужика небесновских, три тамбовских, а на лестнице бабий бестолковый гомон. Учительница городская — штучка тонкая. Сразу подбодрилась. Как ни в чем не бывало на вошедших глянула. Дарья глаза в землю, а тоже спокойная.

Разом увидел Кочеров, что сорвалось.

— Прощенья просим, Софрон Артамонович. Слыхали, что вы здесь еще, насчет газеты зашли. Спор у нас вышел.

Артамон Пегих простодушно заявил:

— Кака газета! Сказали, с учительшей в новом помещении грехом занимаешься. Старики обиделись. Поучить хотели: блуди, да место и время знай. А промежду прочим, и нехорошо.

Антонина Николаевна тоненько охнула и руками всплеснула. Дарья грубо и спокойно заявила:

— Брешут все из ненависти небесновцы. Софрон мне приказал приттить, как все уйдут. С учительшей, говорит, чайком побалуешься на новоселье.

Артамон сердито в ответ буркнул:

— Како новоселье! Не дозволяем здесь учительшу! Мужчину надо из городу. Эдака чо разъяснит?

Софрон поспешно подтвердил:

— Знамо, попросим из города.

Антонина Николаевна все порывалась сказать что-нибудь и слов не могла найти. Вся пунцовая у шкафа стояла. Кочеров задумчиво бороду погладил и сказал:

— Ну, нам здесь делать нечего... Мир прислал, не своей волей пришли. Айдате, граждане!

У Софрона все кипело внутри, но Дарья смущала. Сдержанно и спокойно ответил:

— Не след старикам бабью брехню слушать. Необразованность одна.

Мужики вышли. Задержался только Артамон.

— Ты, Софрон, башковитый. А, промежду прочим, остерегайся. Дыму без огня не бывает.

Потом ясно, умно на Дарью взглянул и улыбнулся.

— Баба-то у тебя разумная. Не в пример прочим.

И ушел.

Как остались одни, Дарья властно опять сказала:

— Айда, барышня, одевайся и уходи. А то кипит, сгребу! Спарились ай не успели?

Антонина Николаевна опять заплакала.

— Господи, как вам не стыдно! Где моя шубка?

Софрон угрюмо сказал:

— Помолчи, Дарья, ничего не было...

Его тянуло к плачущей Антонине Николаевне, но смотрел будто безучастно, как надевала шубку учительница. Только, когда к двери пошла, сказал просительно, робко:

— Антонина Николаевна, лошадь на дворе. Мальчонка жигановский отвезет.

Учительница поняла, что так лучше будет, кивнула в ответ головой и вышла. Дарья проводила ее загоревшимся злобным взглядом.

— Ну, айда, домой, Софрон. Только вот тебе мое слово: зарублю, если еще! Ты думаешь, я кого пожалела? Детей своих пожалела! Как был ты пьянчуга, сколь раз молилась: умер бы, господи... Жалеть бы не стала. Люди бы не надсмехались. И на детях позор: пьянчужкины, Софроновы. А как выправился ты, детей никто не шпынят. А кто коль-

нет, так из зависти. Из-за детей себя скрутила! Помни, Софрон, еще не стерплю. Зарублю!

Встретились глазами, и не Дарья, — Софрон свои в сторону отвел. Отвердела баба: зубы стиснула, и в глазах черных — упорство.

Всегда так размышлял Софрон:

«Баба — народ подлеющий: потому в ней дух на острастке только живет».

А сейчас острастки не находил: сам оробел и поверил: «И весьма просто, эдака зарубит».

Ночью, когда помирились, Дарья все-таки подтвердила:

— А разговору нашего не забывай.

4

Одолела Софрона Антонина Николаевна. Стоит в душе ежечасно и мешает в делах. От разлуки еще больше распалился. В школе-то видались часто. Только все на людях. Старался книгами заняться. Напрасно бился. И к библиотеке охладел. Из города ответили: прислать в библиотекари некого. Советовали из своих кого-нибудь приспособить. Из мужиков некого. Все заняты устройством нового порядка. Председателей и секретарей много потребовалось. Артамон Пегих недаром жаловался:

— Куда не плюнь, на председателя попадешь!

И все на грамотных спрос. А в селе они наперечет. В сельской школе почти все обучались, да позабывали ученье. Один раз пришла к Софрону жена Семена Головина, прошение принесла о пособии, которое Софрон за мужа обещал, да выдать позабыл. Все слова в прошении к месту были подобраны, и буквы читать можно, вполне разберешь.

— Кто писал прошение тебе?

— А кто будет? Я сама. Начетчики-то нашински, спасибо, с малолетства обучили. Все письма мужу на службу сама писала.

— Ну, ладно, будешь у нас по книжной части. Жалованье получишь, вот тебе и способье.

И назначили Головиху библиотекаршей. Комнату, для Антонины Николаевны приготовленную, заперли. Открывали только на случай приезда городских, а Головиха приходила с утра, свекра и ребятишек малолетних накормив. Сидела до полудня, потом опять домой шла, кончала с обедом и до вечера опять в библиотеке.

Обязанности свои выполняла она старательно. Сказал ей Софрон, что надо в тетрадку выданные на дом книги

записывать. Так и делала. И неровным, но разборчивым почерком записывала в тетради:

«Кочеров молоканский поп узял откуда появились люди на земле».

«Дед Евстрон узял без заглавию».

Книги давать на дом очень не любила, выбирала только старенькие и без картинок.

— Наляпаете еще чо на книжку! Не трогай, пущай стоит! Вот эту можно.

Два раза в неделю мыла в библиотеке полы и в эти дни посетителей не пускала.

— Пущай обсохнет! Завтра придете.

Сама очень любила смотреть картинки в иллюстрированных журналах. Читала мало — некогда. Больше, сидя в библиотеке, занималась починкой и вязаньем крючком кружев на продажу, узорчатых чулок, которые в моду в деревне вошли. Очень боялась ребятишек и парней, орлицей кидалась за ними к книжному шкафу.

— Упрут чо, и не опомнишься.

Но отучить их от библиотеки не могла. Они были самыми частыми посетителями. Барабанили на пианино, смотрели картинки и читали книжки. Мужики занимались больше газетами. Заовражинские приходили слушать. Кто-нибудь из небесновцев читал обычно газету вслух. Головиху скоро одобрять начали. Баба разумная, со всеми соглашается. Начнет Кочеров говорить, что оттого неустройство у нас, что бога забыли и божьего слова не знают. Головиха вздыхает и поддакнет:

— Совсем народ спустился. А без богу как?

Говорит Софрон, что попы обман делали, народ обирали, тоже головой кивнет:

— Сказано, у попа глаза завидущи, а руки загребущи.

Когда «Интернационал» пели, она подпевала. В церковь ходила по праздникам нередко. Уважительностью своей всем угождала. Платье и при муже носила по городскому образцу, только кофточку навыпуск. Теперь голову стала держать в комнате непокрытой, а волос не взбивала. Добро библиотечное зорко хранила. Это тоже ценили мужики:

— Домовитая баба попалась.

В городе как-то вспомнили про библиотеку. Софрона запросили: много ли книг из именья господина Покровского доставлено? Софрон сообщил: три тысячи. Ахнули и написали, что пришлют из города знающего человека книги посмотреть и порядок в библиотеке устроить в самом скором времени.

А бурливые, беспокойные дни вели свою череду. Потеплело дыханье ветра. Осели, побурели снега. Из-под них пахнуло на людей волнующей истомой земли, ее весенним желаньем и предчувствием расцвета.

Дарья стихла. Двигалась плавнее и мягче, бледней лицо стало. Взгляд внутренним теплом и мягким светом засветился. Ребенка понесла. Остерегаться жены Софрон перестал, снова искал с учительницей встреч наедине. Но Антонина Николаевна сама ловко таких встреч избегала. Пожелтевший и хмурый, он каждый вечер метался в школе и уходил домой измученный. Всегда у Антонины Николаевны кто-нибудь: другие учительницы или солдатки.

По-городскому развязные, дерзкие, они больше всего мешали Софрону. В хитром смехе, в скользнувшем намеке они давали понять, что видят тоску Софрона. Он настораживался и уходил.

В один вечер, по-весеннему истомный, Софрон, желтый и усталый, разговаривал с мужиками. Стоял в классе бестолковый, мятущий голову галдеж. Шли перекоры о земле, о весеннем надвигающемся посеве, о том, как распределить засевы озимых, о сделанном учете сельскохозяйственных машин. В школу вошел приезжий, в городском меховом пальто нараспашку, в штанах-галифе и френче, с красной звездой на черной кожаной фуражке, с пузатым черным кожаным портфелем подмышкой.

В споре его не приметили сразу. Растолкал народ — и прямо к Софрону. Спросил скороговоркой:

— Где здесь исполком? Это какое собрание? Ячейка в селе имеется?

Софрон ни на один вопрос ответить не успел, а он уж опять скоро-скоро сыпал словами:

— Здравствуйте, товарищ! Я вас в городе видел, сразу же узнал. Вы, кажется, здесь предволисполкома? Ага, отлично! Поедемте, в библиотеку сейчас. Вот мой мандат. Это собрание ячейки? Слышал, слышал, вам удалось многочисленную организовать. Здравствуйте, товарищи! Готовитесь к выборам в Советы? Какие планы у вас земельного распределения? Да, да, знаю, разбились на коммуны! А где здесь меня чаем напоят?

Артамон Пегих даже головой покачал и внимательно в рот приезжего посмотрел. Подумалось ему:

«Чисто машина кака внутре слова выгонят. Так и сыпет. Рвач аїі пустобрех?»

Пока приезжий стрелял без отдыха вопросами и сам отвечал на них, Софрон прочитал мандат и, уловив минуту, объявил собранию:

— Инструктор по просветительной части. Вам желательно библиотеку посмотреть?

— И библиотеку и в ячейке вашей позаняться. Программу проштудировали? Обратите внимание на вопрос о нашей земельной программе. Я вам сейчас объясню...

Передохнул, потому что Антонина Николаевна вошла. Улыбнулся ей широко и радостно, отчего сразу милым стало его курносое скуластое лицо.

— Здравствуйте, здравствуйте, а я ведь забыл, что вы здесь обретаетесь! Право! Совершенно забыл! Вы ведь помните меня? Ну да, да! В партию еще не решились записаться? Надо, надо! Интеллигенция саботирует, но у вас здравые суждения. Чаем напоите? Я сейчас вот.

Софрон засмотрелся на его подвижное, будто брызжущее мыслью, движением, словами лицо. Даже об Антонине Николаевне забыл. Вспомнил, и заныло привычным, нудным ставшее томление, только когда инструктор сказал:

— Поедемте с нами, товарищ, в библиотеку. Вот мы с предволисполкома... товарищ Конышев, да? Я помню. Фамилии сразу запоминаю. Ну, поехали! Втроем не тесно в санях? До завтра, товарищи! С сектантами мне очень интересно побеседовать. Небесновка у вас где?

В санях в дороге вдруг притих. И было непонятно Софрону, слышит инструктор его или потонул в своих думах. Лицо в сторону отвернул — не слушает, видно. Но Софрон, путаясь, продолжал рассказ о волостных делах. Кровь жгла, потому что тесно втроем в санях. Плечо и нога Антонины Николаевны через полушубок слышны. Говорить все-таки легче, чем молчать, но слова неровные, негладкие выходят.

А инструктор, оказывается, слышал. Выходя у библиотеки из саней, сказал Софрону:

— Вы правы: трудней всего с сектантами. Книжники, каждую букву учтут... Что? Не хватает людей? Город поможет, только и там мало. Товарищ Хлебникова, прыгайте! Приехали!

Головиха закрывать библиотеку собиралась. Препиралась с молодежью, не желавшей уходить. Увидев вошедших, сразу поняла:

«Из города начальство».

Поправила кофточку и, приветливо улыбаясь, поклонилась чуть не поясным поклоном.

Инструктор сразу уперся взглядом в плакат, изображавший солдата с разинутым ртом. Заливисто и громко засмеялся.

— Это вы что же, все на заем свободы подписываетесь?

Товарищ Конышев, как же это вы проспали? Товарищ Хлебникова, а? Снять, снять! Запоздали. Ах, чудаки! И книжки у вас, верно, так же: на стенах рядом с Лениным — заем свободы, а в шкафах вместе с Марксом — Иоанн Кронштадтский, а? Товарищ библиотекарша! А? Не читали книжек-то? Иоанн Кронштадтский есть? Убрать, убрать, вместе с плакатами.

Головиха сконфузилась.

— Где их тут все-то углядишь каки! Да новы-то трепать не даю. Стоят, и не видать каки. Так, тряпочкой обмахну...

— Тряпочкой! Большевики, товарищ, народ такой: хотят, чтобы все скоро и первый сорт. Мы срочно сделаем всех грамотными и умелыми. Библиотеку сразу поставим по последнему слову библиотечной техники. Вы не слыхали про десятичную систему Дьюи? Таблицы Кеттера здесь есть, товарищ Хлебникова?

Головиха вдумчиво повторила:

— Ке-кеттера...

И по привычке согласилась:

— Да, да, Кеттера.

Инструктор взглянул в ее карие ласковые, со всем соглашающиеся, но умные глаза и засмеялся снова.

— Откуда вас товарищ Конышев откопал?

И броским шагом пошел ходить от шкафа к шкафу.

Головиха вдруг испугалась и растерянно-беспомощно всех осмотрела.

Инструктор вытащил из пузатого кожаного портфеля, который все время не выпускал из рук, две беленьких книжечки и стал объяснять всем, как ими пользоваться при приведении в порядок библиотеки.

Головиха, округлив глаза, внимательно смотрела ему в рот. Подростки и два шестнадцатилетних парня сгрудились у пианино. Двенадцатилетний сын Софрона Ванька, случайно взглянув на Головиху, громко фыркнул.

Инструктор оборвал речь и повернулся к нему. Но в этот момент Головиха подошла к инструктору и ласково тронула его за плечо.

— Слышите, господин... товарищ, тоись. Больно трудна этака грамота. Понять можно... Отчего не понять! Но так што, детная я.

Инструктор не сразу понял.

— Что, что?

— Детная, мол, я... Уж смилуйтесь! Куды тут Кетер. Одному подотри, другого покорми, третьему рот заткни. Трое их у меня, детей-то... Уберешь, да суды айда. А тут

тоже, полы два раза в неделю мою. Уж сделайте такую милость, попроще как изъясните.

И в карих глазах такая оторопь и тоска, что у инструктора смех ласковой нотой оборвался.

— Детная, говорите? Ну, ничего, подмогу вам дадим. Все-таки грамотная, а? Нет, товарищ Копышев, ведь это трогательно «детная»... А мы в планах намечали: библиотекарь должен быть универсально образован. Но «детная» — это хорошо. Мобилизуйте учительниц, товарищ Копышев. Библиотеку обязательно привести в порядок! А вы не беспокойтесь, товарищ библиотекарша, очень понятно все изъясним. Привыкнете! Для полов подмогу найдем.

Инструктор долго и ласково с Головихой говорил. На свои вопросы отвечал сам, но она расцвела улыбкой и кивками головы все ответы утверждала. Потом с молодежью занялся. Ванька Софронов поразил его и отца. Требовательно, с дерзкой усмешкой в глазах он задавал инструктору вопросы о новых порядках, о распределении земли, об отношении города к деревне.

— Дать-то еще ничего не дали, а шерсть собрали! На ново войско то и дело: полушубки, валенки, хлеб! У хозяйства дело делать не дают. Все мужики в председателях да делегатах. Как мужицко хозяйство будет? Войну, сказали, кончам, а еще друг с дружкой схватились.

В дерзости слов, которые бросал срывающимся, напряженным голосом, в вызывающей усмешке глаз — смятенная, ищущая мысль.

Хотел инструктор отделаться фразой: «Лес рубят — щепки летят», но, неожиданно для себя, обнял за плечи Ваньку: стал ходить с ним по комнате и посыпал мелкий, но четкий горох слов.

Говорил о том, что пластом тяжелым земля придавила деревню. Была сытее, но темнее, глуше. Миллионы народа жили, как кроты, с тяжелыми мыслями, с упорством мертвых, отживших верований, с тупой покорностью всякой палке. Все условия быта обрекали на продолжение такого существования. Кто приобретал знания, а в деревню больше не возвращался. Огромная могила при жизни для миллионов людей: тяжелый труд, пьянство, дикие суеверия.

Пока царил прежний порядок, ни школы, ни туманные картины, ни разговоры изменить порядка не могли. Надо было разрушить систему этого порядка.

— Я не буду тебе рассказывать, что надо для города, а для деревни надо облегчить труд, освободить человеческие силы для того, чтобы ум работал. Для облегчения труда нужны машины. Везде, где можно, освободить тело

человека от натуги. Машины делают в городах. Чтобы их сделать так много, как надо, необходимо освободить рабочих от хозяев, устроить хорошо их жизнь. Освободили. А чем кормить? Деревня для своего освобождения должна тянуться.

Он говорил долго и в общем несвязно. Когда замолк, Ванька Софронов сразу простым детским голосом вывод сделал:

— Стало, деревню отменят? Привезут сюда всяки машины, все по-городскому устроят. Вон чо!

Видно было, что еще не решил, хорошо ли это — отмена деревни. Но глаза его засветились мягким блеском. Он застенчиво улыбнулся, бережно снял руку инструктора со своего плеча и выбежал из библиотеки.

Софрон не верил своим глазам и ушам. Старшего сына своего он два раза бил тяжким мужицким боем, потом старался не замечать. Курильщик, забияка, он не был изувечен мужиками только потому, что отец в силу вошел. Кроме дерзких ответов, дома от него ничего не слыхали. А сейчас он так глубоко, хозяйственно язвил инструктора, что, видно, много узнал за это время и передумал. Знал все мужицкие тревоги.

Инструктор взволнованно сказал:

— Д-да. Умный мальчишка. Замечательный молодняк у России.

И Софрон раздумчиво, как будто размышляя, ответил:

— Да, пожалуй, эдаких никто не придавит! Вырвутся!

Неожиданно волной колыхнулось отцовское удовлетворенное чувство.

— Мой халиган-то. Сын.

— Замечательный мальчишка.

Узнав о приезжем человеке, набрался в библиотеку народ. Антонина Николаевна на пианино играла, а все старательно, долго, на церковный медлительный лад сближая «Интернационал» с национальной заунывной песней, тянули:

Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и не герой.

Инструктор уехал к Антонине Николаевне чай пить. Ночлег ему был приготовлен в библиотеке. Когда он вернулся, из библиотеки еще не разошлись. Разговорились, и беседа была необычно мирной.

У Софрона екнуло сердце, когда инструктор вышел с Антониной Николаевной. Но рассеял и отвлек разговор с народом. Говорить ему хотелось. Ожили, двигались и

беспокоили мысли. Когда вернулся инструктор, на душе стало совсем легко. Шел домой и гудел:

Кто был ничем, тот станет всем...

Дома прежде всего спросил Дарью:

— Ванька дома?

— Спит.

Ванька спал на полу, у печки, с братьями. Кровать была только одна, супружеская. Софрон посмотрел на разметавшегося во сне сына, усмехнулся и неловко, но бережно поправил азям, которым сын накрывался.

Инструктор прожил три дня. На второй день вечером Софрон опять стал угрюмым. Щемила ревнивая тревога.

Целый день Антонина Николаевна и другие учительницы работали в библиотеке с инструктором. И Софрон в этот день видел, как шли они рядышком по улице. Инструктор под локоток Антонину Николаевну поддерживал. А она заливчато смеялась и сияла глазами.

Софрон, мучась своей болью, побил ночью Дарью. Проснулся Ванька и кинулся на отца. И кричал отчаянно и звонко:

— Уходи от нас, а мамку не трогай!

Дарья так была поражена его заступничеством, что плакать перестала. Ванька всегда нехотя, с издевательством с ней разговаривал. Обидой глубокой терзал ее материнское сердце. Софрон махнул рукой и, хлопнув дверью, вышел на двор. Потом, в одном летнем пиджаке, без шапки, как был, почти бегом двинулся к школе. Тяжелый револьвер в кармане бил его по боку. Теперь он его никогда не забывал. В школе было тихо и темно. Софрон стоял долго, продрог и, опустив голову, пошел домой. От ворот круто повернул к библиотеке. Там еще горел свет, и в освещенное окно Софрон увидел инструктора. Он размахивал руками и что-то говорил. Сердце застыло в вопросе: с кем? Но в этот момент хлопнула наверху дверь, и донесся голос Митрохи-писаренка:

— Ладно. Заночую. Сичас вернусь!

Легким стало тело. Сразу почувствовал Софрон, как продрог и как хочется спать.

Ночью, накануне отъезда инструктора, Софрон опять дежурил у школы. Закутавшись в черный тулуп, прилип к черному сарайчику во дворе школы. В окнах комнаты Антонины Николаевны был огонь, но занавески, пропуская свет, мешали разглядеть, что делается в комнате. Час или год стоял? Так велика была мука, что о времени забыл.

Когда застучали засовом выходной двери, вздрогнул, как от удара.

— Ну, спи!

— Завтра провожать приду!

— Не стоит, рано уеду! А? Да, да, в городе увидимся!

Рванулся было за ним, но одним прыжком очутился на крыльце, у не запертой еще двери. Стояла, вслед смотрела, хоть и скрылся любезный уж за углом.

— Кто это? А-а!..

Стиснул ей рукой щеки и рот и, подхватив подмышку другой рукой, втащил в ее, не доступную для него в такой час, комнату. Для него не доступную, а для этого городского...

— Только закричи, дрянь, башку размозжу!

Выхватил револьвер, махнул перед остановившимися, будто окаменевшими от ужаса и удушья глазами. Она с трудом и болью передохнула.

— Только заори, попробуй!

— Не буду, Софрон Артамоныч!..

— «Артамоныч»!.. Заигрывала со мной, а...

Бурный, порывистый поток ругательств ошеломил ее. Попятилась от него к окну. Но он рванул ее грубо к себе, уронил на пол. Девушка не закричала, не обиделась, протянула к нему дрожащие руки.

— Э-эх, ты... — с болью, с гневом, с тоской выкрикнул Софрон безобразное ругательство и ушел из школы, сильно хлопнув дверью.

Антонина Николаевна утром рано с инструктором в город уехала. Софрон весь день в кровати пролежал. Голову мутило, думать не давала обида. Перед кем с прахом себя мешал? Много таких в городе. Видом прямо святые, а сами подлые! Учителя! Спасители!

Дарья подходить к нему боялась, детей отгоняла и бранила их. Только раз спросила у Софрона:

— Может, квашеной капусты на голову-то? Поможет.

— Не надо...

Мужики приходили, прикидывался спящим. А Дарья с непритворной тревогой говорила:

— Трясучка ай сыпняк.

Ночью, когда Дарья осторожно улеглась рядом, стараясь не толкнуть мужа, он вдруг бережно, любовно притянул ее к себе и поцеловал. Она почувствовала всю глубину его нежности и тихонько заплакала.

— Софрон... Желанный, соколик...

— Помолчи, Дарья... Помолчи, мать... Дура моя деревенска...

5

Слова, как набат, короткие, звонкие, звуком чуждым пугающие, все чаще и чаще доносятся в деревню. Еще заставами неснятыми мешают крестьянам сто пятьдесят верст до уездного города, сто десять до ближайшей станции. Еще дыхание великой тревоги только колыхнет и сгаснет в промежутке между бурей и глухой мужицкой, застарелой тишиной. Но уже нет старого, унылого, в безнадежности страшного покоя. Еще живут за печью бабкины поверья, но уже пугаются и прячутся от криков новых деревенских коноводов.

Вернулся в Интернационаловку, как называли теперь Тамбовско-Небесновку, Редькин. Он долго пропадал в городах. Был не только в своем уездном, а и в губернском: порядки проверял. В селе дивились, что вернулся живой. Говорили:

— И чем жив человек? Костяк один остался, и тот не крепкий. Гнутый. Спина дугой. А все ерепенится! Еще лютей стал.

Артамон Пегих, на улице Редькина повстречав, зорко в лицо его посмотрел и деловито сказал:

— А недолго тебе, Филимон, гомониться-то! С ручьями смоет тебя.

Редькин взъерошился, обругаться хотел, но только сплюнул и отозвался глухо:

— Гляди, не твой ли черед? Отбатрачил до пределу, старик. А я еще потяну. Худо дерево два века скрипит!

И в жарких глазах беспокойная мольба к жизни: дай эти два века!

Артамон губами пожевал и раздумчиво отозвался:

— Все может быть. Упористы вы, нонешние-то. Жадности до белого света в вас много.

И пошел к своему двору, старый, сгорбленный, до света белого не жадный, спокойно взглянувший в близкий свой предел, но на ноги еще крепкий, о внуках радеющий, большевик Артамон Пегих.

А Редькин Софрона по всему селу искал: допросить, долго ли будет распускать, с молоканами манежиться. И не нашел его в селе.

Софрон на соседний хутор Хворостянский уехал, где переселенцы горемычные на каменистом, малоплодном, будто для них среди окрестных угодий плодородных вынырнувшем участке осели. Теперь волисполкому заявление подали.

«Мы, нижеподписавшиеся крестьяне деревни Хворостянской с шестьдесят четырех дворов, собравшись на сходе в числе сто три человека, постановили дать нам землю Небесновских молокан, как на камне ничего не растет, а к тому как земля ничья, как тому пункту есть декрет большевицкого правительства, которому единогласно придерживаемся, как есть буржуи, которых бить есть наше согласие, к сему руку приложили».

Заявление написано лихим почерком Макарки, по прозвищу Пройди-свет, присяжного хворостянского писальщика жалоб и челобитных. А под заявлением корявые буквы подписей и унылые кривые кресты неграмотных.

Обидой, барышней нанесенной, взбодрило Софрона. Горьким дымом разочарования, как лекарством едким, прочистило глаза. Появился в сини их свинец, которого раньше не было. Отошел туман мечты, и увидал Софрон: тянулся в плен к чистеньким господам, а в них правды нет. Защиты от них не будет. Издали только приманчивы. Сверху улыбку шлют, а рядом стать не дозволяют. Рылом, дескать, не вышли! А, не вышли! Наша власть! И, как всегда бывает, когда ожжет кнутом обида, ожили старые боли, казалось, изжитые и забытые. Бежал с фронта одичавший, жестокий от дурмана бойни. Тогда не боялся, не жалел никого. А в своей деревне отошел, разнежился никогда раньше не испробованным почетом и доверием. Бей их всех, сволочей! Всех, кто слово поперек! Наша власть! Сразу увидал, что ничего еще не делал, только мечтал и сам «маломочных» одурял. Скуп и резок на слова стал, на книжки, на библиотеку господскую плюнул. На другой же день, как встал, за небесновцев принялся. Большой гурт скота отобрал, в город на прокормление Красной гвардии послал. Когда узнал, что в молитвенном доме евангелических христиан на собрании в слове своем Кочеров поступок его осуждал, Кочерова самолично в тюрьму отправил. Молитвенный дом печатями запечатал.

— Будя! Попели псалмы, на работе брюхо потрясите!

К хворостянцам поехал распаленный и готовый выполнить просьбу их.

Там вместе с криками: «Будет, попили нашей кровушки!», «Нечо валандаться, прикрутить богатеев!» — передали ему жалобы на то, что товаров никаких в деревне нет, деготь дорог стал, что доктор в Романовке старого правительства «придерживается»: лекарств никаких не дает, от дурной хвори солдат не вылечивает. В гомоне крепкой мужицкой брани, несвязных слов и крика раззадорился сам и распорядился:

— Лавошников перетрясти всех. Где запрятали товары? Нещадным боем бить, пущай скажут! Дохтура тоже в город отправить, а для округи в больницу за дохтура Пантелея-санитара поставим. Он всяки порошки знат. Выдавать будет. А сам я завтра в город нащет требования: каки есть наши права? — И уехал.

Бурый снег под ногами проваливался. И в сумерках вечерних лежал по краям дороги — потемневший, пасмурный. А в степи тишина была переполнена ожиданием весенних бурь. В этой затаившей в себе крик нетерпенья тишине дышалось тревожно. Софрон понукал кучеренка Саньку и ерзал беспокойно в санях.

Когда Софрон приехал, в Интернациональовке уже зажгли светцы и кое у кого керосиновые лампы. Свет мелькал в окнах и огоньками своими сгущал мрак на улице. Оттого не разглядел Софрон, что у его ворот стоит Редькин, и вздрогнул, когда тот отделился от забора черной длинной фигурой.

— Ктой-то?

— Я. Редькин. Куды раскатывал?

— В Хворостянку. Айда в избу! Дело есть.

Редькин рассказал мало. Похожий на сурового угодника с иконы старого письма, худой, с бороздинкой глубокой и сумрачной меж бровей, он низко опустил голову, смотрел строго исподлобья и только кашлем да отрывистыми редкими словами прерывал рассказ Софрона. Оба решили на рассвете выехать в город. На огонек заглянул Артамон Пегих и тоже с ними выпросился. Ванька сидел у стола за книжкой. С отцом и матерью разговаривал по-прежнему скупо, неохотно, но реже стал убегать вечерами на улицу. Услышав о сборах в город, вдруг поднял голову. Будто нехотя, лениво процедил:

— Меня до городу не подвезете?

Софрон усмехнулся одним углом рта. Лицо светлее стало.

— Это куда же ты собрался, товарищ?

Глядя в угол, Ванька ответил:

— Там видать будет — куда!

Софрон рассердился:

— От сопляк, разговаривать еще не хочет! Поучу вожжами, так заговоришь.

И, хлопнув сердито дверью, вышел с Редькиным.

Но на заре, когда подъехал на хорошей паре, в ковровой большой кошеве, захваченной в имении Покровского, Артамон Пегих, Софрон разбудил Ваньку:

— Одевайся, в город поедем.

Артамон Пегих одобрил:

— Тоже возжелал в город поехать? Ладно! Вы там к господам как начальство, а мы на улках на городских поглазеем. Я тебя везти вызвался. Нуждишка до городского базару есть. Внучка наказывала.

Раньше город чистенький был. Теперь, когда взметнулись на присутственных домах красные флаги, появились вывески с непонятными названиями, он взъерошился, засерел солдатскими шинелями, — потускнел и сразу прибеднился. Господа в одежде приубожились. В магазинах полки и прилавки уныло просторны и пусты стали. На базаре только то, что для еды осталось. Редко-редко ларек с городскими приманками, и тот с запасами скудными.

На улицах людных, шелухой семечек и орехов засыпанных, грязных, занавоженных, и народ все больше серый. В домах присутственных красноармейцы с винтовками, начальники в одежде из кожи, с револьверами, мутящий туман махорки, стриженые женщины с мужскими повадками, с папиросками и козьими ножками в зубах, шумный гул несмолкающих разговоров, окурки на полу. Похоже, что из домов этих хозяева выехали, а эти новые — квартиранты. За столами не сидят, все кучами собираются, руками машут и много шумят.

Нет, не понравился этот новый город Артамону Пегих. Он размышлял: «Главное дело — не разберешь, который начальник над которым выше! Все руками машут, все приказывают, все речи говорят и все с револьверами. У женского полу приману женского нету. Ну, к чему подобно: дымят, шапки мужицки понадевали, кричат без острастки и везде, как мужики, налезают, не уживаются. Тьфу!»

Недовольный и сумрачный вернулся на двор, где лошади стояли, и в сенях спать под тулуп завалился. В дом куда пойдешь? Номер в гостинице Софрону как начальнику предоставили. Хоть и грязно в нем, а все не на постоялом.

В городе тревоги было больше, чем в Интернационаловке. Там, в деревне, под сектантским началом, еще несмело и нестройно смешивали новое и старое. Больше галдели, мало рушили. А в городе уже гулял хмель разливного гнева. Ночами вытаскивали людей из насиженных гнезд, отводили в тюрьму, отбирали спрятанные ценности. Эта тревога усиливала ненависть Софрона к господам. К чистеньким, образованным. Об Антонине Николаевне не думал. Слышал, что в город с инструктором уехала, и пожалел инструктора:

— Зряшна баба!

На заседании исполкома однажды присутствовал Софрон и члена исполкома изругал за то, что тот был против повышенного налога на кулаков.

— Эдаких беленьких-то нечо спрашивать! Им штоб и горячий блин, да штоб не обжигал. Языком треплют, а как до дела дойдет, они — в сторону!

Всякая слабость и нежность вызывали в нем взрыв гнева. Не выносил машинисток в учреждениях. Ему казалось, что все барышни нежненькие в машинистки определились.

В городе он опять надел военную одежду. И когда шел по улице в шинели, с револьвером и бомбой на поясе, высокий и резкий, с суровым, свинцом отливающим взглядом, Редькин и Артамон рядом с ним казались арестантами, боязливо съеженными. Но вместе обычно они доходили только до исполкома.

Артамон не любил учреждений, махал рукой и поворачивал к постоялым дворам. Там разыскивал деревенских и проводил с ними день. Редькин заходил в исполком не надолго, хмуро осматривал служащих и оставался только, если назначалось собрание. Собрания были часты. Редькин внимательно слушал всех ораторов. Но возвращался обычно в гостиницу злой.

— Нащет деревни никакого решенья!

Он ходил в читальню, слушал газеты. Был даже как-то раз на любительском спектакле и долго после этого хрипло ругался.

Ванька целыми днями в типографии пропадал. Однажды послал его из исполкома Софрон за газетами, мальчик каждый день стал туда бегать, свел дружбу с наборщиками. Они ему газеты и книжки давали читать. Читал Ваня жадно, без разбору. Все как будто что-то искал в книгах и газетах. Оттого, что он ясно видел, как ловко и легко все обсуждают городские и как туго понимают все новое деревенские, загорелось его сердце обидой.

«Ладно, их в школу посылали! А меня одну зиму. Больше мать не пустила. Ничо! Сам дойду!»

И оттого, что сам захотел, оттого, что не преподносили ему разжеванного, питательного, тратил много времени на непонятное, утомительное в чтенье. Делал открытия уже открытого, но не растерял своего и креп, дерзкий, в себе уверенный и упорный.

В городе Софрона задержали. Воздух заулыбался по-весеннему. В полдень радостно прыгала с крыш капель.

Город оглашался допоздна звонкими детскими голосами. Артамон беспокоился:

— Угрузнем где в логу. Снег-то, поди, уже не держит! Скоро ли, что ли, поедем, Софрон? Все шалтай-болтай, а в деревне-то телеги налаживать надо. Небушко-то уж звенит!

Софрон угрюмо отозвался:

— Успеешь еще, наладишь. Та и беда, приросли мы к земле и об себе не понимам, чтоб и земля полегче давалась. Дела еще есть в городу.

А в городе событие случилось. В исполком сообщили, что в восьми верстах от города остановился большой казачий отряд. Казаки с фронта в свои степные станицы возвращались. На конях, в полном вооружении и даже одно легкое полевое орудие с собой волокут. Люди и лошади заморенные. Будто бы на передышку встали. Военно-полевой штаб забеспокоился. Казаки — народ старой закваски. Зачем им пушку в свою станицу? Постановил исполком послать делегатов для мирных переговоров: зачем и куда? И предложить сдать оружие. Делегаты вернулись благополучно. Казаки оружие сдать отказались, но говорят, что мирные. Идем, дескать, мимо города. Советскую власть признаем. Пропустили отряд. Но пришло распоряжение из губернского города задержать казаков. Решили спешно отправить Красную гвардию. Это было первое ее выступление. До сих пор Красная гвардия в городе занималась только охраной самого города да охраной революционного переустройства деревни.

В назначенный час со всех улиц потянулось к исполкому свободное войско. Бурливая, дерзкая, разная по одежде толпа. Шли с винтовками. Одни в шинелях по-солдатски, другие в крестьянских азямах и тяжелых пимах, третьи в городской рвани и опорках на ногах, четвертые — чужаки в своей одежде, военнопленные. После всех отдельно прибыла киргизская часть. Впереди несли Красное знамя и на пике металлический полумесяц с бубенчиками. Низкорослые, скуластые, шли нестройными рядами и пели гортанными голосами киргизскую песню. Будто играли на какой-то полузабытой, в давнем родной всем и волнующей дудке.

И в ответ этой песне с подъезда исполкома раздались волнующие смелостью и новизной слова приветствия:

— ...Красная гвардия, первое в России свободное войско трудящихся, охрана революции...

Это соединение киргизской песни, смешанных криков в разношерстной. по виду убогой, разноголосой, разноязыч-

ной толпе, собравшейся на улице мещанского захолустья, и слов огромного масштаба, истинно торжественных, бьющих отвагой вызова всем, пугало и бодрило душу величием огромной рати смельчаков, появившихся во всех городишках взъерошенной РСФСР, чтобы отстоять советскую власть, свою свободу, свои законы.

Эти большие слова были для многих только звоном своего села. Чтобы была каждому пашня, чтобы проткнуть пузо своему кулаку Миколай Степанычу, чтобы разогнуть свою спину, из своей глотки услышать крик вольный, непривычный: наша власть! Но чутьем, всему живому, а им, простым и цельным, особенно свойственным, ощутили они широкую радость совершившегося в их жизни переворота.

Оттого и трезвые в этой толпе казались пьяными. Охмелели буйным хмелем задора. Стреляли в воздух из винтовок, орали, не сердито, а задорливо ругались. Шестнадцатилетний белобрысый паренек, путаясь в длинной, будто тятькиной, шинели, удивленно-весело кричал:

— Эй, товарищи, затвор я потерял! Эй, затвору никто не видал?

Бородатый фронтовик добродушно-снисходительно выругался:

— Сучий сын, сопля! Теперь орудуй без затвору!

— Затвор потерял, вояка!

— Зеленый еще! Доспет, солдатом будет.

— Ничо, я без затвору... Я и так казака растворожу... Ничо!

И лихо, с выкриком, песню поддержал:

...К ружьям привинтим штыки...

Люди, видящие только то, что можно пощупать, окружили толпу красногвардейцев враждебным гулом:

— Да, армия! От первого выстрела убежит!

— Затворы растеряли! Штаны-то на ногах иль тоже потерял?

— Сыно-о-чек, и что ты с ними связался? Вернись, убьют!

— Фронтовиков-то и не видать. А эти навоюют.

— Они начальникам-то своим в лицо плюют. Дысцыплина.

— Пленных с собой понабрали! Со своими воюют, а чужаков к себе!

— Эх, Россия, Россия, пропала! Совсем пропала!

В этот враждебный гул вплетались дружелюбные восклицания.

Артамон Пегих, не думая о том, услышат ли его, отзовутся ли, вопил:

— Которы нашенски сельчане... Митроха Понтяев ай хто! Держись! Нашинска волость в большевиках состоит... Доржись, робята!

— Голубчики! И одежонки-то военной не на всех!

— Ничо, не баре, выдюжат!

— Чо шипишь, чо шипишь, пузата? Охвицериков твоих не видать? Змеюга!

— Ты сам-то игде видал армию! В кабинетах своих? «Не стара армия»! И где ты от военной службы прятался? Какую армию видал? Ну!..

На подъезде появился высокий очкастый член военнопленного штаба.

Опять загремели, колотя захолустный покой, большие слова:

— Нигде в мире нет Республики Советов. В Европе гнет капитала...

«Белобрысый» понял, что Красная гвардия должна пригрозить Европе, и радостным ребячьим выкриком из рядов отозвался:

— Пострамим Европу, товарищи!

Ванька, румяный, радостный, тоже будто хмельной, Софрона в толпе за рукав поймал.

— Тятька, определи меня с ними! Чтобы взяли!..

Голос просительный ребячьим стал, а то всегда говорил, как большой, грубовато и степенно. Не побоялся бы и без позволенья отца удрать, но резче взрослых, сильнее ощутил великость больших слов и увидел себя таким, каким был: мальчишкой, которому еще доверья нет.

— Определи, тятька!

— Ах ты, поросенок! Рано. Определю еще...

Шершавой рукой смазал Софрон Ваньку по лицу и радостно засмеялся.

А сбоку от них, у забора, господин в черном пальто с барашковым воротником злобно и громко крикнул:

— Не Красная гвардия, а красная сволочь!

Софрон быстро повернулся, но господин еще быстрей в толпе растаял. Софрон погрозил в толпу кулаком. Сразу потемнел и почуял: в углах враги!

Смело, товарищи, в ногу!..

— Стройся! Эй ты, чертова перешница, в ряды!

— Стройся!

— А-а-а... а... ри...

Гудела толпа. Крепчал ветер. Весенний месяц будто

обозлился на этих солдат, вспомнил, что он еще хмурый, зимний...

Начал падать снег.

— Мамонька, никак метель будет!

— Ничо и в метель! Русский привычный.

6

Софрону доктор не понравился. Тонкогубый и глаза прячет.

— Прислали, дак живите.

— Без вашего разрешения не мог распорядиться дом открыть.

— Разрешаем. Отдерите доски да живите.

Доктор стоит у стола так, будто остерегается к нему прикоснуться. Одежда военная, чистая. Левая рука в черной перчатке Софрону в глаза лезет. А доктор ее всегда носил: изуродованный палец скрывал.

— Благодарю вас. Завтра же устроюсь. Разрешите откланяться? — И к двери.

— Слышьте! Как вас?.. Господин доктор! Вы как, из военных будете?

— С начала войны на фронте. Недавно вернулся в город.

— Ишь ты! А я думал тыловничали. Непохож на фронтовика! Солдаты не били?

— Что?

Даже взглянул прямо. Нехороший глаз, нутро не показывает.

— Не били, спрашиваю? После, как царя отменили?

— Я всегда честно выполнял свой служебный долг.

— Видать, старательный...

Доктор плюнул только на улице. И то первый раз не сдержался умный протопопов сын. Хоть и утешал себя:

«Все-таки здесь спокойнее, чем в городе. Спасибо фельдшеру. Пригодился».

Выпросили вместо отпуска в больницу сюда поработать недели на две, ну, а там половодье. Не выбраться в город. Можно и дольше пожить. Больницу из Романовки в именье Покровское перевели: здание для нее было в имении приспособлено. Проснулись молчаливые дома разгромленного и брошенного завода. Глухой, как гроб, только господский дом заколоченный стоял. О нем и просил доктор. Открыть для жилья себе.

Софрон из города вернулся беспокойней и злей. С каждым днем властнее становился призыв земли, упрямее

держались за свои участки многоземельные, беспокойней и смелей тянули к ним руки батрачье и малоземельные. Оттого привезенное Софроном беспокойство поняли и сразу на него откликнулись. Парни и молодые мужики пошли служить в Красную гвардию. Грозили:

— Со штыками на пашню придем! Держись, толстопузые!

Мужики пожилые и старики тоже громко заявляли:

— Будя! Наша земля, как мы есть трудящие!

Посредине села, на базаре, поставили длинный шест, а на нем повесили большой флаг. Когда протоpенной тропкой шли старухи и старики в церковь, длинный и красный язык будто дразнился с шеста.

Молитвенный дом евангелических христиан все еще стоял заколоченным. Собирались у евангелиста Глебова. Пели на голос песенный державинскую оду «Бог» и стихи о жизни, которая отцветает, как трава. Но о порядке государственных говорить остерегались. Только в тайном разговоре с богом, в думах просили: порази нечестивцев. Купцов будто не стало. Ходили в мужицких азямах. Без работников, сами на дворе своем управлялись. От тоски сердце у богатых беспокоилось, будто недужили. Часто в новую больницу ездили. Человек ученый и серьезный им по нраву пришелся. Возили ему муку, яйца и масло. Пока зря не пропало. Отбирают одежду, скот и за продукты, гляди, примутся. Бедные бывали редко. Некогда и непривычно лечиться.

Софрон через неделю после разговора с доктором в больницу приехал. Редькина привез. Из города Редькин приехал в солдатской шинели. Висела она на нем, как на шесте. Но от военного вида ее еще страшней стал.

Доктор встретил их в белом халате.

Софрон зорко оглядел белый стол, баночки и скляночки в шкафу.

— Много ль вылечил? Аль на погосте посчитать?

Доктор сдержанно ответил:

— Есть и на погосте, а некоторым помог. Деревенских лечить трудно. В грязи живут. Вот сектанты почище. Оттого, что грамотные.

— Было время учиться. А ты с ними компанию водить-то води, да оглядывайся! А то самого полечим, — прохрипел Редькин.

Доктор глаза веками прикрыл.

— Лекарств вот нет.

Редькин сверкнул подозрительным, сверлящим взглядом.

— А куды делись? Найди! Ай богатый класс все выпил? Давай мне каких порошков. Нутро горит.

— Выслушать, выстукать вас надо.

— Нечо стукать! Настукали уж. Траву давай, чтоб дыхать полегче! Под леву лопатку все шилом колет.

И закашлялся бьющимся кашлем. Глаза выпучил.

— Легкие у вас больные. Надо питаться хорошенько, не утомляться.

— Ладно, сичас к себе в кабинет приеду — и на мягку перину. Кабинет-то только у меня на подпорках да перина тонка. Давай питья какого!

Доктор плечами пожал, велел фельдшеру в пузырек что-то наболтать. Все торопил. Очень мешал ему Софрон тяжелым неотрывным взглядом. А в это время в коридоре шум послышался. Без предупреждения распахнулись большие белые двери. Трое красногвардейцев внесли четвертого, бледного, с перекошенным лицом и стиснутыми зубами.

Софрон навстречу метнулся.

— Откудова? Где ранили?

Правая рука у раненого была привязана кушаком к поясу, и на плече шинель заскорузла от крови. Когда положили на кожаную кушетку, старший, в лохматой шапке, ответил:

— Тута стычка вышла с казачишками. Рубанул его один. Не насовсем, а ровно крепко.

Раненый открыл помутневшие глаза и сказал слабым, но внятным голосом:

— Кровища льет. Заткни чем ни то, пожалуйста!

Мычал от боли, когда раздевали. Но, услышав голос доктора: «Скверно», — сказал опять внятно:

— Ничо, у меня жила крепкая...

Софрон доктору сказал:

— Этого — чтобы вызволить!

Пошел и красногвардейцев рукой поманил за собой. В тайном разговоре все выспросил. Неспокойно в уезде. Не зря тревога с отрядом казачьим была. Разбили их, а на станицу два набега другие сделали. Богатые села бунтовать начали.

— Про Небесновку в городе тоже говорили. Ну, на тебя полагаются, — сказал старший, знакомый Софрону.

Когда Софрон с Редькиным из больницы выходили, Редькин спросил:

— В господском-то дому доктор теперь?

— Он.

— А кака эта пика на доме?

И показал на громоотвод на господском доме. Четко вырезывался он в легком, весну почуявшем воздухе.

— Говорили, чтоб гром отвести. Грозой чтоб не разбило. Господа народ дошлый. На небо молятся, а, промежду прочим, от него обороняются.

— А разговаривать через него нельзя?

— Через пику-то? А как? С кем? С богом, што ли?

— А може проволока кака под землей? Теперь всяки телехвоны да граммафоны...

— Не знаю. Ваньку надо спросить.

Вечером Ванька по книжке из библиотеки читал Софрону и Редькину про громоотвод.

Редькин слушал внимательно. Потом спросил:

— А книжка-то как, полная или нет?

Ванька понял вопрос. Ведь бывает на книжках «полный курс географии», «сокращенный курс». Потер лоб и прочитал на крышке книги:

— «Издание для народа».

— А, для народа! Не все здесь прописано. Господам больше известно. Слышь-ка, Софрон, слово сказать надо. Айда-ка!

И пошли из избы. Дарья недовольно отозвалась:

— Каки от своей крови тайности!

Но Софрон строго оборвал:

— Свое бабье дело знай!

С Дарьей жилось хорошо после примиренья, но разговаривать с ней о деле Софрон по-прежнему не любил. Какой у деревенской бабы «смысел»? Ванька — другое дело. «Умственный» растет. Но раз Редькин не хочет...

На дворе, у хлева, в котором беспокойно завозилась корова, Редькин спросил:

— Зачем и к чему дохтур к нам приехал? Раньше фершала чуть выпросили. И я тебе скажу — за им купеческая дочь: панкратовская девка. С им, дознал. Я этту лекарству-то вылил.

— Ну?

— А казаки?

— Ну?

— С ними по проводу под землей разговаривает. Вести об деревне дает! И об нашинских солдатах.

Редькин сказал с глубокой уверенностью. Софрон задумался. Заныло в сердце: ученый, одурить может.

— Ладно, сымем громоотвод, а там увидим.

В этот тихий вечерний час в господском доме сидели доктор с женой. В большой, хорошо вытопленной, но пустой комнате не чувствовали себя дома. Будто на переса-

дочной станции удалось укрыться. Передохнуть от шума и сутолоки. Но придет поезд и радостно будет уголок этот покинуть. С собой привезли только дорожный сундук да постель. Поставили в квартиру две походных койки и длинный стол. Докторша лампу с собой захватила. Большая, горит на столе, а в углах от пустоты все будто мрак. Доктор смотрел в книгу. Но оттого, что на лбу беспокойно менялись продольные и поперечные морщины, Клера знала: не читает, о своем думает.

— Саша!

— Что, детка?

— Здесь тоже страшно! И как там мама с папой...

Потянулась к нему, хрупкая, привлекательная больной прелестью, какой иногда отмечает вырожденье. Единственная дочка у пожившего бурно папаши. С детства страдала пляской св. Витта. Лечил ее с двенадцати лет этот доктор. Будто вылечил. Когда стало шестнадцать, женился. Взял приданое большое и любовь нераздельную, фанатичную, какая бывает только у больных, грезой живущих.

Приласкал снисходительно, как всегда. Но в синих больших глазах тревога не растаяла.

— Ничего, недолго, переждем. У мужиков это сверху только бродит. Сектанты со мной откровенны. Сегодня узнал, что в уезде много недовольных. Голова не болит? Что печальная?

— Нет. Томительно как-то. Предчувствия...

— Пустяки. Нервы.

С силой ударил в окно ветер, плачем нежданным пропел в трубе. Клера затряслась, заплакала. Умело успокоил. Дал лекарство. Когда улеглись в постель, рассчитал, раскинул в уме срок, в какой соберутся и окрепнут казаки.

Утром Жиганов долго у доктора пробыл. Приехал насчет грыжи посоветоваться, потом долго с доктором опасливо и чутко, стены слушая, шептался. Доктор проводил его веселый. На сиделок и бестолковых больных в этот день по-хозяйски покрикивал.

А к Софрону курносый подросток в огромной папахе верхом на старой сивой кобыле прискакал. Привез замасленный серый конверт. В нем: усилить в волости охрану.

В полдень в больницу явился Редькин. Нелепым казался у смертью меченного револьвер. Как-то уныло торчал из кармана. И шинель на нем тоже, как чужая. Доктора в коридоре встретил. Он собирался сектанту опухоль гнойную разрезать. Давал распоряжения приготовить все нужное. Редькин его остановил.

— Срочный приказ от Интернационального исполкома сообщить должон.

— Ну?

— Не ну, а веди куда поговорить. Дело обстоятельное.

— У меня операция. Больной готов и ждет. Я сейчас занят.

— Ну ладно. Доканчивай. Но чтоб к обеду был в исполкоме!

Доктор сегодня нетерпеливый. Вспылил:

— Я ведь не хлеб из печки вынимать собираюсь! Человеческое тело резать! Что значит «доканчивай»? Не знаю, когда освобожусь!

Перекосило лицо, но бьющий злобой взгляд Редькина страшен. Укротился доктор. Глухо крикнул в дверь:

— Операции сегодня не будет! Скажите больному. Пойдемте в эту комнату!

Дверь перед Редькиным открыл. Через полчаса вышел бледный, с крепко сжатым ртом. У двери еще раз сказал:

— Передайте исполкому: громоотвод устроен не мной. Убирать его не стану! Еще раз заверяю вас, что только темнота, незнание...

— Ладно! Опосля поговоришь!

В дверях еще раз остановился Редькин. Горящим взглядом своим еще раз доктора ожег. Над чем-то будто подумал, револьвер пощупал. Потом круто повернулся и хлопнул дверью.

За обедом жене доктор ничего не сказал. Но она следила за ним неотступным, преданным собачьим взглядом и ничего не ела.

Первый услышал ночью слабое хрустенье талого снега дворовый пес. Залился надрывным, бешеным лаем. И почти одновременно с ним услышала Клера.

Взметнулась с постели в длинной ночной рубашке так быстро, будто лая этого ждала.

— Саша, Саша!

Только когда застучали сильными мужицкими ударами в дверь — проснулся.

— Кто там?

— Отворяй!

— Я не могу так... Кто?

— Отворяй! Дверь-то высадить долго, что ли?

Завозилась в доме прислуга, показался больничный служащий Егор. Появлением своим он будто ободрил доктора. Наган в руке крепче сжал. А сзади Клера. Вцепилась в плечи тонкими руками, точно в одно с мужем хотела слиться.

— Подожди, Клера... Не открою! Кто?

Голоса за дверью тише, словно совещаются. Издалека ветром донесло:

— Эй, ктой-та тут?

Застыли в доме у двери в ожидании. А Егор ворота и со двора дверь открыл. Понял: не впустить в дом, всем отвечать придется. Доктор слышал шаги: уходят. Перевел дух и в комнату из коридора пошел, придерживая левой рукой Клеру. И лицом к лицу — в солдатских шинелях, с револьверами. Не крикнул, не вздрогнул, только посерел. Рукой неверной хотел наган спрятать. Но увидали. Передний крикнул:

— С леворьвером! Нечо с ним дипломатию разводить! Айда!

Взметнулась докторова левая рука в черной перчатке. Солдат за правую тряхнул.

— Айда!

— А-а-а!.. Не пущу! Не пущу!

Крик у Клеры такой, что, казалось, все стены пробил. Но скуластый парень, стоявший впереди, не поморщился, успокоительно объяснил:

— Про тебя разговору нет. Доктор, поворачивайся!

— Не пущу! Насильники! Палачи! Подлецы!

Плевала, кусалась, царапалась, ощетинившейся дикой кошкой кидалась. Мешала доктора взять. В хрупких руках неестественная сила появилась.

Курносый восхищенно удивлялся:

— Ат баба! Глядеть — дохлятина, а цепкая! Волоки с ним вместе.

Черными тенями на площади за домом — Софрон и Редькин. Резкий, звенящий Клерин голос разнесся раскатом. Но за глухими дверями новые люди. Их крик никому в уши не бил, и они чужого не слушают. Плачем отозвался только Петька сторожев в больничной кухне.

Софрон приказал:

— Заткните бабе глотку! На кой приволок?

— Цепляется.

— Эй ты, барин! Говори — чо казакам передавал?

Грозен и четок голос Софрона. С хрипом голос докторов:

— Не мог я с казаками разговаривать...

— А, не мог. Р-раз!

Доктор упал оглушенный. Курносый загляделся, ослабил руки, Клера вырвалась.

— Палачи! Насильники! Все равно конец вам скоро! Саша! Саша!

7

День за днем, как костяшки на счетах, отбрасывает жизнь в расход изжитое время. С закономерностью неумолимой проводит смену весен и зим, никогда не сбиваясь и не путая сроков, определяя каждому дню пребывания в жизни его тревогу и успокоение, скорбь и радость.

Мужики в Интернационаловке готовились к покосу. Загудели, заворошились, высыпали на улицу из домов своих, приспособленных только для зимней спячки, не для наслаждения уютом и домашним покоем. Мужчины в будничных портках и рубахах, но живой, говорливой, как в праздник, толпой шли, собирались у большой артельной кузницы на выезде из деревни. Пряный густой аромат распаренной солнцем земли, приносимый ветром с полей, и здоровый запах навоза со дворов, как вино, тревожили кровь, радостным, пьянящим ударяли в голову, омолаживали глухие голоса стариков, крепили нутряным, грудным звуком звонкие выкрики молодых, серебром переливали детские слова-колокольчики. В нынешней радости было новое. Заовражинские, которым в прошлые годы было положено только отраженный от хозяев свет радости принимать и сытиться от мысли: чего косами начиркаешь, — гудели нынче густо, как сильные. Оттого, что длинной ратью выстроились у кузницы машины и для их покоса. Солнце и радость сделали морщины на лице у Артамона Пегих лучами, грязноседые волосы — серебристыми. Маленький и сухонький, сегодня он будто распрямил батрацкой работой согнутую спину и повыше, казалось, стал. Как хозяин заботливый, кричал:

— Софрон, а Софрон! Слышь ты, Артамоныч: сколь кузнецов-то у нас?

— Деся-ать!

— Хватит ли по машинам-те!

И тревожным перекатом по заовражинским:

— А и то, хватит ли?

Втянув черную лохматую голову в плечи, Редькин острые скулы свои к солнышку поднял. Будто тепла просил. И блики радостное лицо оживили, оттого и голос с меньшей натугой, чем всегда, прохрипел:

— Савоська... это нашинский... Постараемся. Его для надзору поставим. А надо, так все мы закузнечим. Было б над чем!

Сектант Глебов угрюмо отозвался:

— Кузнецы!.. Над машиной-то сноровку надо. Эндаки, как Пегих да Редькин, накузнечут... Каки целы зубья-то, и те переломают.

Софрон насмешливо оборвал:

— Ничо, не сокрушайся об нас, не труди печенку. Переломам, новы наварим. Сами не сумем, тебя приспособим. Потрудитесь, мол, товарищ Глебов, для черноты крестьянской. Э-э-х, табачком побалуюсь. Весело!

И непривычными пальцами начал свертывать папироску. Живя бок о бок с сектантами, мало курили интернационаловские мужики.

Кривошей Савоська от двери кузницы крикнул:

— А ты, Софрон, махры-то из городу для кузнецов расстарайся. Уважим! А энти, псы-то, гавкают, знамо, со зла. Мы свое справим, вы поспевайте. Вот, к слову сказано, лобогрейка. А почему? А потому — лоб греет. За ей поспевай в ногу. Как под музыку, паря!

— Махорка запасена. Айда, музыку только готовь, поспеем. Мужики-раскоряки подладливы, только поучи. На войне не под эдаку музыку поспевали! Штой-то Жиганов Алексей Иваныч нонче смирен? Мир радуется, а он рта не раскрывает. Ай матюком подавился?

— Ха-ха-ха-ха!..

— Го-го-го!

— Подавишься! Прятал, прятал машины для себя, а теперь айда-ка к Софрону наймайся.

— Наймем ли, что ли, братцы, Жиганова-то в работники? А?

Жиганов сплюнул, белками синими сверкнул, но ответил спокойно:

— Не было бы нас, и машины-то взять негде было бы. А от работы мы не отлыним. Как, Софрон, нас в коммуны-то примаете?

— А, реготали, а теперь учуяли?

Редькин завопил:

— Эдаки коммунщики только за машинами за своими тянутся. Чтоб не выпустить! По шеям их!..

— Знамо без них! Пущай сено у нас покупают.

— Не примать!

— А чо не примать? Пущай идут в долю. С лошадями они.

Софрон спор прекратил:

— Пущай вровнях с нами побатрачат. Примам. Главное дело — лошадны.

— Правильно-о!..

Артамон Пегих справился:

— Сено-то как, на душу делить? А на душу, дак примай, каки охотятся.

— Айда в школу, в коммуны записывать!

— Чо и во сне не мстилось, увидать привелось. Ко-омму-ны! Ну, ну!.. Ну, поглядим. Либо волосья клоками, либо сено стогами.

Повалили к школе. В кузнице началась жаркая музыка работы. Редькин около машин остался. Все ему казалось, что отнимут их. Надо сторожить верным глазом. Деревня ожила в перекличке возбужденных человеческих голосов. На дворах звонко и горячо переругивались бабы:

— Таку недопеку незачем в коммуну примать, лучше нашу корову! Скорее повернется. Я смехом, а ты...

— Смехом! А с Касатенковой Марькой связались! В девках-то люди обегали, до двадцатого году просидела. И мужика-то по себе нашла, — ни в каком деле не горазд...

За кузницей на лужайке дети звенели:

— Которы машины жигановски, теперь нашински!

— Как раз! Вашински! А нашински?

— И вашински!

— А жигановски?

— «Вставай, проклятьем заклюменный... Своею собственной рукой...»

— Ах ты, холера тебя задави! Семой год, а ты туда же — «Вставай, проклятый». Иди в избу, пока не взгрела!

— А ты, тетка, не лайся на его. Старый прижим-то отошел!

Весь день, хлопотливый, горячий, ароматом с поля обвеянный, был суматошно-радостен. В одно утро выборные от коммун выехали делить луга. Шумной, говорливой толпой провожали их мужики, бабы. Выстроились верховые с деревянными саженями в руках.

— Ну, анжинеры, не подгадьте мерялкой-то своей.

— Чо остерегаешь? Сажени-то, знать, стары, меряны.

Гикнул передний верховой, отозвались остальные: мужики, выборные от коммун, и ребятишки-добровольцы. Из-за радости буйной степной с мужиками выпросившиеся. Взбрыкнули ногами сивки, каурки, бурки и понеслись шумным отрядом в степь.

А степь разнотравная ластится. Белым ковылем кланяется. Мигает несчетными белыми, красными, голубыми глазами — цветами. Богатство свое показывает. И жужжит и звенит в воздухе голос ее: в птичьих трелях, в трескотне кузнечиков, в шуршании букашек. Будто и не умирала зимой. И все в ней пахнет сладостно. Цветы ароматны, травы ароматны, и русское небо бледноватое, кажется, пахнет солнцем. Ветерок дымом донесет, и он в степи горяч, прян и душист. Полынь, трава горькая, и та острый, до боли сладостный запах дарит. Степь вся гулкая и отзыв-

ная. О-го-го-го! А-а-а-а-а! Гулом далеко-далеко. Слуша-а-ай! Степь голос человеческий передает. Слушай, зверушки, птица, букашка, слушай голос человеческий! А-а-а!.. Грудь сама для крика ширится.

Спешились с коней. Зашагали с деревянными саженями своими.

— Стой, стой!.. Ты как шагашь? Стой!

— «Шагашь»! Каки ноги есть, тоими и шагаю!

— Ге-ге-ге! Нет, браток, надувательское время отошло! Начинай отседова.

А степь отзывается: а-а-а!..

Ребятишки перепелок шарили по кустам. Орали, будто подрядились кричать. Ванька Софронов всю ученость свою в траве растерял. Прыгал на одной ножке и пел звонко, заливисто:

Этта сама-д-перепелка,
Этта сама-д-перепелка,
Перепе-е-елка-а!..

— Дедушка Артамон, перепелку не пымал?

Артамон похвалиться захотел: увидал в траве и схватил... вместо перепелки змею. Кинул с размаху.

— Ах ты, творюга проклятая! И очень просто, вот так и ужалит.

Глебов густо захохотал. И он в степи попростел и повеселел.

— Вот оно, дед Артамон, как чужу-то землю размерять! Заместо птицы — змея в руку!

Ванька за Артамона задорно Глебову в ответ прокричал:

— Ничо, змей мы назад вам вернем! Вы с ими родня.

Глебов звонко, увесисто выругался, но больше не язвил. Хоть и не смолкал в разговоре. Целый день луга оглашались меткими мужицкими словами. Для того, что знали, видели и понимали, был у них язык ярок и хваток, переливался образами, как степь цветами.

Косить обычно начинали после петрова дня. В этот год порядок нарушили. Выехали на целую неделю раньше. Старики ругались.

— Обычай рушите! Не зря установ: сыра земля.

— Ничо, мы горячие, высушим!

Первыми двинулись машины. За ними уемистые рыдваны с бабами, детскими зыбками, бочками, палатками, ведрами, одеждой, котелками и чашками. Когда приехали, закачалась степь от разноголосья. Замелькали по степи бабьи

головы, повязанные платками, с красным по желтому, с белым по красному, разноцветными.

Участок артамоновской коммуны у леска начинался. Лесок — кудрявый, маленький. Издали был в степи, как букет небольшой на столе. А подъехали, увидели: тенистый и приютный, с родником студеным.

Завозились по стану бабы, заплакали ребятишки. Двинули мужики машины на луг. Демьян Колосов, заовражинский, с Артамоном на лобогрейке выехал. И вид у него был встревоженно-радостный, такой же, как в детстве, когда мальчишкой в первый раз на поезд попал.

Скоро на стану одна Дарья Софронова кашеварить осталась. Далеко-далеко, куда хватал глаз, все двигались по степи люди. Ванька Софронов пересчитывал:

— Нашинска коммуна — восемь семей. Мужиков с мальчишками — тринадцать, баб — семнадцать. Пантелевска коммуна — девять семей... Ничо, на луга силу двинули...

— Ва-а-ань-ка! Вань! Что растопырился? Иди!

— А-а-а!

— Но-но-но! Но-о! Пантелей, поспе-в-ашь!

— Поспем!.. Уля-а, ровней греби!..

У Аксиньи-солдатки голос из груди сам вырвался:

И-эх-эх, да травушка под коссы-ыньку легла...

Прилипли к телу потные рубахи, красным цветом прожгла кровь лицо, устали ноздри втягивать запах ароматной смерти-травы, налились тяжестью натуги спины, а передышки ни одна коммуна не объявляла. Не хотели сдавать, вытягивали свое тягло. Наконец прокричал своим Артамон, что шабашить пора. Стали замолкать машины и на других участках.

— Мамка-а! Пошевеливай! Обедать идем!

— Айдате-е! Три раза кликала!

Пить! Прежде всего пить студеную, оживляющую влагу. У родника долго мылись, плескались, ухали от холодной воды, потом, так же долго, деловито, старательно, как работали, ели из общего котла дарьино варево, запивали с густым кряканьем кислым деревенским квасом. После обеда затихла степь. Вповалку в коммунах полегли отдыхать люди и спали, не тревожимые бьющими в голову лучами жаркого солнца. Когда надо телу спать, спит, ничего не боится. Но недолго разливался в траве густой переливчатый храп мужиков и подхрапыванье баб. Поднялась коммуна, и снова шум, и треск, гомон работы. В рабочей старой одежде ловко и согласно двигался на общей работе

Глебов. В пылу ее забыл, что не один хозяин над полем. Вспомнил только ночью и долго заснуть не мог, хоть и устал от работы. Ворочался и кряхтел.

Из леска доносился зовущий смех девичий, переливы гармошки и удалая частушка парней. Когда спустился на землю ласковый полог ночи, молодежь от станов подальше ушла. Переливами будоражливых голосов своих полог этот колыхался. В кустах пары жарко обнимались, больно целовались. Но когда обвевал холодок зари и прогонял со станов истому сна и вставали старшие, молодые не запаздывали. Шли на тягло и хмелем криков и песен, молодостью согретую ушедшую ночь славили. Ссоры в коммунах во время работы были редки. Слишком ценил выгоду свою каждый, чтоб отстать, потерять лишнюю копну сена. Один раз Софрон поскандалил. Он покос только наезжал, и как в его приезд лобогрейка сломалась. Поехал верхом к Савоське-кузнецу.

— Айда, парень, в кузницу!

— Ишь ты, ласковый! Поди-ка, в коммуне раздел на душу. Не сработаешь, не прогневайся.

— Дак нашей-то коммуне как без машины?

— Ну, косами косите!

— Я те покажу «косами»!

Разъярился, а потом смекнул: прав Савоська. Как работу пропускать? И вышел приказ от исполкома: кузнецов с косьбы снять, положив сено на их долю. Каждый день новый случай учил, направлял порядок, и все уверенней становились Софрон и с ним согласные. День за днем к концу косьба. Праздников не справляли, хоть иногда и тосковали по ним. Но отказывались: на себя работали.

Передряги начались, когда стали сено возить. Глебов на своих лошадях воз за возом, а артамоновская лошаденка притомилась. Он чесал затылок, поглядывал на затуманившееся небо и ахал:

— Што ты станешь делать? Подкузьмила лошаденка! Везде бедному заковыка!

Ванька Софрону сказал:

— Мы что же, сено-то сгребали, сгребали, а теперь облизываться станем? Дожди пойдут, сгниет. На своей спине не вывезешь.

— Тебя не спросили! Знам, сделам.

Новый приказ прорвал затаенный гнев богатых. Долго галдели в волости, когда объявили, что лошади в коммунах тоже общие, сено возить по всем дворам коммуны по очереди.

Софрон на крыльцо вышел:

— Ну, а вы хочете по-старому? Наработали, да все на вас? Нет, ушло то времечко.

Сдались. Только Панкратов, мужик богатый из Тамбовки, двух лошадей своих испортил. Захворали. Аксинья-солдатка доглядела. Коновала к лошади привезли, а панкратово семейство сена лишили. Старались и другие: ночью копны к себе в коммуну с поля других перетаскивали. Но хорошо следили подростки, уличали. Ванька Софронов, загоревший и радостный, в своей коммуне за чередом смотрел.

— Эй, эй, Глебов гражданин, не мухлюй. Нынч нам лошади. Куды заворачиваешь?

— Без тебя знаю, мозгляк!

— На мозги теперича спрос. А вот по брюху только революционный трибунал плачет. Как кто выпятит, сейчас сгребет!

— Ты, сволочь, гляди, нарвешься когда... Не охнешь! Больно ловкий да шустрый стал!

— Нам нельзя не шустрым-то быть. Сказано. Российская Федеративная Социалистическая Республика. Вот и понимай.

У Глебова кулак зачесался, но только сплюнул. А в голове подивился: язык у молодых острый. Как перец, в их смачной русской речи иностранные слова.

С утра до вечера скрипят полные сеном рыдваны по дороге. Мотают головами лошади, мерным шагом таща их к дворам заовражинских. Будто удивляются, что гумна, годами по стогам тоскующие, теперь полны. Богатые сено заработанное встречают не радостью. Новая мера обиды за покос на душу налегла. Зато радостно треплет коровенку жена Редькина.

— С сенцом, рыжуха, нонче! Н-но, стой! С сенцом...

Редькин на кровати с половины покоса лежал, маялся. В коммуне мало работал; жарким летом в поле все дрожал, тепла просил. Но на его семью покос засчитали. Артамон Пегих один раз навестить его пришел, поглядел и раздумчиво сказал:

— Може, опять не помрешь. Должен бы, дак упористый! По всему весной бы еще помереть надо, а ты все супротивишься. Не знай, не знай! Должен бы, а, промежду прочим, не знаю!

Жена тоже два раза уже начинала причитать, а потом заводила последний хозяйственный разговор:

— В городу сундучок-то забыл. Беспременно Антошку спосылать надо. Детям сгодится...

А Редькин все не умирал. Хрипел, а смерть гнал. Один

раз Ванька привел к нему бывшего библиотекаря, Сергея Петровича. В продовольственном комитете теперь служил, приехал для сбора сведений. Сергей Петрович очень Редькина жалел, а не вытерпел — попрекнул:

— Вот мучаешься, и помочь некому! Доктора-то зачем отправили? Время бесправное...

Редькин только глазами повел и прохрипел:

— Уморил бы...

А Ванька резко, не по-детски сказал:

— Для кого бесправно, а кого на права выволокет. Как жили, в эдакой жизни не обучишь. А темнота, она злая.

Сергей Петрович на него взглянул и смолк.

И дома вечером отцу Ванька вдруг сказал:

— Помнишь, городской-то приезжал зимой? А правду ведь он сказал: отменить деревню надо. Чтобы, как город была, с машинами. Покос-от машины какой селу всему собрали!

А смута в уезде только замерла. Тайными путями узнали небесновцы, что казаки готовы двинуться на большевиков, и теперь упористей. Дали знать богатым тамбовским жителям. Глебов в станицу казачью на ярмарку съездил.

В престольный праздник, на Илью-пророка, все село во хмелю спать полегло. Десять вооруженных людей в темноте тихо Софронову избу окружили. Софрон на дворе случайно был. Шорох услышал.

— Кто там?

Но крикнуть не успел. Рот заткнули и связали. Весь исполком в ночь захватили. Шум бабы все-таки подняли. Но с помощью казаков тамбовские и небесновские богатые мужики с местной охраной, ослабленной в последние спокойные месяцы, справились. Всех главарей большевистских переловили.

Еще рассвет чуть брезжил, когда связанных за село на расправу вытащили. Пробуждающийся день встретил гомон людей ласковым предутренним ветерком. Шевелил волосы на головах связанных. Будто ласкал в последний день.

Худой и желтый Жиганов расправу начал:

— Что, Софрон Артамоныч, коммунами? Машины отбирать? Вот тебе за лобогрейку!

Он ударил связанного Софрона кулаком по лицу: по глазу угодил. Залилась кровью синь его. Софрон рванулся, заревел. Гулко отозвалось поле на крик. А Жиганов повалил Софрона и тяжелыми сапогами на животе его заплясал:

— Вот тебе за сгребалку! За дом мой! Вот тебе за хозяйство мое! Принимай уплату!

Сомлел Софрон. Водой отливали. Потом опять били. Избитых, измученных поставили на ноги и приказали:

— Пойте свой «Интернационал»!

Из двадцати девяти человек только пятеро запели:

— Вставай, проклятьем...

Но осеклись. Софрон, еще живой, катался по земле и кричал:

—Замолчите!.. Гады! Трусы!

Уж взошло жаркое солнце, когда двадцать девять человек в поганую отвальную яму скинули. Восемь живых еще ворошились над трупами. Всех завалили землей.

Артамона Пегих только в полдень рыжий казак нашел в стогу сена на гумне. Вытащил. Он тряхнул седыми волосами, будто выбивая из них сено, и спокойно спросил:

— Редькину-то, сказывают, дохрипеть не дали?

— Об себе думай! Сейчас тебя представлю, старый пес!

— Ну-к что! Для внуков хотел еще на земле помаяться, а не довелось, дак ладно.

И покрестился истовым крестом на восток:

— Господи, батюшка, прими дух большевика Артамона.

Его били долго, но еще живого на яму отвальную доверху набитую, притащили. Осевшим, прерывистым голосом он протянул:

— Тута, значит, кро-вушкой полили... косточками сдобрили-и.

Прикладом казак прикончил его. Беременной жене Софрона, Дарье, живот выпотрошили. Младенца свиньям кинули. Семьи большевиков вырезали. Иван Лутохин, пророк небесновский, уцелел. На поле был... Когда вернулся, только нагайками поучили.

И Ваньку Софронова судьба укрыла. В город перед Ильиным днем уехал.

1922

ПРАВОНАРУШИТЕЛИ

1

Его поймали на станции. Он у торговок съестные продукты скупал. Привычный арест встретил весело. Подмигнул серому человеку с винтовкой и спросил:

— Куда поведешь, товарищ: в ртучеку или губчеку?

Тот даже сплюнул:

— Ну, дошлый! Все, видать, прошел.

Водили в ортчека. Потом отвели в губчека. В комендантской губчека спокойно посидел на полу в ожидании очереди.

При допросе отвечал охотно и весело.

— Как зовут?

— Григорий Иванович Песков.

— Какой губернии? — брезгливо и невнятно спрашивал комендант.

— Дальний. Поди-ка, и дорогу туды теперь не найду. Иваново-Вознесенский.

— Как же ты в Сибирь попал?

— Это какая Сибирь! Я и подале побывал.

Сказал — и гордо оглядел присутствующих.

— Да каким чертом тебя сюда из Иваново-Вознесенска принесло?

Степенно поправил:

— Не чертом, а поездом.

На дружный хохот красноармейцев и человека, скрипевшего что-то пером на бумаге, ответил только солидным плевком на пол:

— Поездом, товарищи, меня привезли. Детей питерских с учителем сюда на поправку прислали. Ленин приказал: подкормите детей, дескать. Ну, а тут Колчак, я в деревню убег.

— Что ты там делал?

— У попа в работниках служил. Ты не гляди, что я худячий. Я, брат, на работу спорый.

— Ну, а добровольцем у Колчака служил?

— Служил. Только убег.

— Как же ты в добровольцы попал?

— Как красны пришли, все побегли, и я с ними побег. Ну, никому меня не надо, я добровольцем вступил.

— Что же ты от красных бежал? Боялся, что ли?

— Ну, боялся... Какой страх? Я сам красной партии. А все бегут, и я побег.

Красноармейцы снова дружно загрохотали. Комендант прикрикнул на них и приказал:

— Обыскать!

Так же охотно дал себя обыскать. Привычно поднял руки вверх. Весело поблескивали на желтом детском лице большие серые глаза. Точно блики солнечные все скрашивали. И заморенное, помятое личико, и взъерошенную, цвета грязной соломы, вшивую голову. У мальчишки отобрали большую сумму денег, поминанье с посеребренными крышками, фунт чаю и несколько аршин мануфактуры в котомке.

— Деньги-то ты где набрал?

— Которые украл, которые на торговле нажил.

— Чем же ты торговал?

— Сигаретками, папиросами, а то слимоню што, так этим.

— Ну, хахаль! — подивился комендант. — Родители-то у тебя где?

— Папашку в ерманскую войну убили, мамашка других детей народила. Да с новым-то и с детьми за хлебом уехала, а меня в поезд пристроили.

И снова ясным сиянием глаз встретил тусклый взор коменданта. Тот головой покачал. Хотел сказать: «Пропащий», — но свет глаз Гришкиных остановил. Усмехнулся и подбородок почесал.

— Что же ты у Колчака делал?

— Ничего. Записался да убег.

— Так ты красной партии? — вспомнил комендант.

— Красной. Дозвольте прикурить.

— Бить бы тебя за куренье-то! На, прикуривай. Сколько тебе лет?

— Четырнадцать с Григория-святителя пошел.

— Святителей-то знаешь? А поминанье зачем у тебя?

— Папашку записывал. Узнает — на небе-то легче будет. Мать забыла, а Гришка помнит.

— А ты думаешь, он на небе?

— Ну, а где? Душе-то где-нибудь болтаться надо. Из тела-то человечьего вышла.

Комендант снова потускнел.

— Ну, будет! Задержать тебя придется.

— В тюрьму? Ладно. Кормлют у вас плоховато... Ну, ладно. Посидим. До свиданьица.

Гришку долго вспоминали в чека.

Из тюрьмы его скоро вызвала комиссия по делам несовершеннолетних. В комиссии ему показалось хуже, чем в губчека. Там народ веселый. Смеялись. А тут все жалели, да и доктор мучил долго.

«И чего человек старается? — дивился Гришка. — И башку всю размерил, и пальцы. Либо подгонял под кого? Ищут, видно, с такой-то башкой...»

Нехорошо тоже голого долго разглядывал. В бане чисто отмыли, а доктор так глядел, что показалось Гришке: тело грязное. Когда от доктора выходил, лицо было красное и глаза будто потускнели. Разбередил очкастый.

Но вечером в приюте с малолетними преступниками был Гришка опять весел. Пищу одобрил:

— Это, брат, тебе не брандахлыст. Молока дали. Каша сладкая. Мясинки в супу. Ладно.

Ночью плохо было. Мальчишки возились, и учитель покрикивал. Гришка долго уснуть не мог. Дивился:

«Ишь ты! От подушки, видать, отвык, мешает».

И всю ночь в полуяви, в полусне протосковал. То мать виделась: голову гребнем чешет и говорит:

— Растешь, Гришенька, растешь, сыночек! Большой вырастешь, отдохнем. Денег заработаешь, отца с мамкой успокоишь... Родненький ты мой!

И целует.

Чудно! Глаза открыл, и лампочка в потолке светит: Знает: детский дом. Никакой тут матери нет. А на щеке чуется: поцеловала. И заплакать охота. Но крякнул, как большой, плач задержал и на другой бок повернулся. А потом доктор чудился. Опять тошно стало. Опять защемило. Молиться хотел, да «отчу» не вспомнил. А больше молитвы не знал. Так всю ночь промаялся.

Пошли день за днем. Жить бы ничего, да скучно больно. Утром накормят и в большую залу поведут. Когда читают. Да все про скучное. Один был мальчик хороший, другой плохой... Дать бы ему подзатыльник, хорошему-то! А то еще учительши ходили.

— Давайте, дети, попоем, поиграем. Ну, становитесь в круг.

Ну и встанут. В зале с девчатами вместе. Девчата вихляются и все одно поют: про елочку да про зайчика, про каравай. А то еще руками этак разводят и головой то на один бок, то на другой:

Где гнутся над омутом лозы...

Спервоначалу смешно было, а потом надоело. Башка-то ведь тоже не казенная. Качаешь ей, качаешь, да и надоест. Лучше всего был «Интернационал»! Хорошее слово, непонятное. И на больших похоже. Это, брат, тебе не про елочку!

Вставай, проклятьем заклейменный...

Хорошо! А тоже надоело. Каждый день велят петь. Сам-то, когда захотел, попел. А когда и не надо. Все-таки за «Интернационал» Жорже корявому морду набил. Из буржуев Жоржа. Тетя какая-то ему пирожки носит. Так вот говорит раз Жоржа Гришке:

— Надо петь: весь мир жидов и жиденят.

А Гришка красной партии. Знает: и жиды люди. Это советскую власть ими дразнят. Ну, и набил морду Жорже. С тех пор скучно стало. За советскую власть заступился, а старшая тетя Зина и Константин Степанович хулиганом обозвали. А как белье казенное пропало, их троих допрашивали. Троих, воры которые были.

Гришка дивился:

«Дурьи башки! Чего я тут воровать стану? Кормлют пока хорошо. Что из того, что воры? Сам украдешь, коли есть нечего будет. Вот сбегу, тогда украду».

Крепла мысль сбежать. Скучно — главное дело. Мастерству обещали учить — не учат. Говорят — инструменту нету. А эту «пликацию» из бумаги-то вырезывать надоело. Которую нарезал и сплел, всю в уборной на стенке налепил и карандашом написал:

«Тут тебе и место сия аптека для облегчения человека. Григорий Песков».

Писать-то плохо писал, коряво, а тут ясно вывел. С того дня невзлюбили его воспитатели. И не надо. Этому рыжему, Константину Степанычу, только бы на гитаре играть да карточки снимать. Всех на карточки переснимал, угрястый! Злой. Драться не смеет, глазами, как змея, жалит. Глядит на всех — чисто нюхает: что ты есть за человек. Сам в комнате в форточку курит, а ребятам говорит:

— Курить человеку правильному не полагается.

Куренье — дело плевое. Вот сколько ни курил, отвык, и не тянет. А как заведет Константин Степаныч музыку про куренье да начнет вынюхивать и допрашивать, кто курил, — охота задымить папироску. А тетя Зина всех голубчиками зовет. По головке гладит. Липкая. Самой неохота, а гладит. И разговорами душу мотает.

— Это нехорошо, голубчик! Тебя пригрели, одели, это ценить надо, миленький. Пуговки все застегивать надо и головку чесать. Ты уж большой. Хочешь я тебе книжечку почитаю! А ты порисуй.

Ведьма медовая. Опять же анкетами замаяла. Каждый день пишут ребята, что любят, чего не любят, чего хотят и какая книжка понравилась. И тут Гришка ее обозлил. В последний раз ни на какие вопросы отвечать не стал, написал: «Анкетов никаких не люблю и ни жалаю».

Побелела даже вся. А засмеялась тихонечко, губы в комочек собрала и протяжно так да тоненько вывела:

— У-у, а я тебя не люблю. Такой мальчик строптивый.

Ну, и не люби. Жоржу своего люби. Тот все пуговки застегивает, и листочек разлинует, и на все вопросы, как требуется, отвечает. А как спиной повернется, шиш ей показывает. Девчонки все — пакость. У тети Зины научились тоненькими голосами говорить и лебезят, лебезят. Манька с копей — ничего. Песни жалостные поет и книжки читать любит. А сама из воску чисто и все перхает. Недужная. Но и с ней Гришка не разговаривает. Боится. Нагляделся на девчонок-то и не любит их. Никого Гришка не любит. И опротивело все: и спальни с одинаковыми одеялами, и столовая с новыми деревянными столами. Бежать! В монастыре детский их дом был. За высокими стенами! И у ворот часовой стоял. Гришка рассуждал:

«Правильно. Правонарушители мы. Так и пишемся — малолетние правонарушители. Важно! По-простому сказать — воры, острожники, а по-грамотному — пра-во-на-ру-ши-те-ли».

Это название нравилось, так же как «Интернационал». Гришка гордился им и часовым у ворот. Но теперь часовой мешал. Удрать охота.

Весна пришла. На двор как выйдешь, тоска возьмет. Ноздри, как у собаки, задвигаются, и лететь охота. Солнышко подобрело и хорошо греет. Снег мягким стал. Канавки уж нарыли, и вода в них под тоненьким-тоненьким ледочком. Сани по дороге уже не скрипят, а шебаршат. Лошадь копытами не стук-стук, а чвак-чвак... Веточки у деревьев голые, тоненькие, а радостные. Осенью на них

желтые мертвые листы трепыхались, а зимой — снег. Теперь все сбросили. Легонькие стали, чисто расправились после хвори... Дышат — не надышатся. У неба пить просят. Мальчишки за оградой целый день на улице криком и визгом весну славят. Ой, удрать охота!.. На дворе хорошо, когда по-своему играть дают. А как с учителями хороводы да караваи — неохота. В лапту можно.

Монашки во дворе жили. Стеснили их, а выселить еще не выселили. И утром и вечером скорбно гудел колокол. Черные тени из закутов своих выходили и плавно, точно плыли, двигались к церкви. Она в углу двора была и входом главным на улицу выходила. Шли монашки молодые и старые, но все точно неживые двигались. Не так, как днем по двору или в пекарне суетились. Тогда на баб живых походили, с ребятами ругались и визжали. А ребята их дразнили. В колодец плевали, а один раз в церковь дверь открыли и прокричали:

— Ленин, Совнарком!

Монашки в губнаробраз жаловались. С тех пор война пошла. Веселее жить стало.

2

Все жаднее пила весна снег. В церкви дверь открывали. Солнца хлебнувший воздух сумрачные своды освежал. Ворвался он пьяный и вольный. А из церкви на двор выносился с великопостным скорбным воплем людей. С плачем о чертоге, в который войти не дано. Монашки чаще проплывали тенями к церкви. Дольше кричали богу в угаре покаянном. И эти бесшумные черные тени на светлом лике весны, и песнопенья великопостные, и будоражливый гомон весенней улицы совсем смутили Гришку. Воспитатели были довольны. Покорялся он всякой науке. Смирно сидел часами. Глаза только пустые стали. А Гришка жил в себе. Ночами просыпался и думал о воле. Убежать было трудно. Шестеро старших игуменью обокрали и бежали. Но их поймали. А они бунтовать. Парни уж. Усы пробиваются. На работы их в лагерь сдали. А за остальными следить строже стали. Часовых и воспитателей прибавили. Но случай помог.

Война детей с монашками все разгоралась. В тоскливой череде дней стычки с ними были самое яркое. Ими жили в праздном своем заточении. А тут еще пятьдесят человек тюрьма доставила. Необходимо было выселить монахинь. Освободили для них большой двухэтажный дом за рекой. Близко к окраине города. Предложили переехать. Монахини покорно приняли решение власти. Только выпросили

церковью монастырской пользоваться. Но потихоньку каждая жалобу свою излила.

По утрам поодаль от высокой монастырской стены останавливалась крестьянская подвода. Иные дни — две-три. С видом виноватым, съежившись, пробирались к воротам монастыря мужики и бабы. Просительно-ласково говорили с часовыми, юркали в калитки. Двор встречал их отзвуками чужой, новой суеты. В воздухе звенели слова: «товарищ», «детдом», «правонарушители». Исконная монастырская жизнь пугливо таилась в глубине. Минуя звонкоголосых и молчаливых с готовым вопросом в детских глазах, шли в задние малые домики. Там встречали их лики святых и тонкие умильные голоса. Вот этим, дающим тайную лепту, излили душу монахини. Игуменья под бумагами подписывалась: «Настоятельница трудовой коммуны монашеской, смиренная Евстолия». На собраниях в церкви монастырской совместно с верующими уговаривала: «Всякая власть от бога». Но и она не стерпела. Знакомому мирянину Астафьеву, который раньше два кинематографа имел, на монастырь хорошо жертвовал, а теперь в губсоюзе служил и бога опять же не забывал, поскорбела:

— От храма божьего отрывают.

И побежали вестовщицы по домам, где бога не забыли.

— Монахинь выселяют!

— Театры в монастыре будут...

— С икон ризы снимают...

— С престола из церкви все председателю губчека на квартиру свезли.

— Мать-игуменью в чека пытали.

Из домов весть крылатая на базар, что на площади рядом с монастырем, перекинулась. В день, для переезда назначенный, бабы на подводах крестились. Одна — в тревоге: за капусту три тысячи недополучила. Охая, мешала возгласы к богу с бабьей бранью, визгливой и бестолковой:

— Матушка, царица небесная, троеручица. Что же это, холеры на их нет... сует деньги, а сам дирака! Коммунист лешачий!.. Микола милостивый... Молитвы, вишь, помешали... Чисто черти, ладана боятся. Невесты христовы, матушки наши... да куда же пойдут? Задави их горой, ироды, антихристово семя!.. А накося. Только глянула: был человек, нету человека... Ну, да я помню рожу твою пучеглазую! Приди-ко еще... Лихоманка собачья!..

Мужики языки не распускали, но с базара, торг закончив, не уехали. Ближе к монастырю лошаденок подвинули.

Подали подводы для монашек. Большие ворота открыли. Часовые около них встали. И точно проводом тайным

весть передалась. Сразу разноцветной волной прилила толпа. Зорко глянула из-под черного клобука мать Евстолия. И в воротах остановилась, высокая и важная. Не спеша повернулась к иконе, над воротами прибитой. Наземь в поклоне склонилась. Бабы в толпе захлюпали. А игуменья у подводы своей еще на все четыре стороны поясные поклоны отвесила. Лицо у ней — как на старой иконе. Строгое. Черными тенями двинулись за ней монахини. Как игуменья сделала, все повторили. Четкие в синем воздухе весеннем черные фигуры рождали печаль. Метнулась одна баба к монашкам с воплем звенящим:

— Матушки наши! Молитвенницы! Простите Христа ради!

За ней другая. Еще звонче крикнула:

— Куды гонят вас из храма божьего?

Третья прямо в ноги лошади игумниной. И петуха из рук выпустила.

— На нас не посетуйте! Богу не пожалуйтесь!

Заголосили истошным воем. Отозвались десятки режущих женских воплей. С улиц на плач прохожие метнулись. Конный красноармеец с пакетом на всем скаку лошадь остановил. Застыл в любопытстве. Торговка Филатова тележку с пирожками бросила. К нему ринулась:

— За что над верой христовой ругаетесь?! Покарат! Дай срок, покарат!

Задвигалась толпа. Визги женские всколыхнули. Загудели мужчины:

— Не дадим монастырь на разгром!

— Кому монашки помешали? Кого трогали?

Юркий седенький учитель бывшего духовного училища, староста церковный, к подводам вынырнул. Задребезжал старческий выкрик:

— Где же свобода вероисповедания? Свобода вероисповедания, правительством разрешенная, где?

Толпу подхлестнул.

— Правов нет!

— Ленину жалобу послать!

— Произвол местных властей!

— Богоотступники! Подзаборников в монастырь, а монахинь — долой!

А «подзаборники» шумной ватагой уже со двора высыпали. Круглыми глазами всех оглядывали. Весельем скандала упивались. Под ноги, как щенки бестолковые, всем совались. Гришка про тоску и побег забыл. Сияли серые глаза, и головенка с восторгом из стороны в сторону покачивалась.

«Чудно!.. Бабы орут, у мужиков морды красные. А монашки — чисто куклы черные на пружинах. Туды, суды кланяются. Губы поджали. Ишь, изобиделись!»

И, набрав воздуха в легкие, полным задором бунтующим, Гришка около игуменьи прокричал:

— Сволочь чернохвостая!

Диким концертом бабы отозвались:

— Над матушками пащенок ругается!

— Молитвенницу нашу материт!

Смяли бабы Гришку. Но часовой его за шиворот схватил. К стене монастырской отбросил. А сам только очухался. На скандал загляделся было. Другой тоже оправился и во двор крикнул:

— По телефону скажите! Наряд нужно!

Но шум уже разнесся по городу. С разных концов мчались конные...

— Расходись... Расходись!..

— Граждане, которы не монастырски, назад подайтесь... Назад!..

Монашка одна взвизгнула и наземь кинулась. Конный к ней метнулся.

— Подсадите матушку на подводах... Под бочок, под бочок берись. Клади... Гражданка игуменьша, на подводу пожалыте. Подмогните! Проводите!

Смешливый стекольщик, в толпе застрявший, загоготал:

— Ишь ты! Ухажор военный подсыпался.

Живо подхватили:

— Гы-ы... Га-га... И монашкам хотится с кавалерами-та.

— Хотится с ухажорами пройтиться... Ха-ха-ха...

— Лешаки окаянные... Хайло-то распустили. Матушки наши!.. Печальницы!..

— Ы-ы-ы... Еще на копеечку, тетенька, поголоси — советскую десятку отвалю...

— Охальники! Кобели проклятые!

— Ах, не выражайтесь, пожалуйста. Пойдем, Маня.

— Гы-гы-гы... «Пойдем, Маня»! Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты... Юбку клош, карман на боку... Барышни-сударышни!

— Глянь-ка, глянь-ка, монашки добро укладают.

— Ишь, стервы, вышли с узелками. Убогие! А позади сундуки тащат.

— У игуменьи в подполье чугун с золотом нашли.

— Сто аршин мануфактуры!

— Какие мученицы, подумаешь! Не на улицу выгоняют. Молиться и поститься и там можно. Правда, Вася?

— Я, как коммунист, губисполком одобряю.

— А я не коммунист, но тут я их понимаю. Детей девать некуда. Па-нимаю.

— Знамо, околевать, ребятам-то, што ли? Им тут покой да послушницы, а дети под заборами.

— Которы сироты... В пролубь их, что ли?

— Ну-ну, расходись... Граждане, граждане! Осадите!..

Монашки юбки подобрали. Суетливо вещи укладывали. Иконописность свою потеряли. Толпа гудела. Сочувствие монашкам в разговорах сгасло. Гришка от стены тихонько отделился и в толпу шмыгнул.

3

Вот один мужик на станции про себя рассказывал, сколько ему по разным городам шататься пришлось. И говорит: «Планида у меня такая беспокойная». Гришка тогда засмеялся. Со всеми вместе, а не понял. А теперь вспомнил, к себе применил: «Планида у меня беспокойная».

Сейчас, к слову сказать, ребятам там «бутенброды» с чаем дают, а Гришка по улице ходит да слушает, как в животе урчит. Назад туда неохота все-таки. Да брюхо-то несговорчивое. День протерпит, два, а там и замает человека. И припасы — ау! Все уничтожили. Шестеро их на кладбище прячется. Пятерых Гришка сыскал, которые склад губнаробразовский с кучером обворовали да из приемника сбежали. Ну, на кладбище на ночевки пристроились. Деньги у тех-то были, да и Гришка с себя рубаху да штаны верхние продал. Пальто казенное на худенькое сменял. Придачу дали. Все проели. Днем по городу канючили без опаски. Кому надо искать? Новых ребят каждый день приводят. Разве на плохого человека попадешь, привяжется:

— Кто ты есть? Откуда?

А хороший пройдет себе по своим делам, куда ему полагается, и не посмотрит.

Нынче день плохой выдался. Гришка у советской столовой стоял, никто билетика не дал. В детской, когда без карточек с тарелок доедать дают, а нынче погнали. «Рабкрину» какую-то ждут. В один дом сунулся:

— Подайте Христа ради... Отца на войне убили, мамка от тифа в больнице померла.

Взашей вытолкали.

— Иди, говорят, у комиссаров своих проси. Развели вас, пусть кормят.

Дивится Гришка:

«Дак нешто нас комиссары развели? Отцы да матери. А к им подбросили. Ну, дак говори с дураками! А есть

охота. Столовые уж закрывают. Эх ты, незадача какая вышла!»

С горя дал башкиренку — тоже у столовой стоял — по уху, а тот — ловкий. Кулаком в живот. Охнул, отдохнул да дальше пошел.

— Товарищ... Дайте на хлеб...

— Пошел с дороги! Сколько развелось, и мор не берет.

— Ишь, пошел порфельчиком помахивает! Скупяга толстозадая!

Мальчишка папиросами торгует, к нему подошел.

— Почем десяток?

— Проваливай, шпана! Эдаки папиросы не тебе курить.

Гришка глаза прищурил.

— Ох, какой зазнаистый! А може, у меня десять тыщ есть.

-- Есть у тебя десять тыщ, других омманывай! Ну-ка, покажи!

— Стану я всякому показывать. Може, и побольше было.

— Были да сплыли. Проходи, проходи, а то в морду дам!

— А ну, дай!

— И дам!

— А ну, попробуй!

— И попробую!

Встали посреди панели и друг на друга наскакивают. А тут барыню какую-то нанесло.

— Это что такое? Ты торгуешь, мальчик?

А у того папироски-то в ящике в руке. Сдуру-то и сунься.

— Высшего сорту. Сколько? Десяток?

А она его за рукав.

— Пойдем-ка в милицию. Приказ о детской спекуляции читал? Неграмотный? К родителям сходим.

Тот упирается, а она тащит. А Гришка, понятно, драть. Чуть не влопался. Ладно, баба сырая, а то обоих бы захватила. Ну, денек!

А денек уж сгасал. Печальным, серым стало небо. Одна полоска веселая розовая осталась. Да не греет. Люди в дома заспешили. Ветер злее задул.

Путаются ноги одна за другую, а делать нечего. Поплелся на кладбище. Между вокзалом и городом, на пустыре, оно. Стенами каменными огорожено, а калитка не запирается. Деревья на нем сейчас от ветру скрипят. И снег не весь растаял. Студеные ночи бывают. Но в яме

у них, в углу меж двух стен, потеплее. Осмелели: два раза костер жгли. Но часто нельзя. Дознаются.

Пришел Гришка со вздохом, а там радость ждала. Ребята пищу «настреляли» и Гришке оставили. Две девчонки от сырости песню тихонько заиграли. А они, мальчишек четверо, друг другу про день свой рассказывали. В яме сидели плотно, тесно, а лучше. Теплее, да и по ночам не страшно. А то ночью на кладбище жуть сходила. Когда ветер шумит и темно — лучше. А когда месяц на небо выпялится и тихо кругом — страшнее. Далеко собаки пролают. Там, где живые. А здесь тихо. Одно слово — могила. Чудится, затаился кто-то и рот зажал, чтобы не дышать, а сам смотрит. Из ямы выглянешь — кресты месяц освещает. Все кресты и памятники стоят прямо, застыли. Тоже будто затаились, а грозят. Сегодня ночь темная, ветреная. Ветром живую жизнь от города доносит. Васька конопатый, как сытый, всегда рассказывает. И нынче начал. Девчонки тоже замолчали, слушать стали.

Разговор зашел, что, бывает, живых хоронят. Васька и рассказ повел:

— А вот я вам, товарищи, расскажу, какой случай был. В одном городе... Ну, как вот, барышня одна так-то... Не то реалистка, не то емназистка... Пришла ето домой да «ах, ах, ах», да... «Ах, папаша, ах, мамаша, помираю». Дрык-брык, да на пол и упанула. Мамашка ето к ей, папашка к ей, а она «помираю да помираю». Ну, конешно, сичас за дохтуром. Дохтура привезли. Вот так и так, господин дохтур, помирать хочет. Дохтур ее вызволять. Ну, канешно, и квасом, и щиколатом, а она: «Нет, нет, помираю». Дрык-брык, и не дышит. Ну, дохтур уехал, канешно. Маманька эта повыла, да в гроб ее обрядили. Ну и схоронили. Вот эдак же на кладбище. Она, канешно, там лежала, лежала да давай шебаршиться. Слушает сторож: шебаршится! Слушал, слушал да к отцу с матерью барышниным. Они людей понабрали, могилку разрыли, а она уж вдругорядь померла, канешно. А, видать, шебаршилась. Ножку одну вот эдак под себя подвернула. И говорит тогда дохтур: с ней был листаргический сон. И в газете так пропечатали. Я тогда маменьке с папенькой своим приказал: меня не хороните, пока я не прокисну и не протухну. Да-а.

Ребята слушали затаив дыхание. А как кончил, Полька, дура, завыла:

— Боюсь.

Гришка ее урезонивал:

— Дура, чего воешь? Набрехал все Васька.

А Васька божится:

— Ей-бо, лопни мои глаза, в газете было пропечатано. Не то реалистка, не то емназистка.

Петька старшой, сам парнишка, ровесник гришкин, а строгий. Командир здесь. Он прикрикнул:

— Реви, реви, кобыла! Сторож услышит, он те пострашнее васькиного покажет. А ты, пустобрех, заткнись!

Васька обозлился:

— Ишь ты! «Заткнись»! Я, што ль, в газетах печатал? А вот как дам тебе бляблю хорошую, так поверишь.

День веселый удался. Парижскую коммуну праздновали. В детской столовой без карточек кормили. Кладбищенские жильцы в близкую очередь попали и покормились. А потом по улицам с народом за красными флагами ходили. «Интернационал» пели. На площадях ящики высокие красным обтянуты. На них коммунисты руками размахивали и про Парижскую коммуну что-то кричали. Один Гришке больше всего поглянулся. Большой да кудлатый, горластый. Далеко слышно! По ящику бегает, патлами трясет, а потом как по стенке ящика ударит кулаком:

— Шапки долой! Буду говорить о мучениках Коммуны.

Здорово и ясно рявкнул. Гришка слова запомнил, а потом сам в толпе кричал:

— Шапки долой! Буду говорить о мучениках Коммуны!

Около бабы какой-то закричал, она ему затрещину влепила.

— Свиненок, вопит без ума! Кака така коммуна-то, не знает, а орет!

Гришка голову, где влетело, погладил и дальше радостный помчался. Как не знает? Знает. Коммуна — это у коммунистов, а Парижска... Город такой есть. За Москвой где-то. Слыхал еще в детском доме: «Большой город Париж, в его приедешь — угоришь». Нет, Гришка, брат, знает. И снова в буйном восторге заорал:

...Сваею собственной рукой!

Народ опять остановился. Не то баба, не то барыня на ящике тоненьким голосом визжала. Что — не разберешь, а смотреть на нее смешно. Расходуется. Гришка ее тоже тоненьким голосом передразнил: и-ти-ти-ти! И дальше пошел. А из толпы пьяненький выскочил.

Пальто чистое и шапка с ушами длинными набок, а на груди бант красный прицеплен. Худенький, щербатенький; и глазами косит. А сам руками машет и орет:

— Товарищи, прошу вас апракинуть капитал!

Его за пальтишко хозяйка его, видно, ухватила, а он рвется к ящику.

— Убедительно прошу вас апракинуть капитал!

Подлетели к нему два конных и под ручки подхватили. В толпе захохотали:

— Вот те опрокинул капитал!

— И чем натрескался? — завистливо удивился хриплый бас.

Гришке новая радость. К кладбищу с криком звонким летел:

— Товарищи, прошу вас опрокинуть капитал!

Однажды ночью кладбище оцепили. Крупного кого-то искали, а нашли — гришкину коммуну. И в прозрачный час, предрассветный, спотыкаясь спросонок, плелись малолетние правонарушители знакомым путем.

4

После ночной отсидки опять в наробраз повели. Партию в пятнадцать человек. Три милиционера провожали. Старший всю дорогу кашлял, плевался и ребят отчитывал:

— Ну, какие из вас человеки вырастут, как вы сызмальства под конвоем? Навоз вы, одно слово! И на что вас рожали? Тьфу! Ну, ты, голомызый, не веньгай! Без тебя тошно.

А башкиренок косоглазый не понимал по-русски. Визжал и бежать хотел. Рябоватый милиционер ему винтовкой пригрозил, потом за длинную рубаху взял и за нее за собой потащил. Тюбетейка в грязь упала. Старший поднял и набекрень ему ее нахлобучил. А башкиренок рвался в сторону и кричал. Неподвижным оставалось скуластое желтое личико, крик был скрипучим, но монотонный.

— Ига кайттырга ты-лэ-эм! (Домой хочу!)

Ворчал старший в ответ:

— Катырга, катырга... Знамо, каторга. И вам и нам с вами. А ты не скрыпи! Коли тебе жизня определила каторгу, скрыпи не скрыпи — толк один. Навоз, как есь навоз! Не скули!

А башкиренок скулил. Как щенок, на которого люди впопыхах наступили. Проходящие на ребят оглядывались. Седой господин, с воротником, и в нынешний теплый день поднятым, остановился. Головой покачал и громко сказал:

— Безобразие! Детей с винтовками провожают. Били, верно, малайку-то?

Старший к нему дернулся:

— А жалостливый, дык возьми к себе! Каждый день таскаем. Жалеете, а кормить не жалаете!

Господин возмущался. Дети дальше брели.

В наробразе, известно, в комнату по делам несовершеннолетних. А там уж на полу сидят. Старенький делопроизводитель в бумагах заплутался. Мается и листочки со стола на пол роняет. Барышня с челкой завитой в шкафу роется. Другая, постарше, со стеклышками на носу, шнурочек от стеклышка теребит и сердится:

— В губисполком всех отправлю. Куда хотят, пусть девают! Что это...

А в дверь еще с ребятами. Всякими. И в казенной одежде, и в одном белье, и в разном тряпье.

В приемник гришкину партию отправили. Там сказали:

— Некуда. Не примем.

Назад привели. Старший сопровождающий плюнул и ушел. Двое других цигарки завернули и на пол на корточки присели отдохнуть. Гришку замутило. И от голода и от воздуха в комнате тяжелого. А больше от тоски. На пол сел, мутными глазами в потолок уставился, крепко губы сжал. Лицо стало скорбным и старым. А в комнату вошел бритый, долгоносый, с тонкими губами. На голове кепка приплюснута была на самые глаза. Ступал твердо. Точно каждым шагом землю вдавливал. Громко спросил:

— Што? Навертываете? Все с бумажечками, с бумажечками? В печку все эти бумажки надо. А ты башкурдистан, чего воешь?

Он спокойно ни минуты не сидел. Каждый сустав у него точно ходу просил.

— Подождите, товарищ Мартынов, — затянула жалостно старшая барышня. — Всегда вы с шумом. Вот голова кругом идет. Куда их девать?

— Сортиры чистить, землю рыть... Куда? Место найдется. Эй ты, арба башкирская! Долго еще проскрипишь?

И похоже передразнил:

— И-гы-гы-гы...

У башкиренка глаза высохли. Губы в усмешку растянулись. И скрип свой прекратил.

— Ну так, барышня, как? Все бумажечки, бумажечки? По инструкции с анкеточками? — И ладони одна о другую потер. — Десять этих барахольщиков я у вас возьму. Десять могу.

— А, вот хорошо, товарищ Мартынов, — обрадовалась старшая. — Мы вам сейчас по анкетам отберем. Тут есть такие, у которых дела уже рассмотрены.

— Я сам отберу. У меня своя анкета.

И к ребятам повернулся со стулом. В белобрысого высокого мальчишку взглядом уперся.

— Эй ты, белесый! Воровать хорошо умеешь?

Тот покраснел и затормошился.

— Меня занапрасну забрали. Это Федька Пятков украл, а я...

— Врать хорошо умеешь. А драться любишь? Врукопашную или ножиком?

— Нет, я не дерусь.

— Не дерешься? Дурак! А ты што прозеленел?

Это Гришке он.

Гришка глянул, как он на стуле вертелся, и засмеялся.

— Что смешно? Рожа-то што у тебя зеленая?

Гришка носом шмыгнул, сказал в ответ:

— Прозеленеешь. Не пимши, не емши с утра тут.

— Не привык разве без еды?

— Привыкаешь, привыкаешь, а все брюхо ноет.

— Из тюрьмы, что ль, бежал?

— Какая тюрьма? Я малолетний. Из монастыря бежал.

— Пострижку уж делали? Это, друг, у них не монастырь, а ме-ди-ко-пе-да-го-гический городок зовется. Чего же ты бежал?

— А так. Неохота там.

Старшая барышня ученые глаза сделала и сказала:

— Дефективный. Очевидно, категория бродяжников.

— Вот и под пункт тебя подвели. Умные! А звать тебя как?

— Песков Григорий.

— Ага. Ну, так, Григорий Песков. В тюрьме, говоришь, не сидел?

— Как не сидеть! Сидел. Сколь раз! А только теперь не полагается. Из нас малолетних правонарушителев устроили.

Захохотал негромко, нутром, спросил:

— Слышите, товарищ Романовская, из них правонарушителев устроили? Ха-ха-ха. Сортиры чистить будешь?

— Дух от них нехороший. А надо, так буду.

— Ну, ладно. Со мной поедешь.

— Куда?

— Там увидишь.

— Скушно будет — убегу. И через часовых убегу, — со злым задором кинул Гришка.

— У нас часовых нет. Беги. А плохой будешь, так и сами вышибем. Нам барахла не надо. Этого беру.

И других ребят с усмешкой выспрашивать стал. Смирных да ласковых не брал. Трех девчонок отобрал, шесть мальчишек да башкиренка скрипучего.

— Через три дня на вокзал приходите, а завтра здесь ждите. Для тела покрышку найдем.

— Так ведь их надо куда-нибудь устроить, товарищ Мартынов, на эти дни. Нельзя же и без надзора.

— Как же! Гувернантку им с французским языком приставить надо. Парле франсе, Григорий Песков!

Почти все ребята засмеялись. Даже башкиренок. Мартынов очень смешно скосил глаза.

— Вы всегда с шуточками, товарищ Мартынов. Даже раздражаете! Вы не понимаете, что они сплошь дефективные...

— Как не понять! Наркомпрос разъяснил в инструкциях все, как следует. Накормить их, барышня, надо да на работу, камни ворочать! Ну, вот что: которых отобрал, пойдемте продукты получать!

— Ну, слушайте, это же безобразие! Надо же список хоть на них составить, потом выяснить, куда их на эти дни определить, охрану вызвать, чтоб до места проводить.

— Насчет списка навертывайте, как хотите, если писать больно любите. А охрану не надо. Я их к себе на квартиру возьму. Идем продукты получать!

— Да ведь они у вас все разбегутся!

— Убегут, в дураках останутся. Опять в ваш медико-педагогический монастырь попадут. Пишите список. Ребята, сейчас за вами приду, пойду снабжение пощупаю.

На ходу он мазнул рукой Гришку по голове и ушел. Гришке отчего-то радостно стало. Длинная рука ласково по голове прошлась. И подумал Гришка:

«Этот ничего. Мужик стоящий».

Никто из десяти не убежал. Не три дня, а неделю прожили с Мартыновым в его маленькой комнате под вздохи квартирной хозяйки. Но вздохи эти слыщали только в первый день, когда к вечеру пришли. В остальные дни возвращались поздно. Ко сну сразу. Целые дни гонял их Мартынов за получениями во все концы города. В одном месте посуду достал, в другом — мануфактуру, в третьем — крупу. Потом в теплушку грузили ящики со стеклом. С кучером Николаем на заимку за коровами ездили. Отовсюду собирал в колонию, как хозяин домовитый, Мартынов. На ребят покрикивал:

— Эх вы, барахольщики, что заленились? Навертывайте, навертывайте. Башкурдистан, с Николаем воду носи. Скот напоить надо.

И по живым жестам башкиренок понимал русскую речь.

Летел во двор с гортанным криком.

Гришка ожил. Главное дело — весело. Сколько народу за день переглядишь.

Высыхает уж земля. От деревьев дух сладкий, весенний пошел. Солнце тароватое стало, почти весь день греет. Дождик если пойдет, так радостный. Только умоет и опять допустит солнышко все обсушить.

Бегать легко! В первый же день, как из наробраза вышли, в парикмахерскую их Мартынов повел. Головы обрили наголо. Даже девчонкам. Потом в бане отмылись и в штаны короткие обрядились. И девочки. Чудно! А ничего, привыкли. Одежда легкая. И не хочешь, да скачешь в ней — штаны до колен, рубашки без воротников и рукавов.

Дорога вся в колонию была для Гришки — как первый сон чудесный.

В двух теплушках ехали. Худых коров и лошадей вместе с собой везли. На остановках убирали за ними. Воду носили. Широко расставив ноги, Мартынов воду качал. На ребят покрикивал. Во время хода поезда с ребятами про них разговаривал. Не расспрашивал, а все сами про себя наперебой ему рассказывали. Гришке он сказал:

— Родителей нет — это, друг, иногда хорошо А то мать юбкой над сыном трясет, сын бездельник выходит.

— Да, а милиционер говорил: вы — как навоз.

— Навоз — хорошо. От навоза хлеб хороший будет. Ну, ну, друзья, коров на этой остановке подоим. Молоко пить будем. Молоко — это хорошо.

Мяса не ел, а над ребятами смеялся:

— Барбосом закусываете? Зажваривайте, зажваривайте.

Гришка визжал от восторга:

— Это говядина, а не собачатина!

— Все равно. Один черт, барбос! Вот молоко хорошо. Это, друзья, хорошо.

В одной теплушке Мартынов верховодил, в другой — кучер Николай. Вот и вся охрана. Ребята менялись. То одни с Мартыновым ехали, то другие. Сами очередь установили, какой пролет кому с кем ехать. На душистом сене валялись. Песни пели. Кто какую знал и хотел. Лучше всего у башкиренка вышло. Слова непонятные, не запомнишь. А похоже, что выходило:

Ай дын бинды дынды бинды,
Ай дын бинды дынды бинды.

Чудно! Пять раз пропел. Ребята просили. Глаза закроет, ножки под себя крест-накрест, качается и поет. Хорошо! Еще пять раз Гришка слушать готов.

В широко открытые двери теплушки вольный ветер степной духовитый врывался. И буйную радость с собой приносил. Гришка криком, визгом, прыжками восторг свой в степь посылал. Для него мчится этот поезд. Для него паровик ревет. Первый раз так почуял: все Гришкино, все для него! И кричал в открытую дверь во всю силу легких:

— У-гу-гу-гу!..

Вечером, когда кругом прохлада легла и тихоньким быть захотелось, молоко пили. Теплое парное молоко. Сами надоили. Ух, и молоко! Да разве расскажешь? Первый сон чудесный разве расскажешь? Ну, как расскажешь, как сами лошадей из вагонов выводили, сами телеги запрягали? Как темной ночью по лесу незнакомому ехали и сладкой жутью лес обнимал. Как в сказке!

5

Гришка через озеро громким голосом горы спрашивал:

— Кто была первая дева?

Горы отвечали:

— Ева-а!

Смеялся Гришка:

— Ишь ты, каменюги разговаривают!

И снова, грудь воздухом подбодрив, орал:

— Хозяин дома-а?

Горы сообщили гулко и раскатисто:

— Ома-а!

— Эха это называется. Ха-ара-шо!

Во всем здесь жилки живые трепещут. Все на Гришкин зов ответ шлет. Не в городе. Там собачонка лаять может, а молчком норовит укусить. Дома не подхватят голос человеческий.

Радостно на камне стоять. Солнце еще раскалиться не успело, а камень теплый. Вчерашнее тепло за ночь не растерял.

Волны на камень несутся. Ровным голосом тянут: «У-у-у-х... у-у-у... у-х!..»

Одна большая нарастет. Разбахвалится. Голоса всех прежних покроет и раскатится: «У-ух-ху-ху-у-у!..»

И Гришкины босые ноги обольет. Они все в царапинах от камней и кустарников. Как солнышко обсушивать начнет — саднит. А хорошо!

— Дери, матушка вода, отмывай!

Штанишки короткие долой. Рубах не носят мальчишки в жаркие дни. И в воду. Охватила, прильнула, и опять

кричать охота. С волнами, с небом, с лесом, с горами, с птицами, зверями и человеками говорить.

— Го-го-го-го!

А с горы ребячий отклик несется:

— Песк-о-ов! Гришка-а горласт-а-а-й!

И трое, по пояс голые, в штанишках коротких, с горы несутся. Ногами камни с крутого спуска сбивают. Впереди всех Тайчинов. Башкиренок, с которым вместе Гришка сюда приехал.

Голову набок и, как лошадь степная, ржет. Потом прыжком, по-звериному легким, с последнего уступа к Гришке на берег.

— Рожка трубить скора нада! Зачим пирвый драл? Работать ни будишь, исть рази будишь?

— А я-то не работал, Магомет прилипучий! Ране всех воду из бочки носил, молоко мерил. Ты глаза-то не разлепил!

— Ну, латна, латна. Айда, башкой мыряй, глядеть хочу.

А сам уже в воде. Радостно визжал. Гришка послушно на песок выбежал. На руки вниз головой встал, в воздухе ловко перевернулся. И в воду головой.

Тайчинов восторгом захлебнулся:

— Баш-шкой мырят! Башкой! Уй-уй-уй!..

Синеглазый полячонок Войцеховский тоже «башкой мырнул». Белым, будто хрупким, а сильным тельцем в воздухе сверкнул.

Степенно в воде пофыркивал крепкий, плечистый хохол Надточий и вдруг басисто рявкнул:

— Ого-го-го! Оце ж так озеро! Всем озерам озеро-о!

Озеро хорошее. Нынче синее, радостное. А иногда с утра дыбом встает. Сердится и белой пеной отплевывается. А само серым станет. И всегда шумит. Морю шумом не уступит. Когда тихое, чуть не до дна всю жизнь озерскую разглядеть дает.

Какие-то тут приезжали со снарядами всякими. Озеро вдоль и поперек меряли. Ребят с собой в лодку по очереди брали. Так вот эти говорили по-ученому: вода в нем радиоактивная. Ребята с гордостью друг другу передавали:

— В нашем озере вода радиоактивная.

Большое озеро. Как из лесу выйдешь к нему, широко и вольно сразу станет. Берега горами вздыбились — горами высокими, лесистыми. Облакам грозят. Но озеро не теснят. В чаще горной вольно колышется чистое. И лес озеру радуется. Березки кланяются. Сосны и ели смолистый запах шлют. В лесу дома-дачи прячутся. А которые близко на берег выпялились. На крутизне надбрежной семь дач кра-

суются. Колония детская. Отошла она подальше от деревни и других дач.

Веселый берег у колонистов. У пристани четыре лодки качаются. И лучше всех белая парусная «Диана». На двух высоких палках холстина надписью яркой манит:

«Трудом и знанием побеждена стихия».

Любил Гришка эту надпись. Как на лодке в пристань возвращался, всегда громко читал:

— «Побеждена стихия». Во-о!

Слово-то какое! Стихия. И не объяснишь, а как услышишь — богатырем охота стать. И озеро — стихия. Оттого и шумит.

Весь берег каемкой разноцветной у воды украсился.

Круглыми серыми и белыми камешками и песком золотым на солнце. В одном месте в лесу большой старый пень выступил. Дети на нем голову старика в красной шапке разрисовали. Красками разными. И глядит пень, как живое лицо стариковское. Только бородой белой не трясет. А то прямо живой! Вон с берега глядит.

А на круче, как зверюга лесной, только без шерсти, голоногий Мартынов. Тоже в коротких штанах, как ребята, и в сетке редкой до пояса. Шел и камни на круче вдавливал. Издали гудел:

— Эй, вы! Интернационал чумазый! Проплескались? Будить других пора. Скорее! У меня чтоб — хны!

Четверо мальчишек на разные голоса отозвались:

— Хны!.. Хны!.. Сергей Михайлович, хны!..

Никто в колонии не знал, что это слово значит.

А у Мартынова оно все. Хны — хорошо, хны — плохо. Хны — быстро и ловко. Что хочешь. И только в колонии Гришка от него это слово услыхал. Это мартыновское здешнее слово. Для своих.

Гришка первым на кухню примчался. Сегодня Гришкина компания дежурит. Восемь человек. Четыре девочки на террасе сейчас хлеб раскладывают. Ух, и обед сегодня будет! Вчера сговорились кашу манную по-новому сварить. С тыквой. Сами ребята готовили, сами и обед придумывали. Состязались дежурные компании каждый день. Кто лучше накормит. Хлеб не научились еще печь. Пекарка была. А остальное все сами. Дров-то вон гора на день наготовлена! С вечера рубили. Гришка лихо и скоро колол. Мартынов увидал и весело руки потер.

— Ага, Песков, хны!

Весь вечер Гришка похвале радовался.

Ну, сейчас все готово. Молоко, кипяток. Хлеб девчата разложили.

И певуче, но властно запел рожок:

— Ту-ру-ру-туру-ру.

Берег скоро усыпало. Разноголосые, разноголовые, синеглазые, черноглазые — всякие. Мылись, плескались, барахтались. Крякали, ухали мальчишки на своем купальном месте. У пристани девочки купались. Визжали тонко, пронзительно. Но были стриженые, легкие в прыжках. На мальчишек походили.

Второй раз запел рожок.

С озера гомон в дачи хлынул. Девчонки белыми безрукавками замелькали. Голые торсы мальчишек солнцем золотились. Мчались все на террасу-столовую, как на приступ.

Махонькая черноголовка-девочка прозвенела из толпы:

— Дежурный, чай пить идем.

Гришка в сером кухонном халате с террасы закричал:

— Эй, эй!.. Я стих составил. Слушай-ти-ти:

Рожок поет,
Чай пить зовет...

Надточий в ответ рявкнул:

— Не чай, а кофе.

Мартынов тут как тут. Лицо смешное сделал и, как дьякон в церкви, пробасил:

— Я без чаю не скучаю, кофе в брюхо наливаю. Графья, не хотите ли кофею?

Смех волной все кругом покрыл. А Мартынов уж на дворе у склада.

— Кто луки и стрелы разбросал? Эй, раззявы, прислужников нет. Петруха Федяхин, ты вчера в ночное ездил? Еще кто? Опять скачки устраивали?

Расставив ноги, в землю у склада будто врос. Завхоз около него тонкие губы поджимал. Жаловался:

— Кучеров не велите нанимать. Николай все в отъезде больше. А это какие хозяева? Перепортят весь скот. Одна слава, что работники!

— Работники — барахло! Научатся. Песков, чего иноходцем с кипятком скачешь? Не видишь, из чайника льется.

А Песков Анну Сергеевну увидал. Идет высокая, беленькая, тихонькая. На ребят уголком рта дергает. Это улыбка такая у ней.

Ничего и никого Гришка раньше не любил. Все все равно. А в колонии всех полюбил. Анну Сергеевну больше всех. Как солнышко она. Горы, озера, лес — хорошо. А солнышко лучше всего. Почему она солнышко? Не знал

Гришка. Только как посмотрит, все кругом еще краше станет. Мартынов заприметил. Крякнул.

«Растет, мерзавец!» — подумал и «хны» сердито сказал. Но потом пригляделся. Весна у Гришки. Здоровая, чистая. Вся шелудивая короста прежних скитаний отсохла. Нет следов. Здоров. И прояснился.

— Григорий Песков, хны!

Смотрел и за другими зорко. Были с девчонками взгляды нежные. Лысяева Нюрой большой ребята подразнивали, но не было мутного вожделения, рано созревшего. К девочкам привыкли. Прикосновения не обжигали. Не было того, что в городах в детских домах случалось. Мартынов удовлетворенно думал:

«Вот она мать-природа и труд! Вылечили. Сколько на этих детей налипло нечистот. Отмылись! Как надо, как здоровые растут».

Широкая терраса гудела. Вся колония здесь. И дети, и воспитатели, и кучер с пекаркой, и прачка со швеей. Взрослых не сразу найдешь. Девять их только в колонии — и сотни детей.

После чая все в разные стороны партиями рассыпались. Одна партия в лес грибы собирать на зиму отправилась. Лошадь с телегой тихо по дороге шла. Ребята в траве кувыркались. Тоненький, легкий, стройной сосенке родня, татарчонок впереди дорогу на грибное место указывал. Первый ходок в колонии. Все места знал. На ночевку в лес один раз за семь верст ходили, одеяла забыли. Сбегал — одеяла принес. Потом целый день с охотниками за птицей вприпрыжку без устали ходил. И сейчас шел, точно крылья за спиной помогали. Вдруг остановился и закричал:

— Место! Айда!

За работу принялись.

Другая партия на лодке с песнями отплывала. На тот берег за рябиной ярко-красной. Еще мороз не хватил ее. На сушку набрать надо. Озеро у берегов шумит, а посредине ни складочки. Ну, день сегодня!

Гришка в третьей партии. С большими самыми версты за три на ферму с песнями пошли. Мартынов с ними. Новую дачу отвоевал. Поместье целое. Там постройка шла.

Колонисты сараи строили, ямы копали, доски возили, камни таскали, кирками камень долбили. Упорно.

Ноги на работе в кровь избивали, а радость не сгасала от боли. Там Мартынов придумал оранжерею на зиму устроить.

В наробразе смеялись:

— Электрификацию в своей колонии не затеваете ли?

Посмеивался, руки потирал, а заявил твердо:

— Затеваю. Электрическую машину на зиму поставлю.

Дружно над ним издевались. А машину из губернского города действительно привез.

В наробразе дивились:

— Ну, хват!

А ребята говорили:

— Мартынов — это хны!

И когда Мартынов рассказывал, как колония на всю окрестность засветит, как разбросает три, десять, двадцать таких колоний кругом, дети верили. И по-другому смеялись. От радости. Так смеются, когда дух захватывает.

Гришка думал:

«Всяких людей видал, а этакого нет!»

Дети в колонии всякие были. И от родителей бедных взятые. С копей. И сироты из детских домов. И правонарушители, как Гришка. Только хилых и больных Мартынов не брал.

— Ходу здоровым! Вор, мошенник — давайте. Коли тело здоровое, выправится.

Не все выправлялись. Где-то прочно внутри заседала гниль. Томились в обстановке постоянного труда. Отставали в работе, хмуро смотрели после. Кроил гримасу Мартынов и в город назад их отправлял.

Воспитателей много назад угнал.

— Инструкции пишите, — это у вас хорошо выходит.

Барышня одна, беленькая, красивенькая, приезжала. Рисованью обучать хотела. Все цветочки рисовала и платочки на голове по-разному повязывала. Один раз после бани повязала, на икону похоже.

Гришка, как увидел, громко запел:

— Богородице дево, радуйся!

И прозвали ее «богородицей». А если оденется, как все воспитательницы, в штаны широкие и рубашку, то на шее золотая цепочка с побрякушкой болтается, на руке браслет. Ребятам смешно. Ехать куда подальше соберутся, все спрашивает:

— А дождя не будет?

Тайчинов визжал:

— У-уй... Страшна! Размокнит.

Ходить долго не могла. Раскисала. Один раз устала и ребят попросила нести себя. А ребятам что? Руки сплели, посадили. А она улыбки, как подарочки, во все стороны.

Мартынов увидел и рявкнул:

— Николай! Утром на станцию. Клавдию Петровну увезешь. Ее в город надо срочно доставить.

И увезли.

До обеда все в разных местах работали. После обеда в колонии. Кто белье стирал, кто двор убирал, кто с плотниками работал. Работу свою кончив, в библиотеку шли. Книжки читали. Но читающих мало было. Не тянула книга. Еще мертвыми слова книжные казались. Картинки любили смотреть. В шахматы и в шашки резались. Перед вечером до темноты играли около Дома культуры. Так дача называлась, в которой библиотека и зал собраний были. Играли в баскетбол, в городки, в лапту. После ужина пели. Иногда рассказы слушали. Иногда плясали. Пели Гришкин любимый «Интернационал» и русские песни проголосные.

У одного воспитателя голос хороший был. И у Нюры большой. Ух, и пели! У Гришки в горле щипало и мурашки по телу ходили. Рассказы были хорошие и похуже. Слушать не заставляли. Гришка один рассказ больше всех любил. Как целое государство от голода на новые земли пошло. В горах крупных поселилось, и был у них стрелок один. Яблоко с головы у сына сшиб. Вильгельмом Теллем звали. Ух, хорошо! Кабы, говорит, не сшиб — другая стрела для тебя припасена. Это правителю он. Вроде царя который.

И казалось Гришке, что все это в их горах было, где колония. И озеро тут... Все похоже. Из книжек тоже читали. Про Тараса Бульбу больно хорошо.

Но сам Гришка, как и большинство ребят, читать не любил. Живая жизнь книжку заслоняла. После ужина время минутой одной пролетало. И хоть уставали за день, но когда кричал Мартынов: «Спать, спать!» — уходить не хотелось. Но он, посмеиваясь и руки потирая, выталкивал всех из Дома культуры. По дачам рассыпались. На постель сразу плюхались. И сразу сон слетал. Легкий. Без видений печальных. Главное дело — целый день не присядешь. Постель сразу успокоит.

Летом заведующий учебной частью в колонии мало занимался с детьми в классе по учебникам. Главным образом изучали живую природу и различные ремесла в мастерских.

Лето день за днем на нитку нанизывает. И конец скоро его нитке. Солнышко сдавать стало. Занедужило. Погреет, погреет, да и отдыхать спрячется. Паутинки меж деревьев затрепетали. Листья перед смертью позолотой стали покрываться.

О мартыновской колонии разговоры пошли. Из города смотреть приезжали. Не хвалили. Одна комиссия сказала:

— Образовательной работы мало. Слишком много тяжелого физического труда. Вредно в этом возрасте.

Мартынов сердился:

— А вам бы для картиночки только работать? Еще время для этого не пришло. Здесь свое образование. Зима придет, за книгу засядут. Сейчас некогда. Работать надо, чтобы зимой не сдохнуть. Зимой детские дома закроете, а мы выживем. Больных у меня видали? Хны!

Московская одна женщина — худая рыжая — приезжала. Все везде нюхала и губы поджимала.

—Здесь морально-дефективные есть. С ними работы отдельной не ведется.

Мартынов смеялся и советовал:

— Вы книжечку об этом напишите, мы почитаем.

И вдруг свирепел:

— Воров из города привез. Где замки у нас? Только на складах. А ключи у кого? У воров этих самых. Что пропало? Ни двери, ни ворота не запираются. Сторож — собачонка Михрютка одна. Вон правонарушитель Григорий Песков. Всю Сибирь исколесил. Весь дурной лексикон изучил. А теперь приглядитесь — с пути не собьется, теперь за него не страшно. Правонарушителей у меня много. Укажите, которые? Ну, ну. То-то. Хны!

Пожимала плечами москвичка.

— С родителями вы очень грубы. Бедные матери повидаться приедут, а вы через день их гоните обратно.

Мартынов весело соглашался.

— Это — да. Нежных маменек не люблю. Нюни распускают тут. А ребятам заниматься этим некогда. Да и сами они с ними не сидят. «Ах, маменька!..», «Ах, сыночек!..» Это, товарищ-мадам, когда беззаботно живешь. А сейчас работай, сам себя спасай! Время суровое!

Губы надула и уехала московская.

В полуверсте от колонии дачи здравотделом заняты были. Курорт. Отдыхать советских служащих присылали. Приезжали и барыни, жир нагуливали. Приходили по колонии прогуливаться с кавалерами. Мартынов раз стерпел, два стерпел. Потом раз из кухни в халате белом с поварешкой выскочил. Дежурил в этот день. И давай чесать:

— Что, бульвары тут для вас? Мадам, не желаете ли посуду помыть? Нет, так в калитку пожалуйте. Проваливайте! Барахольничать тут нечего. Жалуйтесь, жалуйтесь! В Совнарком телеграмму пошлите. Хны.

Еле калитку нашли.

А ребята картинку потом нарисовали. Забор свой ре-

шетчатый. На заборе у калитки Мартынов в образе медведя ревет. Внизу Михрютка лает. И подпись:

«Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок».

Сам Мартынов всегда в поисках. Накрутит в колонии и в город за мукой едет. Потом лесу для колонии достает. Все в свой муравейник тащит. Затворки герметические для печек печники потребовали. К зиме колония готовилась. Нет затворок. Пошел сам с Николаем, в пустых дачах у здравотдела вывернул. Начальство курортное в губернию жаловалось: дачи пустые, но ремонтировать будем, а он стащил. К ремонту здравотдел уж четвертый год готовился.

Мартынов бумажку из города получил.

— Хны!

И бумажку изорвал. Что с ним поделаешь?

Осень свою нитку до средины допряла. Березы облетели. Бор глухим, сумрачным стал. Насупилось небо. Злобно плакало проливным дождем. Озеро больше не синело. Почернело и с ревом берега било. Птицы улетели. Волка на пашне видели. В дачах печки протапливать стали. Мальчишки штаны длинные надели, девчонки — юбки. Курорт опустел. С гор ветер злой подул. В дачах пустых гулял. В колонии в крыши злобно бил. Сорвать хотел. И не только дождь и хмарь с осенью пришли. Голод поближе к колонии придвинулся. Мартынов из города злой приехал. Своим «хны» не ласкал, а ругался.

На собрании детям сказал:

— Сколько есть муки, на месяц должно хватить.

Хозяйственная комиссия подсчитала и паек определила: без четверти фунт хлеба. Мяса не стало. Рыба из озера поддерживала. Но трудно пришлось ребятам. Пашню пахали. Места мало было для пашни. Пни в лесу корчевали. На ферме работу заканчивали. Техник приехал электричество налаживать. Обрадовались, усталь забыли.

Партиями с техником на ночь по очереди оставались. Вечерами одеяла стегали. И мальчики и девочки. Надо было спешить. Вату поздно достали. Вторую швею привезли. Но швеи одежду верхнюю шили.

А ветер с гор все свирепел. С воем злобным в окна швырялся, выл в трубах. Скоро выстывали печи. Дров много надо нарубить и привезти. Сугробы лягут — не проберешься.

Деревня близко от колонии была. Совсем сникла. В деревне и летом хлеба не хватало. Ягодами, грибами, картошкой кормились. Картошка не уродилась. В хлеб кору прибавлять стали. Ребятишки голодные в колонию при-

бегали стайками. Как воробьи за крошками. Детский дом в деревне был... Заморились там ребята. И летом было — не как в колонии, а теперь смерть дохнула. Мальчишек из детского дома у завхоза курортного во дворе поймали. Мясо украли.

Мартынов колонистам рассказал.

Гришка затрепетал. Глаза помутнели и стали просить:

— К нам их, в колонию!

Собранием постановили своим отделением считать этот детский дом. Хлеб и на них распределить. По полфунту пришлось на каждого. Хозяева были еще плохие. Летом что запасли, подъели. Грибов совсем мало осталось. Картошку поздно выкопали. Половину деревня украла. Огород мало дал. Из города ничего! Крупа кончилась. Щеки у ребят поблекли и втянулись. Уставали, раньше спать расходились. Но смех еще часто звучал.

Мартынов посмеивался еще и командовал:

— Пояса потуже! Чемоданы подтяните.

Он часто на станцию ездил. Однажды ночью озеро разбушевалось. С гулом тоскливым о камни билось. Потом злобой вскипело и раскатывалось: «У-ух... У-ух...»

Ветер стены рвал. Разбить хотел. В трубе гудел: «Вышибу-у...» Когда стихал, вой доносился. Волки или собаки голодные? Электричество еще не провели. К стеклам темная ночь прилипала и дачи мраком жутким затопила. Дети уснуть не могли. Разговор тоже все обрывался. Слушали, как стены трещали и озеро выло. Будто горы разорвать хотело. И всем, кто близко, проклятье посылало.

Гришка покрутил головой.

— Стихия.

Но богатырем стать уж не думал. Вся колония маленькой, хрупкой представилась. И всеми забытой. Одни в горах. А кто-то за стенами плачет, грозит, воем похоронным отпевает. Отчего сегодня у всех такая жуть? Тайчинов с тоской сказал:

— Смирть близка гулят.

Входная дверь хлопнула. Все вздрогнули. Войцеховский крикнул испуганно. Но поступь тяжелая успокоила.

Гришка радостно встретил:

— Сергей Михалыч?

— Я!

И в спальню вошел. Гришка у двери спал. На его кровать тяжело вдавился.

— Не спите еще. Разговорчиками занимаетесь?

У Гришки жуть прошла. И другие мальчишки радостно завозились.

— Сейчас уснем! Я, Песков, за всех ручаюсь. Мигом уснем!

А Мартынов устало сказал:

— Дело табак, Григорий Песков. Дело — хны!

— А што?

Тайчинов с кровати к Мартынову скакнул. Все завозились.

— Телеграмма из губоно. Велят вас в город в детские дома свозить. Продуктов нам не дадут. А сами ведь не прокормимся?

Взвился Гришка:

— Сергей Михалыч, тут подохну, не пойду. Недарма тоска сегодня!

Затрясся весь и головой в колени Мартынову уткнулся. Никогда Мартынов не обнимал и не целовал детей. Когда видел, девочки обнимаются, ворчал:

— Сентименты!

А тут рукой Гришку к себе прижал, и его дрожь самому будто передалась. Дернулся на кровати тревожно.

Загалдели ребята:

— Зачем в город? Помирать — дак тут!

— А там чем кормить будут?

— Не налезай, Васька! Тут колония рушится, а он в ухо кричит.

— Сергей Михалыч, не дозволяйте!

И все загудели на разные голоса:

— Тут останемся! Никуда не поедем!

— Да, да, други... И девчонки сейчас. Плакали, а то же говорили. Тут надо все обмозговать. Сами знаете — работа, а еды мало. Помереть не помрем, а изведемся.

Надточий успокоительно забасил:

— Хиба ж до новыны не дотягнэм? Дотягнэм. Пашня у нас своя.

Гришка в руку Мартынову вцепился.

— Я, Сергей Михалыч, через день есть буду. Пропади я пропадом, коли каждый день!

И вдруг все детские нотки в голосе его поблекли. Точно сразу взрослым стал и с глубокой тоской протянул:

— Не отдавай нас опять в правонарушители.

Глянул Мартынов ему прямо в глаза, не увидел, а почуял в них страшную человеческую скорбь. И сказал твердо:

— Не отдам!

1922

ПЕВЕЦ

1

Долженковы лет пять скитались в оренбургских степях, искали вольной земли. На родину вернулись в голодное время, в начале двадцать первого года. Возвращенье было постыдное. Уезжали хозяевами на двух подводах, обратно притащились пешие, с легкой поклажей на загорбках. Их изба обветшала, кровля провалилась. Старший сын по возвращении устроился на работу в чужом хозяйстве. Младшего, Степку, в пастухи наняло общество. Жена старшего, Дарья, двух детей вытягивала нечастой поденщиной, писанием писем, прошений и ворожбой на гуще. Была она грамотная, смышленая и дерзкая женщина. Из всей долженковской семьи одна при встречах с богатыми мужиками смотрела им прямо в лицо. В прошлом году послали ее на женский съезд в уездный город; там она пристроилась на работу в казенной прачечной. В городе она разузнала, что средний сын, Матвей Долженков, проживает в Москве, служит в хорошем месте.

Матвея очень любил отец. Все дети — свои, как пальцы на собственной руке. Какой ни зашиби — болит, какой ни отними — навовсе о нем не позабудешь. Но когда они еще малы, толкутся под родительской рукой, выделится один для отца или для матери утешней остальных. Родительская память хранит драгоценный детский облик во всей полноте и тогда, когда он станет взрослым, уйдет к своей судьбе, хотя бы незадачливой и зазорной. Взрослым Матвейку отец не видал, ничего не знал о том, как он живет. Снился он ему часто ночами, и сновиденья эти всегда были тревожны.

Матвейка рано ушел из семьи. В третьем отделении сельской школы сильно приналег на ученье. На экзамене учитель и приехавший из города господин по учебной части

захвалили его. Заведующий школой сам приходил к Долженкову уговаривать учить сына дальше, в город отправить. Точно зельем опоили парнишку. Стал худ и ненавистлив ко всему вокруг, будто хворый. Иногда в праздник приходил отец домой под хмельком. Во хмелю он бывал всегда слюняво ласков. Матвейка жался к нему, приставал неотвязно, точно осенняя муха, все с одним:

— Папаня, пошли в город учиться. Я ведь в дом жа, вам жа наживу.

В то время у Никанора Долженкова были амбар с запасом и двор со скотиной. Но старшего сына надо женить, вышла пора и дочь замуж выдавать. Митревна прихварывала. Сохнуть, сутулиться начала, но детей еще носила. Всех обездолить придется, если Матвейку в городе учить. Никанор, жалостливо моргая глазами, внушал ему:

— И дед твой и отец неучеными прожили, ничего, не хуже других. Пить-есть, обуться-одеться хватает, и соседи не корят. Хлеба не занимаем.

Но хлеб добывать при малоземелье в их местности становилось все труднее. Двинулся Никанор с семейством на новые земли.

Перед германской войной обосновались Долженковы в Оренбургской губернии, богатой скотом. Приехал к ним из города прасол. Он купил у Никанора на убой яловую корову и быка. Полученные с прасола деньги считал Матвейка. Он жарко поспорил с покупателями из-за недоданного пятиалтынного. Прасол ругался, плевался, ногами топал, пророчил парнишке лихую судьбу. Но когда распивали с Никанором магарыч, горячо похвалил мальчишку за сметку, за упорство, вздохнул, посетовал на свою бездетность.

Никанор разнежился, всхлипнул от умиленья, тоже жаловался.

— Парень-то хорош! Хоть я и отец, а не хвалясь скажу — золото парень, а печали от него довольно.

Он рассказал подробно про Матвейкино горе. У прасола магарыч был не первым в тот день. От удачи в закупке скота, от вина веселый шум стоял в голове. Он то и дело широко распахивал кургузый городской серый пиджачишко, ласково подмигивал мужикам, обнимался с ними, хвастал про свою нестяжательность, неразумную щедрость. Тяготила ли его бездетность и он действительно до сердца восхитился чужим потомком, захотелось ли ему во хмелю оставить в деревне после себя славу благодетеля, — только предложил он Никанору взять Матвейку с собой, обещал обучить на свой счет, сделать его своим

подручным, а там, может быть, и компаньоном. Никанор заупрямился.

— Не купец я, а свое рожденье могу сам на ноги поднять. По чужим дворам не живали еще. Покорнейше благодарим, ну, не согласен. Отказ раззадорил прасола. Раз пять принимался уговаривать Никанора. Тот упорствовал.

На утренней заре прасол, проводив с погонщиком закупленный скот, выехал вслед на легком тарантасике один. За деревней дожидался его Матвейка, со слезами просил взять с собой. Прасол был уже трезв и сумрачен. От обещанья не отказывался, но без согласья отца не взял, даже отговаривал мальчишку от ухода из семьи. Все же сообщил, где его разыскивать, добавив сердито:

— Только пускай теперь он сам, твой отец, хорошенько меня попросит. Без этого не возьму.

Матвейка слезами, угрозами деревню подпалить, утопиться, а больше всего страстностью своего отчаянья вынудил Никанора на тягостный поступок. Поехал отец догонять прасола, униженно просил и сдал ему Матвейку.

Во время войны прасол разбогател. После Октябрьской революции бегал с другими богачами от большевиков, в свой город вернулся нищим умирать. Матвейки при нем уже не было. Парень ушел с красными и затерялся где-то в городах. Справлялись о нем родители много раз, при всяком случае, но искать след человека тогда надо было с предельным упорством, как дорогу в степи в буран. Долженковы так разыскивать Матвейку не могли. Старший сын был ранен, долго отлеживался в австрийском госпитале, а вернувшись на родину, попал опять в сраженье. То белые, то красные забирали его воевать. Потом вся семья переболела тифом. Разорились, затощали, перевели скот и хлебные запасы. Митревна, крепкая до косности в своих привязанностях, тосковала на новом местожительстве. За четыре года никак не могла она привыкнуть к людям, собранным в степной губернии с разных концов России, к разнообразию их обычаев и верований. Для нее свои, Россия, русские были только там, где женщины носили фартуки, как она, выше грудей, где бог один — страшнолицый Спас за престолом в церкви и нет иноверцев в селе. Где коренной хлеб не пшеница, а рожь, где у земли, привычный с детства, незаменимо милый лик родных мест. А тут — степь вместо лесов, смешанный говор, незнаемые прибаутки, присловья, свадебные обряды, проводы покойников — все казалось ей странным, даже нечестивым, вызывало брезгливую настороженность. По ее мольбам привел Никанор семью обратно в родное село. Но родина по-

казалась ей по возвращении подмененной. Не той, что вставала в воспоминаниях и во снах на чужбине. Горьки были и здесь старость и нищета. Прошло шесть лет. О Матвее перестали даже разузнавать.

Вдруг Дарья сообщила старику, что добыла его адрес. Отец даже прихворнул от душевного волнения. С неделю плохо двигался, больше лежал. Дарья написала Матвею письмо. Ответ получили Долженковы только через три месяца. Матвей извещал, что находился в отъезде по своей службе, письмо Дарьино недавно прочитал, скоро приедет в Александровку на свидание с родителями. Ни сами Долженковы, ни соседи их, никто в деревне обещанью не поверили. Если бы Матвей захотел старикам помочь, выслал бы денег, а он только отписался. Ну что ж, понятно: трудно дается после голодных лет хороший кусок. Матвею уже двадцать пятый год. Свою семью завел, — как же иначе? Отрезанный ломоть.

Но донимала нужда, и, прослушав его ответ, старик Долженков вздохнул, проговорил, совестясь, покашливая:

— Ну что же... кхм, кхм... на добром слове спасибо... А может, прописать ему, не пришлет ли... рублей пять? Муки, картошки купить... кхм... кхм... Как, Дарья, посоветуешь, а?

Дарья взглянула искоса на старика, поправила на голове повязанный по-городски концами назад красный платок, пристукнула по столу жилистой рукой, визгливым бабьим голосом протараторила:

— Я ему пропишу, я ему отпою, он у меня почешется! Я его разыграю по басам. Жди-пожди, когда приедет, кобель ласковый! Мать с отцом в ожиданках ноги с голоду вытянут! Ну, и мы поумнели. Я расстараюсь да в Москву к нему проберусь. Сам не дает помощи — вытянем! Небось, хватит! Посовестились, натерпелись. Коли эдакой сын, что абы бы самому сладко, а родители пускай водицу пьют да водицей и закусывают, — эдакого и за грудки потрясти не грех. Не думайте, папаша, не сомневайтесь: от меня он не отвертится! Но не только поехать в Москву, написать она собралась не сразу. Много было работы, очень уставала за день, не до писанья. Болели изъеденные стиркой руки, ныла спина.

Однажды в субботу, ввечеру, Дарья с детьми пришла из города, чтобы провести праздничный день с мужем. В сумерки семья собралась во дворе за ужином. Сидели на земле вокруг разостланной дерюги. Истово черпали ложками из большой деревянной чашки тюрю из черных сухарей, приправленную луком. Дарья не один раз отляды-

вала всех неспокойным взглядом. У нее в узелке, принесенном с собой, были белый хлеб, заварка чаю, селедка и три куска сахару. Разделить на всех, — что каждому достанется? Двое стариков, Степка, сестра его Фрося, она сама, двое ее ребятишек — семеро. Губы только помазать! А затемно придет на ночевку с работы муж. Тоже не жирно кормится, пусть хоть он сегодня поест вдоволь. Она считала себя правой, но не могла победить жалости к близким, давно не знавшим сытости. Взглянув случайно на Степкину спину с выпиравшими из-под рубашки острыми лопатками, она сжала тонкие губы. Худенькое рябоватое лицо ее стало совсем маленьким. Трехлетний Петька дотянулся до общей чашки, запустил в нее обе руки. Дарья с размаху ударила его по спине.

— У, свиненок, пропаду на вас нет. Еще ногами в чашку залезешь! Сиди!

Ребенок содрогнулся от боли и обиды, громко заплакал. Детский горький вскрик далеко разнесся по улице, по тихому вечернему полю за избой. Старик укоризненно покачал седой с прожелтью головой.

— Мачеха ты, что ли? Ну иди, иди ко мне, внучек иди, маненький! По земле чуть ступать начал, а ты затрещины сыплешь. Еще надают без тебя, на это не поскупятся...

Дарья перебила его визгливой бешеной скороговоркой:

— Надоели они мне пуще всякого лиха! Кто хорошо живет, так детей ни крестом, ни пестом себе не вымолят, а на наши нехватки они плодятся, как тараканы. Двоих народила, а вот, никак, опять тяжелая. Чего же это, господи, куда? Петька с Кланькой скрутили меня, чисто лошадь, путами. Без них я бы давно в делегатки выбилась. Из-за них и собранья пропускаю и книжку почитать некогда, а нонче только с ученьем языком двигать можно и работу добыть. Люди-то живут...

От горячей злости у нее перехватило дыханье. Поперхнулась словом, махнула рукой и замолкла так же внезапно, как взголосила. Старуха тяжело поднялась с земли. Крестясь, пришептывая с детства привычные, не понятные ей самой слова молитвы, она трижды поклонилась на восток серо-синему небу, медленно разливавшейся по нему темноте. Согнутая дугой спина старухи уже не распрямлялась. Когда она пошла к избе и на ходу заговорила с невесткой, казалось, что скрючил ее предельный испуг, потому оглядывается старуха не через плечо, а боязливо согнувшись, из-за локтя.

— Мудришь больно, сношенька! Делегатки да пролетарии, да текучий мамент, наслухалась я на старости, при

недальней своей могиле. Уж столь дивного понасказали наши-то олатыри, никак более и в диво человеку ничего не осталось.

У входа в избу она повернулась, согнувшаяся, будто каждый миг готовая рухнуть ниц под бременем долголетних трудов и неврачеванных болезней. Она с усилием приподняла повыше серое морщинистое, как иссохшая земля, лицо и с унылой, бесстрастной убежденностью сказала:

— Землю-то матушку сколь ни бутырь, хошь вверх донышком перевороти, людям предел не переменишь. Как господь назначил, так оно кажному на его долю и будет. Если бог без счастья на свет послал, так и в делегатках сытости ты не добудешь. Нет, милая, нет, не ухватишь! А другой и в низком звании, никакой тебе не пролетарий, а как вы, пень серый, деревенский, живет в счастье, каждый день досыту ест.

Дарья вскочила, хлопнула себя ладонями по бедрам, страстно ахнула, сплюнула и, рывком схватив на руки успокоившегося около дедушки Петьку, зашагала в поле к огородам. Семилетняя Кланька вприскочку побежала за ней. Степка, сутулясь от худобы, пошел, позевывая, в избу, на ходу неожиданно взвеселился, взбрыкнул ногами, как длинноногий жеребенок, крикнул:

— Пра-алитарии, которы пролетают...

Фроська радостно фыркнула, вытерла губы рукавом кофты и тоненьким голосом запела недавно заученные слова последней песенной новинки в Александровке:

Ах, эти черные глаза-а...

Старуха из избы заругалась на нее, заохала, закряхтела, закашлялась.

Степка из сеней звонко спросил:

— Папаня, а папаня! Говорят, в Москве печек нет. Из-под полу горячий дух напустят, а во всем доме тепло. Правда али брешет учителев Федька?

Старик не ответил, не услышав. Он стоял прямой, тощий, неподвижный, лицом к востоку. Собирался на ночь богу молиться. Перед ним расстилалась широкая поляна. В сгущавшемся сумраке цветы и травы казались сплошным темным покрывалом, принакрывшим для ночного отдыха яркую радость справлявшей юность земли. Но еще различима была прорезавшая поляну прямая длинная дорога и слитная единая тень деревьев березовой рощи за ней. Из рощи, с поляны ветер наносил быстро, легко набегающей волной ароматы майского цветенья.

Старик вдыхал их нежадным старческим дыханьем, но про молитву забыл и не приметил, как появился на пути городской тарантас на железном ходу. Звук мерного тренья колес о дорогу, стук лошадиных копыт, понуканье возницы слышались уже явственно во дворе. Тарантас повернул к деревне, приближаясь к долженковскому жилью. От невероятной, но радостной догадки у старика всполошилось сердце, стеснилось дыханье в груди, зазвенело в ушах. И вот по двору разнесся вопль испуганной счастьем старухи. Потом старик увидел, как с разбегу перемахнула через жердины изгороди простоволосая Дарья, уронившая на бегу платок, как сходились к их двору любопытствующие соседи. Позже он сам обнимал сына, расспрашивал его, отвечал на вопросы, но голоса людей и его собственный казались ему приглушенными. Все вокруг — двор, не закрывающая его изгородь в две березины, изба, кривенький хлевушек — стало непривычным, недействительным, как в сновиденье.

2

Слух о приезде к Долженковым московского гостя быстро разнесся по селу. Дарья насбирала в соседних дворах угощенье для него. Никто в этот раз ей не отказал. Косоглазая Устинья с дальнего конца деревни без просьбы сама принесла самогон в бутылке с этикеткой «мадера» и горшок крутой пшенной каши. Поспешили вдогонку за ней и другие бабы. На ходу Устинья рассказывала:

— Тетка Маша первая увидала, — едет, говорит...

Низенькая остроносая бабенка горячо перебила:

— Тетка Маша? Господи! Вот какие люди есть, прямо без стыду! Тетки Маши и в повидах-то не было, как я на дорогу выбегла. Корова у меня не пришла, корову поглядеть... Гляжу, он едет... Я тут же сдогадалась.

Басовитая, от одышки всегда пыхтящая Катерина, по прозванью Моториха, не дала ей договорить.

— В тую пятницу видала я во сне, будто бы старуха Долженива, Митревна...

Но и ее внушительный голос был покрыт торопливыми сообщениями других баб. Каждой хотелось быть причастной к событию, взволновавшему течение одинаковых дней.

В избе у Долженковых стол, криво сколоченный маломощными руками старика, накрыли самотканной скатертью. Дарья раздобыла и лампу и керосину. За столом разместилась вся семья и почетные посетители. В открытые настежь двери избы один за другим входили мужики.

Оттесненные назад бабы вытягивали шеи через их плечи, судачили шепотом, протискивались поближе к Дарье, к Митревне с расспросами. За окнами слышалось шушуканье, дурашливое покашливанье парней, девичий приглушенный смех. Ребятишки, не таясь, влезали на завалинку, всовывались в раскрытые окна, оглядывали всех с жарким любопытством. Стоящие сзади хватали их за ноги, стаскивали за шиворот, чтоб не мешали видеть. Сердитое сопенье упорствующих мальчишек порой прерывалось хныканьем, возгласами:

— Я те сам щипану! Какой нашелся товарищ ротный, командир сопливый!

— Глашка, не трожь!

— Мамка, а-а-а! Чего он ухи мне дере-ет!

— Тише вы, галманье! Дайте послушать, что московский сказывает.

Степка и Фроська часто высовывались в окно на улицу, наперебой хвалились жарким шепотом:

— Он только на кой-то застегнулся, а он при часах.

— А пинжак-то, видали, какой у него? А? Ладней, чем вон у тех проезжих, автомобиль-то которы в овраге ухрястали!

— У тех какая одежа, у нашего-то куда богатей! Вот те и «ври»! Какая у него пальто, дак и не наврешь. Эдакого матерья не наврешь.

Фроська, победно оглядывая столпившихся в темноте, подтвердила прерывистым от страстного восторга голосом:

— На низу на пальте подкладка чистая шелкова, ладошке щекотно. Сроду-отроду я не брехучая и сейчас брехать не стану, чистая шелкова!

Из толпы им отвечали завистливым сомненьем смешком, дружеским одобреньем, советами.

— Ты, Фроська, завтра вели себе купить ботинки с калошами.

— Деньги просите, с деньгами ума хватит, чего надо купить.

— А с богатству тоже, бывает, ум теряют.

— Гляди, не разбогатей, неустойка выйдет...

— А мне вот дай-ко тыщу рублей, дак умней меня, до край свету пройди, будет только тот человек, у кого их две ай три.

Матвей сидел во главе стола. Он охотно поворачивался во все стороны, успевал слышать многих, почти каждому отвечал. Старик сбоку, сначала робко, со сладким замираньем сердца, потом трезвей, внимательно разглядывал его. Свой, никто не поспорит, — Долженков. Сложеньем

в отца, высок, сухощав, но крепок. Таким смолоду был Никанор. Обличьем очень с матерью схож, светлоглазый и улыбчивый. Воды много утекло с той поры, когда звонкоголосый мальчишка Матвейка ушел от семьи в город, а со времени митревниной младости — еще больше. Кто знал ее молодайкой Аксиньей, и тот не найдет в ней прежних черт, но Никанор видит и за морщинами и за тусклостью взгляда нежные щеки и синие глаза. За выбор жены он никогда родителей не корил, пришлась по душе, и молодой ее образ ему памятен навсегда. Сходство с ней у Матвея особенно сильно потому, что ни борода, ни усы не изменяют лика. Он гладко выбрит. Но безволосое по-женски лицо, как и вся городская повадка, делает его чужим, человеком иной жизни, отпугивает.

Старику стало не по себе, когда сын вольно, с шуточкой отвечал старикам:

— Спасибо, дедушка Пахом, живу ничего, хорошо. Поедемте со мной в Москву: там старых заново молодыми делают. Нет, не шучу, доктора такие есть.

Федор, старший брат, в поле ездил. Поспешил прийти, не умылся. Темной тенью лежала пыль у него на лбу, у крыльев носа и во впадинах глаз. Сгоряча он близко подсел к брату, но поглядел в его бритое, чистое лицо, на белые руки, потом на свою прилипшую к потному телу грязную рубаху, торопливо поднялся со скамьи:

— Дарья, ну-ка смениться мне, дай-ка чистую рубаху. Пойдем, сплесни воды, умоюсь.

Он приостановился, свертывая толстую бумажку для цигарки.

Матвей быстро выскочил из-за стола, выхватил у него из рук засаленный кисет.

— Постой, вот покури. Я папирос привез. Да бери всю пачку. У меня с собой много, я много курю.

И тут же к соседям, к чужим — мало ли их поглазеть набилось в избу! — ко всем:

— Пожалуйста, закуривайте! Пожалуйста, пожалуйста!

Ловко, вертко, обращаясь то к тому, то к другому, он открыл чемодан и принялся совать папиросы направо и налево целенькими пачками по двадцать пять штук.

— Алексей Иванович, пожалуйста! Ух, старый друг! Не узнал бы я тебя, Сашка, если б ты сам не назвался. Прямо пожилой мужик, а ведь мы одногодки. На, бери, бери, чего ерундишь! Степан Яковлевич, пожалуйста!

Митревна опасливо поглядела на сына, жалобно — на мужа. Старик угрюмо отвернулся. Только легковесный человек, расточитель, показывает чужим свой запас. У та-

кого, сколько ни есть богатства, все прахом пройдет. Не маленький, должен сам понимать, кто легко одаривает, над тем люди смеются. И Матвея насмех поднимут все, кого зря угощал. Скажут:

— Эх, ты, целыми пачками папиросы ширяет туды-сюды, возьми, забирай. Видать, не потное, не горбом добытое. Дается же в эдакие дырявые руки добро!

А Матвей и впрямь, как блажной, начал за папиросами и гостинцы при всей деревне доставать.

— Мама, а тут вам я привез...

Митревна поспешно замахала руками, чуть не спотыкаясь, скрючившись сильней, чем обычно, подошла к сыну.

— Ладно, ладно, сынок, иди-ка закусывай, не ломай стол, садись! Чего там — привез! Приехал сам, — вот за это спасибо! Чего оделяешь: самому-то в городе прожить сколько стоит!

Юркая старушонка — в деревне звали ее «бабка-телеграф» — пронырнула под локтями у мужиков к столу, заговорила дребезжащим говорком:

— Матушка, Аксенья Митревна, утроба ты моя, из-за тебя и я не сплю. Уж какой наш стариковский сон, а тут и вовсе никак, и глаз не завела! Да радость вам какая! Да как же, о-ох, господи-и! Нет, мол, сама себе думаю, в могилу скоро, там отлежусь, отосплюсь, а теперь резво бегите, плохие мои ноженьки! Как не приспешить с Митревной, с Никанор Пахомычем, с родителями, со счастливыми, не порадоваться! За терпенье за ваше, за кроткую вашу молитву наградил вас бог-то как, а? Соколик-то, сынок любимый, Матвей Никанорыч, налетел. Налетел, милый, к родителям, налетел...

Она громко, упоенно всхлипнула, быстро вытерла концом фартука глаза, всплеснула ладошками, стиснула их в умилении.

— Пригож, ой, пригожий какой удался он у тебя, Митревна! Уж что тут скажешь? Ничего не скажешь, — и умен, и с лица приятен. И женка-то, поди, под пару? Дамочка румяная, умница золотая. Жалованья вы сколько получаете?

Матвей и Дарья засмеялись, отозвались одновременно:

— Не женился еще, бабушка, в Москве свахи плохие.

— Поутру, бабка, сосчитаем с тобой его получку. А сейчас, накось, выпей, проздравь с приездом.

Старуха, протягивая сухую цепкую руку за стаканчиком, отрицательно качала головой:

— Куда уж мне выпивать! Воды глотну — и то качнусь. Силы-то у меня осталось, сколь у воробья, да и смолоду

выпивать неохотлива была. Только уж для тебя, утроба, для тебя, Матвеюшка, с радости, с проздравленьем пригублю. Ты мне все одно, как мой сынок, Павлушенька, заместо его. Ну, здравствуйте! О-ох, как крепка, самодельная-то! Ба-тюшки! Дух не переведу с непривычки-то. У Пермяковых брали? У их, видно. Только у них удается эдакая жаркая.

Матвей засмеялся, сунул под столом брату Федору деньги. Федор подозвал Степку. Тот, крепко сжимая кулак, вихрем помчался по улице. Вернулся он скоро с четвертью самогона и с двумя бутылками водки подмышкой. С ним вместе вошел парень с косым пробором на голове, в спортсменской полосатой майке, в белых брезентовых туфлях — гармонист Митя. Дарья подозвала Митю к столу, предложила выпить. Он бережно снял с себя гармонь и передал Степке.

— Поберегите молодой человек!

Стаканчик он взял, оттопырив мизинец, стукнул пяткой об пятку и поклонился, держа голову вбок.

— Приветствую вас, Матвей Никанорыч, от лица культурной части населения.

Лихо осушил стаканчик одним глотком, перевернул его вверх дном и пояснил:

— Как вас уважаю, так и выпиваю.

Свежий воздух, входивший в раскрытые окна и дверь, густел мгновенно от махорки, от дыханья разогретых выпивкой людей, от запаха пропотевших мужицких рубах. Сумятица пьяной беседы становилась все шумней. Дед Парфен, похожий на сову желтыми круглыми глазами и мохнатыми бровями, тянулся через стол к Матвею.

— Ну, ладно, если я собирал, если я старался, и у меня было, за это я — дермо? А пролетарий — ни кола, ни двора, на рубахе один ворот без заплат, он — человек? Да теперь же кто хлеб на базар повезет? О-он? Никогда-а! Раз у него нет — он чего повезет? А у него нет и не будет. Чужое, что в руки попало, дак и то промеж пальцев утекло! А мне чего везти, а я его возьму везти? Да ты чего, милый, да ты рассуди, — я чего повезу?

Короткопалой жесткой рукой он стучал по столу, передергивал крепко сбитыми плечами, шумно вздыхал. Бабка-телеграф юлила сзади то справа, то слева около него, перебивала, зудила:

— А ты, Парфен, бога не гневи, у тебя есть чего везти! Есть, есть, не гневи господа. Нака-а-жет!

Парфен озлился, быстро повернулся к бабке всем корпусом:

— Ты помолчи, ты промеж меня и господу не встревай, не тебе за бога встревать!

— Я и не встреваю! Я ему, милостивцу, не докучаю, — чего даст, чего отымет, за все спасибо. А вам все мало, все боле просили, вот и раздражнили бога, надокучили. Он вам и поставил советскую власть.

Парфен хлопнул себя по коленкам, вскрикнул с горячей обидой:

— Да советы нешто богом установлены? Богом, што ли? Разве на комиссаров помазанье бывает?

Бабка отмахнулась обеими руками.

— Меня это не касаемо, какое им бывает помазанье. Я живу, во всем ему, владыке, покорствую, не обижаюся. А вы его допекли до ярости. Немилостивый стал! Когда солнышко надо — дождик хлещет, когда дождю — сверху жаром пышет. Прошлый год хлебу зреть, земле прогреваться, святых-то не знай чем опоили на небе. Ливмя лили! Не подноси, Матвей Никанорыч, не надо, не потребляю ведь я. Сокол ясный, утроба, только для тебя выпью! Только для тебя! Здравствуйте!

Парфен сердито отстранил бабку локтем от стола.

— Отойди, не мешай разговору! А я вот тебе скажу, Матвей, ты это как рассудишь: ежели человек бедный али партейный, дак он обязательно дельный, а?

Бабка снова высунулась из-за его плеча:

— У меня зять коммунист, дюже дельный, вот бы с тобой, утроба, он побеседовал всласть. Только из партии-то его выгнали, кооператив растратил. Ну-к што ж, грех на всякого живет.

Гармонист приподнял брови и внушительно проговорил:

— Я бы вас попросил про коммунистов поаккуратней выражаться. Возмущать населенье я не разрешаю.

Бабка подбоченилась:

— Ишь ты, поди ж ты, навострился, как в машинистах-то на мельнице. Утроба, Митенька, и на гармони ты горазд, и выскажешь враз уж до чего хорошо. Матвей Никанорыч, слышь-ка, да ты вот к нему, к Митеньке-то, поближе. А мы что, мы народ серый: коли что не так, так не взыщи!

Никанор, тыкаясь подбородком то себе в грудь, то Матвею в плечо, уныло, запинаясь в словах, будто беззвучно икая:

— Сынок, спа-а-асибо... Сынок, хто я стал? Нищий я стал... а ты прие-ехал, спасибо. А-абидно тебе, хто я стал.. Ма-атвей, не гнушайся. Не-ету у меня ни коня, ни коровы. Сынок, курицы нет во дворе.

Он с усилием приподнял вверх лицо. На мокрой седой

бороде налипли кусочки каши. Нижняя губа отвисла, обнажив выщербленные старостью желтые зубы, слюнявый немощный рот. Крупная прозрачная слеза застряла в морщине на щеке. Так он долго просидел с устремленными в потолок тоскующими глазами. Федор, хмуря брови, откашливаясь, перегибался к Матвею, отстраняя рукой отца:

— Вы, папаша, погодите! Вы маленько перегодите, вы сейчас это не к делу. Я вам, Матвей, вот что скажу. Мы не против, вы этого в мыслях не держите! Папаше вы любезный сын, мне дорогой брат, но мы понимаем, на какое вышли положение вы, а где мы остались! Ну, я все одно, мы не против, мы на это согласны. Если что не так скажем, всякое лыко в строку вы нам не ставьте. Вот хозяйство мы желаем подправить...

У Матвея кружилась голова и от выпитого вина и от душевного смятенья. Ему хотелось каждому из них в отдельности и всем вместе сказать особенными, проникновенными словами, как хорошо он каждого из них помнит и ценит, рассказать, как они ему близки с детства и как он счастлив от ощущенья своей любви к ним. Но слов он не находил, голос пресекался. Настойчиво и бессвязно он твердил:

— Я разве не знаю?.. Я знаю. Вот и на родине опять. Я, знаете, давно собирался... Ну, разве я не понимаю? Я ведь вам не чужой. Тут мне ведь и деревья в лесу — все родня! Человек человеку часто бывает враг, а как это тяжело, друзья!

Гармонист громко крикнул Степке:

— Тубаретачку мне, молодой человек, раздобудьте. Граждане, прошу вас, освободите мне место в отдалении, постараюсь для гостя, поразвлеку вас сегодня. Потанцуйте, желающие!

Усевшись, он закинул лицо вверх, прищурил глаза, подумал, заиграл плясовую «Мельник». Бабка-телеграф, примаргивая то одним, то другим глазом, плавно двинулась, притопнула, закружилась, выводя тоненьким голоском:

Ветер дует спереду,
Мельник мелет в середу,
Цвяты мои, цвяты,
Цвяты алы, голубы...

Дарья бешено сорвалась с места, звонко подхватила:

Цветы мои, цветы,
Цветы алы, голубы.

Притопнув, она взвизгнула, махнула мужу рукой:

— Федор, уважь! И мы празднику дождались. Мы нынче гуляем. И-их «сторонись, богачи»!

Обычно быстрые ее движенья в пляске были неистовы. Федор плясал, сурово поджав губы, со строгим взглядом, но вприсядку прошелся с исключительной ловкостью и легкостью. Вслед за ними закружились, толкаясь, мешая друг другу, еще две бабы и маленький увертливый мужик.

Согнутая Митревна, тряся головой, затопталась в кругу. С хилым смешком она проговорила:

— Бабы, бабы, доченька, сношенька, выпимши я! Бабыньки, с радости я... Фрося, Дарьюшка, веселая я. Внучки мои, голубчики мои, поглядите на бабушку: я выпила.

На кровати, суча ногами, трепеща ручонками, отчаянно плакал разбуженный шумом Петька. Митревна потянулась было к нему. Он закричал еще сильней, затрясся всем телом и посинел. Тощая нежнолицая бабка осторожно взяла ребенка на руки, прижала его голову к своему плечу, прошептала, погладила. Он затих, но долго еще содрогался у нее на руках. Она тщетно звала к нему Дарью:

— Дарья, да ты что, ай стыду в тебе нет? Кинула свое дите в избе на пьяных, чисто безбатешного какого, а сами, на-ка, расплясались! Срамота! Тьфу!

Сердито расталкивая народ, она вышла с Петькой во двор.

В избе мужики зевластно и вразброд запели старую протяжную песню о том, «как горька полынь-травушка, а горчей ее служба царская». Вдруг вошел в хор, выделился, повел дальше песню верно и душевно высокий мужской голос. Пьяный многоголосый хор бессилен был опорочить его и затихал, покоряемый им. Один за другим отстали, смолкли хмельные мужики. Только один проникновенный голос продолжал петь. Молоденькая несчастливая женщина, тосковавшая бесслезно в ближнем огороде, упала в грядку лицом и заплакала, потом тихонько поднялась, подошла к плетню, чтоб лучше слышать. Под окном долженковской избы затихла возня и девичьи взвизги. Во дворе Дарья, прислушиваясь, отрезвела, удивилась:

— Что же это хорошо-то как, аж мураши по спине! Да кто это? Никак, Матвей?

Она протолкалась к окошку сквозь притихшую толпу. Матвей стоял, прижавшись спиной к дверному косяку. Конец песни он вытянул долгим, хватающим за сердце, но чистым ненадсадным звуком. И сейчас же, чуть передохнув, завел иную, веселую.

Видно было Дарье его побледневшее, посветлевшее лицо, но она перестала видеть, всем вниманием ушла в слух.

Вслед за словами, какие теперь радостно выпевал Матвей, она невольно распрямила спину, подобралась, повеселела.

Расходясь по домам, мужики прощались с Матвеем проще и теплее, чем здоровались по приходе. Гармонист с искренним восторгом заявил:

— Отчаянно поете! Замечательно!

Низенький старичок с кудрями вокруг лысины хлопнул его ласково пониже спины, растроганным голосом проговорил:

— Ну и мастер ты, парень, песни играть! Ух, и мастер! В нонешнее время никто, пожалуй, во всей округе тебя не перепоет. Слабогрудый народ пошел, больше горлом надсаживается. А я хорошо слышу, кто если обманывает, горлом если заместо нутряного выпеву. Смолоду я сам певун был хороший. Вот уважил ты меня нынче! Вот спасибо, как уважил!

Узкоплечий мужичок очень высоким голосом завел:

— Не видал я еще себе певца под пару, а вот довелось. У нас в полку никто тоньше меня не вытягивал. Солдаты высоко хором ведут, а я взовью — в ушах засвербит! Ротный командир, бывало, скажет: «Ах, ты...» — ну, тут известно, взматерится, извиняйте... Вы не так тонко выводите, но хорошо!

Юная черноглазая баба задержалась в дверях, посмотрела долгим взглядом на Матвея. И горячий свет ее восхищенных глаз мерещился ему до рассвета.

3

Уезжая из города к родным в деревню, Матвей думал пробыть у них полтора месяца, весь свой летний досуг. По приезде первые три дня, когда Долженковы покупали муку, пшено, он был охвачен радостью давать людям радость. А на четвертый уже затомило Матвея странное ощущение: будто он откинут в дальнее прошлое и заперт в нем. Кругом — память о недавнем и новшества настоящего. За ближним лесом сохранились еще обвисшие обрывки проволочных заграждений. При въезде в село торчат останки дворов, разрушенных в гражданскую войну. В бывшем волостном правлении — волисполком, на вывеске — новый герб: серп и молот. Речь не только молодежи, но пожилых мужиков, даже упорно косных старух просекалась не знаемыми прежде словами. В церковном доме, где раньше жил священник, помещался клуб. По окончании полевых работ молодежь собиралась в нем. Зимой почти каждое воскресенье ставились спектакли. Митька-гармо-

нист особенно хвалил постановки «Марат», «Теща в дом — все вверх дном» и оперетки, где под его, митькину, гармонь пели про козни Антанты. Церковь большую часть праздников оставалась наглухо запертой. Нечасто наезжал для богослужений и выполнения треб священник из другого села. Наделяли его щедро. Но когда он выразил желание обосноваться здесь на постоянном служении, жители назначили ему малую плату, как нищему подачку. Парфен Булыгин, большой ревнитель благолепия церковных обрядов, вразумительно объяснил:

— Батюшка, когда редко ты приезжаешь, ты нам гость, а гостя надо и в будни по-праздничному угостить. А коли поселишься здесь, станешь, как свойственник, часто захаживать. Тут уж не гневайся, получай только то, что сами не доели, — где же на каждодневное твое гощенье напасешься! Да и, чего скажешь, поотвык народ от обедни в кажное-то воскресенье. Ты, батюшка, не гляди, не уповай, милый, что в твои-те наезды церква битком. Это по редкости в охотку, и охальники наши приходят наряженных девок глядеть. А насчет бога народ нерачительный, неуважительный стал. Уж чего боле говорить; у меня в горнице кивот дедовский с иконами, а, коло его сидючи, мои же сыновья табак курят. Нет, и не торгуйся, все одно больше не заплотим.

Парфен об этом разговоре сам рассказал Матвею.

Были в Александровке три семьи, в которых росли некрещеные дети. Минувшей осенью отпировали пять свадеб без венчанья, лишь по записи. Пожилой александровский народ без задору, лениво попенял молодоженам.

Митревна, сообщая сыну о невенчанных и о младенцах некрещенных, устало добавила:

— Им совесть дозволяет, а нам што? Кажный сам себе ответчик. На то, видно, мир повернулся, кажный по своему обычаю живет.

В километре от деревни лагерем стояли пионеры из детских домов ближнего уездного города. Иногда они приходили помогать александровским мужикам. Девочки в избах у занедуживших хозяек убирали, стирали, доили коров.

Но все это новое было наверху, как на озере круги от удара камнем. Нутряная жизнь во дворах, в избах, в поле, в семье хранила свой прежний многовековый уклад.

Однажды в полдень Матвей, развяленный бездействием и жарой, спал в сенях. Отчаянные крики разбудили его. На соседнем дворе женщина кричала, хрипела, замолкала и снова взвизгивала режущим уши и сердце взвизгом. Мат-

вей кинулся на помощь. Вернулся он с большим синяком под левым глазом. В своем дворе его встретил старик. С тихой укоризной, покачивая головой, сказал сыну:

— Неладно ты сделал. Промеж мужа и жены чужому нечего соваться, какое тебе дело! Теперь у нас и дружба врозь, обижаться на нас соседи будут.

И Митревна, охая, вздыхая, похлопывая себя по бокам, дивилась:

— Сынок, и на кой тебе надо в чужое дело путаться? Хошь они невенчанные, а все одно муж и жена, стало — одна сатана. Он поучит, он и пожалеет. Теперь она, Верка-то, поди пуще прежнего плачет. Побил бы, да и отошел, а за твою заступу ей выместит, долго злобиться будет. Под глазом-то примочи водицей...

Матвей крикнул ей с сердцем:

— Человека убивают, а вы рядом сложа руки сидите...

Митревна спокойно ответила:

— Чать, не дурак, до смерти не убьет, — за смерть, известно, хочешь не хочешь, а отвечай. Да кабы и убил, ты сунулся, — и тебя замотают в суд да в дело. А если мы слыхом не слыхали, видом не видали, какое наше дело? Да нас дома не было — и все. Кабы в праздник — от нечего делать не стерпели, побежали бы поглядеть, а нынче и глядеть некому.

Матвей тяжело дыша, присел на завалинку, взял в рот папиросу, но не сразу смог зажечь спичку. Пальцы у него дрожали. Мать присела рядом с ним. Он неприязненно скосил на нее глаза. Митревна продолжала сетовать. Голос ее уныло и равномерно поскрипывал:

— Да сказался бы мне, куда побежал, я бы тебя не пустила. Уж как нито уговорила бы, не пустила. Верка-то теперь мне выговорит. Скажет: «Мало ль бы што кричала я! Больно было, вот и кричала, а чужих мужиков моего страмить не звала. И чего ей страмить его: хорошо как живут, согласно живут! Намедни в городу ей на платью набрал. Взял он ее только что не телешом, безо всякого приданого. Да недоглядчивая она, нехозяйственная, — поди, за какой недогляд и проучил муж. Он в город-то не курей ли возил на базар?

Матвей сердито пробурчал:

— Откуда я знаю, курей или свиней? Дайте мне, мама, посидеть, успокоиться. Идите, ведь вы отдыхали, ну, идите, отдыхайте.

Митревна проговорила раздумчиво:

— Нету свиней у них. Не иначе, как курей, боле нечего. Нехозяйственная она, Верка-то. Ну, и поучил, ну, и другой

раз лучше доглядит, ему же спасибо скажет. Отец твой вон какой смиренный, ни-ни не дрался, а однова заставил его свекор... Ты куда, куда опять пошел-то? С подбитым глазом куда пойдешь? Теперь тебе и на улку-то выходить три дня нельзя — засмеют.

Матвей смотрел через плетень на залитую солнцем улицу.

С обеих сторон улицы, в ослепительном свете, темнея закутками своих дворов, стояли тихие, точно необитаемые избы. Было слышно только, как чесалась, сотрясая ближний плетень, свинья и где-то поодаль поскрипывал невидимый журавль колодца. У соседей тоже все затихло. Может быть, Верка и ее муж оба уснули, отдыхая, она — от побоев, он — от битья. У Матвея саднило щеку, ныло зашибленное веркиным мужем плечо, но тупая, тоскливая вялость, сковавшая тело и мысли, была не от боли, от этой солнечной неизбывной тишины.

Митревна пробормотала еще какое-то невнятное назиданье. Матвей ее не слушал, не разобрал. Она глубоко вздохнула, пошла в избу. Там, кряхтя и охая, достала из-под кровати овечью шерсть, села на полу, вытянув ноги, и стала шерсть разбирать. Увидев, что сын смотрит со двора в окно, сказала:

— Распраздновалась я. Крушатиха на той еще неделе шерсть принесла, наказывала поскорей отобрать, а я на радости-то заленилась. А ты чего томишься, сынок? Шел бы в сенцы, лег бы, отдохнул.

Матвей угрюмо отозвался:

— Ничего не делал, не устал, не от чего отдыхать.

— А чего тебе делать? Отдыхать приехал — отдыхай. Вон Дарьины книжки на божнице, возьми книжку почитай.

Матвей невесело усмехнулся.

— Мама, я уже тебе говорил: на другой день приезда я их прочитал. Что же, я двадцать раз одни и те же книжки буду читать? У Дарьи всего-то пять штук.

Старуха приподняла на него недоуменные глаза.

— Нешто мало? А где же их боле-то напасешься? Я и то на Дарью поругалась. Три книжки, сказывает, подарили ей, а за две деньги заплатила. Много ли денег-то у них, и Федор на табак прокуривает, она за книжки отдает. Ни от табаку, ни от книжек сыт не будешь, — того не думает, лучше бы платок лишний голову покрыть купила.

Матвей вздохнул, зевнул, расправил плечи, прошелся по двору. Никанор у сарайчика неверной старческой рукой обтесывал какие-то колышки... В их бедном дворе нечего

было делать. Федор, и Дарья, и Степка, и Фроська — все работали на людей. Он оставался один со стариками. Третьего дня и вчера он уходил на целый день за деревню, в лес. Там лежал на траве, в сладостном фимиаме цветущей зелени, потом долго старательно пел голосовые упражнения, арии и песни. Сегодня ни гулять, ни петь ему было невмочь. И последующие, сами по себе длинные летние дни тянулись для него непомерно долго. Даже погода ни дождем, ни ветром не нарушала их тождества. Стояла ровная жара. Митревна никак не давала сыну ни валежнику в лесу для варева собрать, ни воды наносить. Она начинала неистово махать руками, назойливо причитать:

— Да ты не трожь, не трудися! Да ты отдохни, поди отдохни, сынок!

В ее представлении данные им семье деньги, подарки, привезенные из Москвы, были окуплены большим физическим напряжением, надрывным телесным трудом. Както попробовал он ей объяснить:

— Мама, мне полезно заняться вашей работой. Это мой отдых.

Митревна всплеснула руками.

— Матвеюшка, поднял ты нас! Сколько дал, — Федор с Дарьей в пять лет того не добудут, — да тебе не поспать, не отлежаться? И не говори и не обижай родителей. Сделаем, все сделаем, иди отдыхай. А может, поесть хочешь? Я для тебя башку сварила. Левонтий косоглазый пиванерам говядину доставляет, я у него башку откупила. Сладкая! Поешь.

Вся семья ела кашу или щи с забелкой, без мяса, ему же отдельно каждый день готовилось мясное, иногда блины, пышки, пирог с луком и с яйцами. Умывались без мыла, вытирались чистой, но жесткой тряпкой. Полотенце и душистое мыло Матвея оставались неприкосновенными. Одеяло и подушка у него были свои, мать раздобыла гдето старенькую перину ему на подстилку. Старики спали на кошомке, с одной общей подушкой, укрываясь стародавним вытертым тулупом, Степка — зиму и лето на печке, не покрываясь, с полушубком в головах, Фроська — на голой скамье, ветхую ватную кофтенку — единственную свою верхнюю одежду — под голову, укрывалась половиком. Матвей купил им в городе два ватных одеяла, полотенца, мыло и две подушки. В сенцах стоял дарьин, доныне пустой, деревянный сундук. Старуха все заперла в него. Мыло давала по праздникам одной Фроське, веруя, что от него «румянцы играют». Фроська в невестин возраст входила, и надо было ей румянцы наживать, чтоб скорей

засватали. На полотенца Митревна и поглядеть не дала. По-прежнему вытиралась вся семья общей тряпкой. Матвей уговаривал мать, спорил с ней, — старуха не сдалась.

— Хочешь — назад отбери, твое. Трепать не дам. Чуть разжились добром, да и не поберечь его? Им же сгодится, Фроське замуж выходить. Каждый день с мылом размываться, — не господа мы, не привычные к эдакому роскошеству.

— И зимой одеяла не дадите?

— И зимой не дам. Спали, поспят и еще, вырастут — им же запас. Сгодится потом, как сгодится-то, мать добром помянут.

— Ну, запас, а теперь-то как же?

— А чего теперь, чего еще надо? Бога за тебя надо молить, в сундуке добро завелось, чего теперь? Людями стали. Сундук запертый держим.

Из привезенного из Москвы Матвеем ситца сшили сменные платья и рубахи, но надевали их только в праздник. «На люди выйти не хуже других». В будни дома ходили по-прежнему в старенькой, заношенной одежде. Пока еще держалась она на плечах.

Когда Матвей покупал мясо для всей семьи, старуха никогда не давала его съесть сразу. Она варила его столько, чтобы поесть в прикуску с хлебом, как сахар с чаем. Остальное опускала в ведре в колодец, чтобы подольше сохранить без погреба летом. Никанор, Федор, даже Фроська соглашались с матерью, что иначе нельзя.

— Седни нахмякаться досыту, а на завтра кусочка не сберечь, — как же это можно!

Ворчала Дарья:

— Сберегатели! Свежего кусочка не попробуют, чистыми, умытыми и не походят.

Да Степка иногда канючил:

— Братка уедет — щи с говядиной все одно не станешь варить. Хоть бы при нем досыту накормила.

Говорила Митревна:

— Кажный теперь за себя ответчик, кажный по своему закону живет...

Но терпимость ее была от сознания беспомощности утвердить один общий закон. Для нее самой и для всей семьи, кроме Дарьи, такой закон был: «Что люди скажут». Люди — это те, кто живет в преданности понятиям, воспринятым еще от прадедов.

Забежала к Долженковым комсомолка Зина, вожатый отряда. Ей, по-мальчишески стриженной, худенькой, в коротких штанах, на вид можно было дать не больше четыр-

надцати лет, но разговаривала она очень наставительно на низких нотах. Зина звала Фросю и Степку на беседу у костра. Матвею строго выговорила:

— А почему же вы, товарищ, не приходите к нашему костру? Конечно, может быть, вы беспартийный, но во всяком случае культурный человек из центра должен поинтересоваться нашей работой. Вот вам заданье: приведите брата и сестру.

Но, разговорившись с Матвеем, она забыла свой поучающий тон. Голос у нее стал звонким, неровным, и смеялась она много и охотно. Митревна присела поодаль, смотрела в сторону, упорно молчала. Старик вошел в избу, смущенно покашлял, пригладил волосы на голове, ушел обратно во двор. Фроська жадно, во все глаза, осматривала Зину с головы до ног, временами искоса, с опаской поглядывая на Митревну, вторила Зине в смехе тихонько, прикрыв рот рукой. В длинной юбке, в кофте с торчащими на плечах сборками рукавов, казалась она много тяжелей и старше Зины. Посмеявшись, каждый раз спохватывалась, лицемерно кротко подтягивала губы, и бабьим, старообразным делалось ее свежее лицо.

Зина спросила:

— Где же вы работаете, товарищ? В каком учреждении?

Матвей ясно улыбнулся.

— Работаю голосом. Пою. В опере пою.

— В о-опере? В Москве? Ах, как это интересно. Мне девушки говорили, что у вас чудный голос, но я не думала, чтобы даже в опере. Вон вы какой! Артист, значит?

Совсем детским, робким голоском добавила:

— Я сроду не слыхала оперы. У нас одна пионерка была в Москве, она рассказывала. Говорит: чудно! Она, может, вас слыхала. Про оперных артистов даже в «Известиях ВЦИК» пишут. Про вас тоже писали?

Матвей весело тряхнул головой, засмеялся:

— Ох, писали, много писали!

Зина по-ребячьи задрыгала голыми ногами, захлопала в ладоши.

— Замечательно как! Дорогой товарищ, спойте! Ну, хоть немножечко! Ну, хоть две строчки! Вы знаете «Шахту номер три»?

Матвей с неловкостью оглядел избу, пожал плечами.

— Да я сейчас как-то не могу.

Митревна тревожно приподнялась, озабоченно темной, сухой рукой стерла со стола невидимую пыль и неуверенно проворчала:

— Каки же песни в буден день? Люди вздивуются, с чего у Долженковых песня. Ай, мол, все еще не отгуляли? Да ты в капиратив даве охотился сходить, чать, уж открыли его.

Зина вскочила.

— Ой, и мне пора. Очень интересно, я и засиделась. Миленький, дорогой товарищ, нам вы споете?

Матвей встал и, крепко пожимая тоненькие Зинины пальцы, пообещал:

— Непременно. Я приду к костру. И «Шахту» спою, хотя это и не для моего голоса. Вместе хором споем.

— О-обязательно, мы будем ждать. Вот чудесно! Ну, до свиданья! Так Фросю и Степу с собой — обязательно.

Со двора она заглянула в окно, помахала рукой.

— Так мы жде-е-ем. Обязательно! Товарищ дорогой, приходи-и.

Зина бегом побежала по улице. Матвей, улыбаясь, смотрел в окно ей вслед. Фрося сияющими глазами следила за братом. Митревна сердито дернула ее за юбку.

— Ты это што же, девка, цельный день и будешь у окошка стоять? Ты што, не слыхала, тебя Настя кликала дите понянчить, а?

Фроська дернула плечом.

— Дак Зина же приходила.

Митревна, согнувшись над столом, угрюмо проворчала:

— Зина, Зина приходила, праздник какой!

С натугой подняв голову повыше плеч, она вдруг дребезжащим голосом крикнула:

— Ты у меня, Фроська, мотри, я молчу, молчу да примусь за вас! Тебе Зина какая канпания? Ты с нее моду не бери, я еще не померла. Помру, тогда, может, этак же в штанах по улке побегешь абы стыд прикрымши. Почитай все ляжки наружу, тьфу, прости меня, господи-батюшка, грешницу! Молчишь, молчишь, а не стерпишь, перевернет нутро: телешом девки ходют! Это уж куды же, распутство какое пошло. Я бабой была по ягоды через реку ходила вброд. Никанор когда на берегу один стоит, — муж ведь мне, — я не заголялась. Так во всех юбках, по пояс намокну, иду, а тут, гляди...

Матвей засмеялся, ласково прихлопнул ладонью ее темную, жилистую руку.

— Мама, да ведь притворство это! В баню всегда вместе с отцом ходите...

У Митревны голова затряслась. Она выдернула руку, с сердцем ответила:

— Об этаких делах, сынок, с матерью не говорят. В

баню полагается мужу с женой ходить, все люди ходют, а при Фроське ты эдакого разговору не заводи. Пока жива, не дам ей с голыми ляжками бегать. И нет моего согласия на ихние костры ходить, не пущу. Вон Сонька Зверева бегала к костру, дак пымала ее тетка — папиросу она курила.

Фроська, захлебываясь, поспешно перебила:

— Сонька заучилась у костра тебе, что ли? Она с Митькой гуляла, он ее попросил: «Коли я тебе симпатия, на-ка покури!» А ей Зина же, не кто другой, Зина не велела курить.

Митревна постучала рукой по столу:

— Не перекоряй матери, не смей мне перекорять! Я Зине не указчица, не в таком житье мы ноне, чтобы нам другим указывать. В своей-то семье живем, зубы сожмя, своему-то, вот из себя рожденному, и то не говоришь, все молчишь, но уж только тебе срамоты этой не дозволю. Иди, сымай кофту, беги ребенка нянчить, а то я хилая-хилая, а за космы тебя оттреплю.

Фроська, шмыгнув носом, всхлипнув, нехотя, задевая ногой за ногу, ушла.

Матвей зевнул, встал, расправил плечи и зашагал по избе.

Ворота скрипнули. Старуха насторожилась.

— Кто это там?

Вошел Федор. Мать удивленно спросила:

— Ты чего? Ай забыл што, с поля воротился, ай вовсе не ездил?

Вытирая пот со лба, отдуваясь, Федор тяжело опустился на скамейку.

— Не ездил. В совет зовут. Панька забегала утресь, говорит: «Если сегодня не придешь, придется в город ехать, обязательно заставят». Анкету заполнить насчет бедняцкого хозяйства. Давно звали, да я все не собрался, некогда, да и замучили, собаки, расспросами. И об чем расспрашивать, — все знают, какая у нас именья. А Панька еще пугает, говорит: тебя в другую графу перепишем, у вас корова завелась.

Митревна испугалась, голова у ней затряслась.

— В какую еще графу? Да што же это, господи, милостивец, до чего люди ненавистники! Это бабка-телеграф в совет бегала, насудачила, не иначе — она. И в какую еще графу, и ничем-ничего не разберу, батюшки!

На ее причитанье, обеспокоенный, вошел Никанор. Узнав, в чем дело, он тяжело опустился на лавку, поник головой.

Матвей рассердился:

— Что вы за люди? Все под страхом, всего боитесь! Что ужасного в том, чтобы анкету заполнить. Ведь скрывать-то вам нечего, у вас ничего не берут и не возьмут, вам же, вероятно, помогут на поднятие хозяйства. Вами, бедняками, других пугают, а вы боитесь.

Никанор встал, торжественно и горестно произнес:

— Сынок, ты в городах проживаешь. Там у вас, не знаю как, но не поверю, чтоб и там у бедняка жизнь была веселая. Стращать-то нами и тут стращают, вон за Федора старика Терехина взгрели, что недоплатил батраку, а опосля мы с ним, с Федором-то, оба ему кланялись. Острастка-то, она нам же по шеям, как опять в батраки наниматься надо. По завидке аль по злобе люди наплетут, а там поди, выкручивайся, пока разберут, что нет у нас ничего и ничем не разбогатели мы.

— Да чему у вас завидовать? За что на вас злобствовать?

Федор, окинув брата сумрачным взглядом, ответил:

— Люди найдут. Тебе тоже в совет велят прийти. Со мной вместе, я за тобой и пришел. Матвей, ты на какой должности там? Панька допытывалась, а я чего скажу? Я не знаю.

— Я — певец. Пою в опере.

Он засмеялся, подыскивая слова, какими можно объяснить им понятие «опера».

— Театр такой есть...

Федор и Никанор посмотрели друг на друга, потом оба недоуменно — на Матвея. Митревна вытянула шею, чтоб лучше слышать.

— Какая, сынок, должность? Чего говоришь?

И Никанор переспросил:

— Чего?

— Ну, как вам объяснить? Театр, слышали? Вот, где бывают спектакли, представленья. Вот, как у вас в клубе. Только там почти не разговаривают, все поют. У вас тут оперетку ставили. Митька на гармони играл и пел, так же...

Никанор облокотился на стол.

— Постой! Дак Митька машинистом на паровой мельнице, там он на должности, а пел он... У нас тут много парней моду взяли, представляют тиятр, ну, и поют тоже. Дак эта же кака должность? За это жалованье не плотют. Ты про должность скажи, где жалованье получаешь?

Матвей засмеялся.

— Да там и получаю, в театре, в опере. За то, что пою.

Я знал, что будет трудно вам объяснить, потому сам и не начинал.

Никанор провел рукой по лицу, почесал затылок, головой покачал.

Митревна в раздумье медленно выговорила:

— Не возьму я в толк все-таки. Поешь... Мало хто поет? Отец твой, как пьяный напьется, тоже поет. Вон и Федор всегда во хмелю с песней, хуть невеселой, а поет. Никто им за это денег не платил и не заплотит. Аль уж из ума я выжила, аль не то слышится, что говорят? А?

Отозвался Федор:

— Ты, мам, этого, конечно, не слыхала. И папаша тоже, конечно, в крестьянской жизни. А я, как служивший солдат, и во многих городах, подтверждаю, действительно есть. У нас в лазарет певицы самые приезжали, пели. Ну, и нанятые мужчины тоже. Артисты они называются.

Матвей весело вскрикнул:

— Ну, вот, вот! Я — артист, актер. Я — певец!

Федор шумно втянул ноздрями воздух, отозвался задумчиво и медленно, как бы сам с собой рассуждая:

— Оно, конечно, оно так, есть такие люди... Ну, только занятья эта плохая. Какая эта занятья, петь там али плясать? Плотют, конечно, и одеты по-господски. Ну, мы так думали, из тех они господ, что на брюхе шелк, а в брюхе — щелк, одно слово — артисты. Сколь им там заплотют? Это не работа.

Матвей покачал головой, посмотрел Федору в глаза, душевно сказал:

— Это, Федор, работа, очень трудная работа. Искусство это, брат, называется. Вот ты возьми попроще: портной. Чтоб он стал портным искусным...

Федор, стукнув ладонью по столу, страстно перебил его:

— Дак то же портной! Это нужное: в одежде ходим, одежда нужна. А тебе кто плотит? За песни сколько захочет кто заплатить? Если есть шальная деньга в кармане, дак можно, конечно... Портной! Ты скажи еще — мельник...

Никанор печально и робко вступил в разговор:

— Сынок, Матвей, а чего же, в науке-то, значит, ты не дошел, коли этим, как его а-артистом заделался?

Митревна затрясла головой, запричитала:

— Ой, сыночек ты мой, бессчастный, да где же ты денег добыл? Шутка сказать, нам скольки помог...

Матвею трудно было выговорить, вдруг совестно сделалось сказать, — потому что в сравнении с их жизнью ему самому легким показался его большой труд, — сколько он зарабатывает. И, главное, живет все с недостачей,

а как объяснить — почему? Освободила его от объясненья бабка-телеграф. Она всунулась в окно со двора. Митревна горько подумала: «С задов, змея, подкралась».

Бабка-телеграф бойко затараторила:

— Давно у окошка стою, поздоровкаться никак не допущаете. Тыры-тыры, тары-бары, об чем беседа? Матвейка правильно обсказал: трудное дело. У них, у артистов, и косточки все поломаны, — я в цирке видала; зять в городу меня возил, дак видала, как изгинаются. Отколь деньги, зачем деньги — есть деньги, и слава те господи! Может, он, Матвей, для отводу артист, а сам в чеке служит. Мне зять обсказывал...

Неожиданно рассвирепел Никанор:

— Брысь, проклятая! Шныряешь кошкой под чужими окнами. Какое твое дело в нашу семейную беседу встревать!

Бабку, как водой, смыло с завалины. Издали она прокричала:

— И в чеку не возьмут его, дурака такого! Может, каператив у дураков тоже растратил где-нибудь, сюды скрываться приехал. Не скроешься, а-артист!

Митревна уронила руки на колени, заплакала:

— Прямо с первого дню твоего приезда, Матвей, под нас подбирается она, ведьма ласкучая! Сколько раз ловила я ее на задах, во дворе, в хле-еву у нас. Теперь дождалась празднику, растрезвонит наше горе по всему селу. То «Матвей Никанорыч, утроба», а сейчас — «Матвей». Я сразу сдогадалась. Навредит по всей Александровке! Расскажет: «артист». Даве Зинке рассказывал... Ну, я никак не сдогадалась. А мы-то думали... А-артист, как же это?

4

Митревна хотела пойти в избу. Матвей неожиданно открыл дверь изнутри, чуть ее не зашиб. Они столкнулись лицом к лицу. Голова старухи сильно затряслась, неразгибавшаяся спина еще пригнулась. Ее ранняя дряхлость, весь жалкий вид вызывали у него острую тоску, ощутимую, как физическую боль в сердце.

— Мама!

Обняв согнутую спину, прижался губами к виску, втянул, почти внес ее в избу.

Мать заплакала, вскрикнула:

— Матюшенька, милый сын!..

Непривычная сыновья ласка ее потрясла. Матвей усадил мать на скамью, сел рядом с ней, погладил ее костис-

тую шершавую руку. Она долго не могла успокоиться, дрожала, смотрела на сына сквозь слезы, шептала слова, какие говорила когда-то над ним над дитятей; ей и сейчас представлялся он беззащитным без ее охраны.

— Птенчик мой, кровинушка, дитятко ты мое...

Хотелось прижать обеими руками к своей груди, закрыть собой от толчков, обид, от небреженья людского. Матвей учуял ее мысли, сказал с ласковым укором:

— Мама, что я — болен? Умираю? Беда, что ли, какая стряслась надо мной и над вами?..

Старуха торопливо, горячо перебила его:

— Я к телеграфихе сейчас ходила будто яиц купить... И купила, сынок, чтобы ей доход, не гневайся, десяток цельный купила... О-ох! И сказала, что служишь ты на должности хорошей, а выговорить, мол, на какой — не могу; они нынче мудрены, эти слова...

Матвей невольно рассмеялся.

— Да чем плохая у меня должность? Как вам растолковать?

Старуха еще поспешней, давясь словами, досказала:

— А нащет, что только песни поет, смеялся это он с нами. А мы-то, мол не сразу по своей темноте раскумекали, что в смех, что дело. Говорю это я, а сама смеюсь, сама усмеиваюсь. Весело так высказываю, сердце-то у меня дрожит...

Матвей покачал головой, тяжело вздохнул, поднялся со скамьи.

— Ну, хорошо. Главное — успокойтесь сами. Говори всем, что хочешь, только не надрывай мне сердца... Мать моя милая, гордиться ты мной должна.

— Да я и не корю тебя, сынок! Оно ведь как, разве я не знаю, который и поплоше, да в науке дойдет, а который из бедности, хоть хорош, ему — заковыка. Я-то понимаю, а чужие люди неуверчивы: сам, мол, виноват...

— Я, мама, пойду прогуляюсь, голова у меня болит. Верно, перед дождем: очень душно сегодня. А вы... успокойтесь вы, смотреть на вас больно. Да вот еще что: посчитайте с отцом, сколько денег, ну, что вам еще купить. Самое необходимое, а потом, месяца через полтора, пришлю еще... Буду высылать.

Старуха упавшим голосом спросила:

— Уезжать скоро хочешь? Говорил, поживешь у нас...

— Нет, надо ехать. Денька через два, через три.

Митревна сникла к столу, проговорила чуть слышно:

— Боле не повидаю тебя, не дожить... О-ох!

— Ну, мама, опять заплакала! Не надо. Как это не

дожить? Повидаемся еще не раз и не два. Да я не завтра еду. Дня четыре, пять, ну, неделю еще пробуду.

— Да я што? Я — ничего. С нами тебе какая веселья, о-ох!

Матвей вышел во двор. Мать окликнула из окна:

— Матвей, что я скажу. Подь-ка поближе!

Робко, искательно она зашептала:

— Уважь на старости отца с матерью! И телеграфихе скажи, всем, кто спросит, скажи...

Матвей махнул рукой, быстро пошел задами к лесу. Им снова овладела смешанное чувство большой досады и жалости. Какая нелепость! Какая смехотворная и горькая нелепость! Были убедительны его слова, потому что шли от горячего желанья прошибить вдруг вставшую между ним и родной семьей отчужденность. Но все, что он говорил, разбивалось в прах, в ничто о незримую преграду другого уровня человеческого миропонимания. Именно другого, а не только разного. Не слишком высока над ними ступень. Он — человек средней умственной одаренности, с малыми, отрывочными сведениями от истоков знанья. Но он приобщен к той жизни, где даже голодный нуждается не только в хлебе. А здесь немощная старуха ходит защищать, обелять его по дворам. Отец почти целые дни проводит в лесу, чтобы не встречаться с односельчанами, не вступать в объяснения с ними. Фроська проплакала весь прошлый вечер: «Братом дражнют, прохода не дают». Степка выходит из избы со взглядом затравленного волчонка, готового к грызне. Федор третий день не заходит к своим. Даже Дарья сумрачно попеняла Матвею:

— Зачем было обсказывать, как и что? Служу, мол, и все, — какое в деревне понятье? Непривычно нам, чтобы певунам экие деньги давались. Шутка ли, двор поднял, помог.

Утром заходил к Долженковым старик Парфен. Поздоровался с косой усмешкой. Уселся на лавку, широко расставив ноги, наклонив голову, строго оглядывая круглыми желтыми глазами избу. Он долго не начинал разговора, пыхтел и гмыкал. Матвей слышал, как Фроська шептала матери, возившейся у печи:

— Чисто бугай, пыряться пришел.

У Никанора вспотела голова, он покашливал, заговаривал с гостем льстивым, неверным голосом. Вдруг Парфен с размаху хлопнул себя по коленкам.

— Дела-а! Ну, дела-а!

Никанор смолк на полуслове. Парфен уставился на него в упор:

— Дела, говорю, отец! Хороши дела. А? Как рассудишь? Чего боле рассудишь, я рассудил? Рассудил, говорю, отец! Еще мало с нас, дураков, продналогу берут. Мало, мало, прямо говорю, мало! Обсказали мне теперь говоруны-те наши, которы на съезд ездиют. Им в Москве песни шибко хорошо пели, послухали и они. А еще, говорят, Иродиада советская здорово выплясывала. Почитай, нагая, одно слово — Иродиада. И ей тоже ладно плотют. Ну, сказывают, и не жалко заплатить. Уж так плясала, сказал бы как, да не ругаюсь в избе, иконы здесь висят. Ну, как же не мало с нас берут, а?

Матвей сдвинул брови. Глаза у него засветились сердитым блеском, но спросил он спокойным голосом, садясь рядом с Парфеном:

— Дедушка Парфен, ты к нам в гости зашел? Хочешь разговаривать как следует? Я тебе объясню.

Парфен вскочил, будто его кипятком ошпарили.

— Хватает с нас объяснильщиков, хватает без тебя, парень! А ты пой, распевай! Мы, мы трудом, мы в поте лица, а тебе жалованье идет за песню. По-ой!

Матвей стукнул ладонью по столу.

— Я знаю, что мне делать! Буду петь, я — певец! Ты не понимаешь, старик!..

Парфен предостерегающе поднял руку.

— Не шуми, не застращаешь! Столь стращали, — давно пугаться перестал.

Твердым неспешным шагом пошел к выходу, от двери повернулся, сказал с большим презрением:

— Выхваль ты, вот ты кто! Есть такой зверь, выхваль. За шерстку, за покрышку ценится, верхушкой выхваляется, за то и зовут выхваль. И, как тебя, его только городские мотальщики покупают. Привелось мне однова этого выхваля у купца видать. Дак тот его за собственные деньги купил, а на тебя казенное жалованье тратют...

Он не договорил, вышел, хлопнув дверью. Во дворе еще прокричал:

— Выхваль и есть! Как приехал, выхвалился капиталом, одежей... А с кого на тебя капитал-то содрали?..

Матвей припомнил весь обидный, бестолковый этот разговор и сморщился. Но когда он вошел в лес, лицо его прояснело, он вздохнул всей грудью и лег на землю. Сквозь узорные просветы зеленой листвы солнечные блики падали на траву, от малейшего колыхания веток играли на ней веселыми зайчиками. Под ветвями старых раскидистых дерев тень на зелени лежала темным отливом. Открытая

поляна в тихом зное была вся золотая, упоенная щедростью солнца.

Стрекотанье насекомых, переливное журчанье скрытого в ложбине ручья, шуршанье крыльев птиц при взлете, их щебет, шорох листьев наполняли лес слитным шумом. Музыка лесных жизней, игра света и теней, смешанный запах вызревающих ягод и прели от прошлогодних листьев — эта литургия звуков, красок, ароматов всегда отрадна была для Матвея.

Он долго пробыл в лесу. Под деревьями совсем стало темно, но над селом еще светил догорающий закат. Матвей устал, проголодался, но домой идти не мог. Он решил заглянуть к Советсковым, где бывал раза три с Митькой-гармонистом. Советсковы — была уличная их фамилия. Митревна объяснила:

— Носовы они, по рождению Носовы. А это их прозвали за то — при белых в тюрьме старик с девкой сидели. А теперь, как что не по их, сейчас: «Не по-советскому, дескать, понимаете», али: «Мы — советские граждане», ну, их и зовут Советсковы. У них одна девка в городу в прислугах живет — комсомолка, ну, все-таки ничего не скажешь — дельная, а Надька, котора здесь, так с возрасту ветер-дура.

Старик Советсков земледелием не занимался. Он лудил самовары, чинил сельскохозяйственные и швейные машины, сепараторы, вставлял стекла, малярничал, знал много ремесел и без заработка не сидел. Дородная, очень моложавая его жена пела когда-то на клиросе, считалась первой в Александровке красавицей; теперь она слыла неразумной, нерачительной бабой, краснобайкой и пьяницей. Муж и посейчас называл ее Липочкой, она его — Васенькой. В избе у них всегда было хламно, но приветно. По вечерам в нерабочую пору толкалась молодежь.

Матвей прошел по лесу прямо к дому Советсковых. Надя, женщина лет двадцати пяти, бледная, с темными кольцами вокруг серых глаз, но очень миловицая, встретила его во дворе.

— Здравствуйте, Матвей Никанорович! Вот домовничаю, скучно одной-то в избе, я и разгуливаю по двору.

— Чего же по двору? Я вот в лесу гулял, хорошо, — сказал Матвей, пожимая небольшую Надину руку.

Надя несла на себе почти всю домашнюю работу, мать не много делала. Вечерами, убравшись, Надя надевала чистое, по-городски недлинное, неширокое платье, туфли с каблуками, пудрилась и завивала мелкие кудряшки на висках. Во все свои посещенья Матвей видел ее чистенькой, улыбчивой, и она ему нравилась. Но сейчас он чувствовал

себя утомленным, очень хотел есть и все еще был расстроен своими мыслями, поэтому не отметил, что Надя особенно ласково заглядывает ему в глаза. Она засмеялась приятным негромким смешком.

— Ну, еще придумайте, и я бы с вами, что ли, в лес гулять пошла? Хватает сплетен про меня. Сейчас я огонь вздую и самовар поставлю.

— Вот за это спасибо! Я, признаться, голоден.

— Ну, яичек сварю. Пожалуйста, заходите!

В сенях она сразу приостановилась и повернулась. Матвей натолкнулся на нее. Надя охнула, не отодвинулась, прижалась к нему.

— Напугали вы меня!

Матвей понял, что женщина просит объятий, и вдруг она стала ему неприятна.

Строгим голосом он ответил:

— Извините, пожалуйста!

Надя отпрянула, легко вбежала в избу.

— Темнота, не видно. Заходите, заходите, я мигом вздую свет.

Пока самовар кипел, Надя угостила его водкой и круто просоленным свиным салом. Сама она выпила водки глоток и попросила у Матвея папироску.

— От папаши крадучись курю, а мамаша знает. Со скуки. Какая наша жизнь? Очень скучная. Я не к этому стремилася. Если вам рассказать мою судьбу, все равно что книжку-роман прочитаете.

Они сидели в чистой половине избы. В ней стояла ножная швейная машина, на столике под стенным зеркалом — пустые флаконы из-под духов, фарфоровая собачка, будильник и пудра. Окна еще днем от мух занавешены были поверх коротеньких надвесок из бумажного тюля темным старым тряпьем. От водки Матвей повеселел, сам подвигался к Наде поближе, схватывал крепко за руку, когда она вставала. Но Надя настроилась рассказывать ему свою жизнь. Спокойно, решительно его отстраняла и певучим приятным говорком рассказывала:

— Первый муж у меня венчанный был. За него меня выдали по семнадцатому году. Ну, конечно, девчонкой была, не понимала про любовь и даже не знаю, какой он у меня был. Умер — пожалела, конечно, все-таки... Деток жальче было. Двоих схоронила, с ним рожденные. Теперь вот второй муж, не нравится он мне. Сейчас он в городе работает, а ни копейки в дом, с меня же просит. Хозяйство-то у родителей, конечно, мое на большую половину. Но за что я ему давать буду? Знаете, как несогласно жи-

вем? Вот лягем ночью на кровать, он к стенке лицом, а я к краю лицом, спинами друг к другу.

Матвей засмеялся, обнял ее за плечи рукой.

— Да, этак скучновато!

Надя высвободилась.

— Подождите, вы сейчас за мной не ухаживайте. Потом, погодите. Мне охота вам душу открыть и с вами посоветоваться. Здесь не с кем, все народ отсталый, за старое держится.

Матвей досадливо махнул рукой, затянулся папиросой и, позевывая, сказал:

— Плохой я советчик. Курить хотите?

— Дайте, коль не жалко. Еще я вас попрошу на память нашего знакомства: спишите мне какой-нибудь стишок или простыми словами что-нибудь сами составьте. Вот я сейчас.

Она потянулась, достала со столика под зеркалом зеленый альбомчик с разноцветными листками и подала Матвею. Он засмеялся, почесал ладонью щеку.

— Ну, знаете, это я, наверно, не сумею.

На одном из листков он увидел лихой почерк и подпись Митьки-гармониста, заинтересовался, прочитал стихотворенье:

ПРОЛЕТАРСКАЯ РОЗА

Пролетарская красная роза,
Расцвела я в публичном саду,
И дрожала она, как мимоза,
Тщетно ждя свою череду.
И боялась она и желала,
Чтоб ее кто-нибудь сорвал.
Кто сорвет эту розу — счастливец.
Кто своею ее назовет —
Важный спец, или скромный партиец,
Или просто какой-нибудь люд!

«Надя, это вам на память в намек на вашу красоту».

Матвей прочитал и звонко, раскатисто расхохотался. Надя обиделась. Крупная слеза покатилась у нее по щеке, оставляя след на запудренном лице.

— Не ожидала я от вас, чтобы над стихотвореньями смеяться. Я очень люблю стихотворенья. Сам так не сумеешь сказать, чтобы грусть проняла али в насмешку. Здесь люди не нуждаются, а я люблю... Покупаю даже со стишками книжки, а на эти деньги лучше бы пудры купить.

Матвей сразу смолк, подумал:

«Для нее это, как пеньс для меня. Это для нее искусство. Бедняжка, милая!»

Он очень нежно обнял ее и крепко поцеловал. Резкий стук в окно заставил их вздрогнуть, отшатнуться друг от друга. Матвей громко выругался:

— Черт! Кто там?

За окном злой, срывающийся голос ответил:

— Я не знал, что хозяйствует здесь Матвей Долженков. Надька, отопри, а то стекла выбью!

Надя сдвинула брови, прислушалась.

— Это кто? Митя? Я тебе какая Надька далась?

— Отвори-и!..

— Не отворю, если грубияните. Хоть разбейте стеклы, а к нам тогда больше — до свиданья!

Послышалось приглушенное ругательство, но вслед за тем голос прозвучал просительно:

— Ну, ладно, отопри, Надя, дельце одно сказать хочу..

Надя вздернула плечи, вздохнула и прошептала Матвею:

— Не уйдет все одно, пойду впущу. Завтра сговоримся, когда свидимся.

Крикнула громко:

— Сейчас открою, иди к двери!

У выхода в сени Надя приостановилась, поманила к себе Матвея. Матвей сердито отмахнулся рукой. Надя виновато прошептала:

— У него ко мне жестокая любовь. Ну, вот уж, правда: «любовь, и всем ты хороша, когда взаимная бываешь».

В сенях дверь затряслась от ударов кулаками. Надя убежала открывать. Вошли они не сразу. Долго перекорялись шепотом во дворе. Митя вошел как-то боком, сердито скривил рот, поздоровался угрюмо:

— Добрый вечер, Матвей Никанорыч!

— Здравствуйте! Вот и еще гость, веселей будет.

Митя быстро повернулся к нему.

— Я здесь в гостях бывал пораньше вас, а вам часто захаживать не советую. С песнями с вашими по другим дворам ходите: здесь в них не нуждаются.

Матвей дружелюбно двинулся к нему.

— Будет, Митя! Напрасно сердишься, я случайно зашел. Я не знал...

Надя перебила:

— А что тут знать, что перекоряетесь? Дмитрий Степаныч, вы думаете, я вами глубоко затронута? Нисколько я вами не затронута. Я вас просила... Не желаете вежливо, не нуждаюсь...

Митя взглянул на нее с жаркой обидой, подбоченился,

выставил вперед ногу пяткой в пол, пошевелил носком и плечами.

— Фу ты, ну ты, мамзель-стрекозель, вы сколько классов прошли? — Вдруг заорал: — Столько же, сколько я, одинаково! А я тебе не под пару? Образованней ищешь? На нем костюм завлекательный, а?

Он засучил рукава, кинулся к Матвею. Надя вскрикнула, вцепилась ему в плечо, повисла на нем.

— Ой, не бейтесь из-за меня! Не деритесь, боюсь, боюсь драки, Митенька!

Матвей громко, с сердцем, заявил:

— Не собирался я из-за тебя драться. Замолчи, Надя! Успокойся, парень, никто у тебя не отбивает.

Он вышел. Митя кинулся за Матвеем, волоча за собой повисшую на нем Надю. Но у порога ей удалось его остановить. На улице еще слышал Матвей Митины крики:

— Дармоед! Классового пролетария обижаешь! Меня, рабочего машиниста? Трудового крестьянина?

Матвей прибавил шагу. Митины крики стали неясными, смолкли в отдалении.

Наутро рано прибежала к Долженковым во двор бабка-телеграф. Она сообщила Митревне, что Надька на свету с громкой бранью выгнала от себя Митю-гармониста. Матвей проснулся, услышал бабкин говорок во дворе и сразу, даже не умывшись, стал укладывать свои вещи в чемодан. Понурый вошел со двора Никанор. Сын, не оглядываясь, попросил его:

— Найдите мне, папаша, на завтра подводу.

У Матвея было нехорошо на сердце. Томили обида, стыд, даже сознание невольной вины перед стариками. Весь день провел с ними, пробовал искренне поговорить, они пугались, громко жалели сына, ругали Советсковых, мать навзрыд плакала. Фроська вбегала в избу, всплакивала вместе с Митревной и убегала опять. Она с жаром судачила с девками и бабами про брата в огородах, на речке, у колодца, приходила, наблюдала, снова бежала докладывать. Это было веселей, чем бояться покора и прятаться в своей унылой избе. Вечером Матвей пошел к костру повидаться с пионерами. За воротами повстречался ему Степка и попросился идти с ним. Мальчик, подняв вверх лицо, с вызовом оглядываясь по сторонам, мужественно прошел всю улицу с братом мимо еще не заснувших, злобно шушукающих во дворах баб. Вышли за село. На глади полевой издали был виден яркий костер. Встретили их радостными криками. Всем любопытно было поглядеть на Матвея. Деревенские разговоры о нем долетели и сюда.

Степка сидел рядом с ним притихший, стесненный. Но когда запели — отошло от сердца у Степки. Во всю глотку, неверно и проникновенно он пел в хоре. Потом голос одного Матвея далеко разносился в ночной полевой тишине. Разошлись только в полночь. Зина недалеко проводила их. Стараясь разглядеть лицо Матвея ласковыми глазами, она нерешительно проговорила:

— Конечно, вы нехорошо поступили, зачем-то пошли, водку там пили и вообще. Но все-таки вы, товарищ, наверно, неплохой человек?

Матвей засмеялся.

— Наверно. А если нет, так буду хорошим, я еще тоже молодой.

Зина радостно подтвердила:

— Конечно! А главное, в деревне все-таки мещанские сплетни,— кому, наконец, какое дело? А жалованье вы имеете право получить. Всякий труд должен быть оплачен. А певец — ведь это тоже служба. Они даже нас ругали, что мы денег стоим государству.

Простились они сердечным крепким рукопожатьем. Степка сунул Зине несогнутую ладонь, проговорил горловым басом:

— До свиданьица, товарищ! Будем к вам захаживать.

Дорогой Матвей легко разговорился с братом. Степка расспрашивал про Москву, смеялся, дивился, восхищался. Не заметили, как подошли к деревне. У самой околицы от последнего двора отделились три черные фигуры, следом за ними — еще две. Степка увидел, закричал пронзительно и жалобно:

— Братка, бить будут!

Первым наскочил на Матвея неизвестный ему небольшого роста мужик в рваном пиджачке. Он бормотал что-то о продналоге, о легком Матвеином заработке.

— Гребешь наши денежки, сучий сын!!

За ним сбоку Митя-гармонист.

Матвей был силен и ловок. Он быстро скрутил руки мужику, ударом ноги отшиб Митю. Но пятеро его одолели. Били нещадно. Он кричал, звал на помощь. Его должны были услышать в ближайших дворах, но на выручку не пришел никто. Степка с визгом промчался по улице. На его зов кинулись первыми Никанор и Федор. Присоединились и соседи. Матвея отняли живым, но он хрипел, изо рта темными сгустками вытекала кровь.

На подводе, нанятой накануне для отъезда, повез Федор брата в ближайшую больницу. В волисполкоме допрашивали арестованного Митьку с пособниками. Жители

боялись попасть в суд, в дело, и подводу с Матвеем до околицы провожали только Никанор с детьми, Митревна лежала без памяти, без языка. Безбоязненно трусила за Долженковым лишь бабка-телеграф и причитала:

— Утроба-а, милай, да зачем ты ехал, да что нашел? Пел, распевал, горя не знал, приехал, болесть себе нашел.

На пригорке за селом встретили телегу пионеры. Зина с рдеющими щеками, с взъерошенной головой остановила подводу, сказала отцу:

— Гражданин, мы вынесли постановление требовать для виновных строгой ответственности. Вам окажем мы помощь в хозяйстве и вообще.

Никанор посмотрел в ее заплаканные, припухшие глаза, низко поклонился и молящим голосом спросил:

— Барышня, вы — ученая, поглядите, помрет он или выживет?

Зина, привстав на цыпочки, наклонилась над телегой, спросила тоненьким, беспомощным голоском:

— Очень вам плохо, товарищ Долженков?

Матвей ее услышал, даже понял, но явь мешалась у него с лихорадочными мыслями; отозвался он невнятно. У Зины покраснел нос, набухли слезами глаза. Отвернувшись от старика, сказала она сквозь зубы:

— Не-е знаю, гражданин! По-моему, выживет.

В Москву из далекого уезда Матвей вернулся, когда начали падать на бульварах, в городских садах багряно-золотые осенние листья.

5

Последнюю зиму старик Долженков часто хворал. Удушье и ломота в костях сильно мучили его. Никанор подолгу лежал на просторной печи, стараясь теплом успокоить ноющее тело. Дарья однажды ласково заворчала на него:

— Что это, папаша, новый дом не поглянулся вам? В избенке-то в нашей со всех щелей дуло, а там не знобило, не ломило вам руки, ноги. Теперь в пятистенном доме, в чистоте, в светлоте самая бы вам пора пожить в добром здоровии, а вы нате вам!

Никанор, кротко вздыхая, отвечал ей:

— Была пора — ушла от меня. Придет пора, не найдется меня. Семьдесят шестой, Дарьюшка, не то семьдесят семой год доходит. Аксинья моя, поди, заждалась там, за гробом-то.

Дарья сердито махнула рукой.

— И говоришь, отец, не знай чего, слушать нечего! Какие ожиданки мертвому? Живой держись, бодрись и ожидай. Помрешь, ждать больше нечего.

Никанор с необычным для него упорством заявил:

— Вы, Дарья, как знаете, как желаете, а я во гробе ждать буду страшного суда. Милости божьей после него, жизни вечной ждать буду. Повидаю там и супругу свою, тоже господом за грехи прощенную. На наш век работы хватало, беды хватало, а сытости, радости мало досталось. Уж там поживем без печали, без воздыханья, без хлопот об земле, об детях.

Дарья хлопнула себя руками по бедрам.

— Да о чем же тебе теперь печалиться? Об чем заботиться? Живи, отдыхай, на детей да на внуков только радуйся. Не кончину зови, не к покойникам тянись, а дожидайся правнучков. За эти восемь лет, как матушка-свекровь померла, житье наше как поправилось. И не гадали, и во снах не видали! Дом новый, двор крепкий, одежа и на себе, и в сундуке хорошая. Тебе от всего колхоза почет. Да не только от нашего колхоза...

Старик перебил ее:

— Вот, вот! То самое и я говорю. Дожил и до почета. Больше нечего мне на земле дожидаться. Самое время помереть, пока еще старик я не тяжкий. Хуть плохо, а своими руками, ногами владею, не ослеп, не оглох.

Он раскашлялся натужным старческим кашлем, отдышался, с большим усилием, в изнеможении снова лег на печи. Голос его зазвучал утомленно и слабо:

— Видишь, износилась моя сбруя. И сипит, и хрипит, все тело скрипит. Пока еще совсем не опостылел вам, проститься мне с вами охота. На том свете старуху обрадую, расскажу, что живете хорошо, в люди выбились. Этого шибко ей было желательно.

Дарья засмеялась.

— Ох, отец, отец! Да в писании сказано, в раю разговаривать друг с дружкой некогда, все хвалу богу поют.

— А я в хвале все и обскажу. Не смейся надо мной, Дарья, не обижай. С какой верой жил, с такой помру, с упованьем на господа.

Дарья улыбнулась жалостливо и ласково.

— Да бог с тобой, уповай. Кто тебя корит? Кто мешает? Ну, поспи, не круши себя печалью. Кланька придет, ужо покормит тебя. А мне в столовую на работу пора.

Она быстро накинула на себя платок и шубейку, вышла, но сейчас же вернулась.

— И вот, папаша, еще что мне удивительно, Матвею-то вы разве не рады? Ведь со дню на день опять его к себе в гости ждем.

Никанор приподнял седую, совсем белую голову. Бескровное лицо старика оживилось светлой улыбкой.

— Его-то я, Дарья, дождусь, обязательно дождусь. Для матери поклон от него приму.

— А, опять за свое!

— Не сердись, сноха. Его шибко жду. И не возгордился в таком высоком положении, и обиды не попомнил. Спасибо ему, сыну милому. Дождуся. На ногах, не на печи лежа, встрену. Постараюся.

— Ну, то-то же!

Дарья хозяйственно плотно прикрыла дверь. Не прошло минуты, как задорная ее скороговорка послышалась уж под окнами, на улице.

«Быстрая, — подумал Никанор. — На язык востра, ну и на работу спорая, хаять нечего. А и вправду говорит: готовься, дед, в прадеды. И у них с Федором дети не маленькие. Кланька — невестится, шешнадцатый. Матвей оженился поздно, а тоже — два дитя уж. У Фроськи трое, у Степки дети будут. Будут еще Долженковы без меня, от нашего корня. А вроде совсем недавно сам под венцом стоял молодой. Господи-батюшка, как же это устроено? Какая жизнь у человека короткая. Давно ли я мальчишкой в бабки играл? На-ко, и не оглянулся, как все одно другим сменилося. Чисто увидал все про себя в один сон, за одну-едину ночь...»

Воспоминанья наплывали на него, будто мелкие разрозненные облака, отрывочные, но для него внутренне неразрывные. Он заснул, но и во сне продолжалась работа встревоженной памяти. Ему снилось далекое, невозвратное прошлое. И оттого, что было невозвратимо отрадное и горькое, все в нем казалось равно милым. Душа не хотела смерти, прощала все страдания человеческого бытия.

А вокруг творилась жизнь настоящего. Необычная жизнь, в которой Никанор многого не понимал, иного просто боялся. Село застроилось новыми домами, разрослось. Окрестности его перестали быть глухими. Неподалеку отыскали медь. На разработки пролегла узкоколейная железная дорога. С рудника дали электрический свет колхозу «Освобожденный труд», хотя и не ко всем еще избам подошли провода. У Долженковых горел уже новый свет. В осеннюю грязь, в пору весенней распутицы, в нынешнюю снежную зиму освещенные улицы не устрашали поздних прохожих, как бывало. Больше, чем внешний, изменился

внутренний уклад деревенской жизни. Очень приметной, настойчивой в своих желаньях и вкусах сделалась молодежь. Дарья Долженкова, давно приверженная к городской обстановке, все же многого не ввела бы в свой житейкий обиход, если б не Кланька и Петька. Федор громко бранился, старик тихо, укоризненно ворчал, когда обставили горницу в новом доме. И платяной шкаф, и кровать со светлыми шишечками, и кружевные надвески на окнах, хрупкая этажерочка для книг — все это несколько смущало и Дарью, но радовало молодых Долженковых. Особенно горячо хвалил горницу Степан, хоть сам не жил в семье, только наезжал на побывку. Он служил шофером в областном городе и без отрыва от работы обучался в летной школе. Также радовала городская обстановка жилья Фросю.

— Хватит с нас, нажились без убранства, без уюта. Пора пожить культурно.

Пять лет назад Фрося вышла замуж за Митю-гармониста. Митя Телепин уже не служил на мельнице, водил паровозы по железной дороге. Перед женитьбой он ездил в Москву мириться с Матвеем. Тот принял его весело, радушно. Теперь Митя не раз говорил друзьям:

— Я — человек не гордый, а есть и у меня гордость. Не собой горжусь, горд я своим паровозом и своим шурином: артист знаменитый, певец на весь мир. Голос у него — золото, а характер — брильянт без подделки. Вот какой человек у меня в родне!

С Фросей они жили очень дружно. Может быть, потому, что Митя любил вызывать восхищенье собой у окружающих, а Фрося искренне и неустанно им восхищалась. Она верила Митиным глазам больше, чем собственным. У Телепиных было трое детей. Родители часто привозили их к деду. От колхоза они жили недалеко. Фрося с мужем, так же, как и Матвей, настойчиво звали Никанора к себе хоть погостить, если не хочет совсем переселиться... Старик раз и навсегда отказался наотрез:

— И не уговаривайте! Матвею Дарья от меня отписала, а тебе сам говорю: не поеду. Ездить в гости — жалко мне свои старые кости. Какой я теперь ездок? Мне один путь лежит недальний: на кладбище повезут. Все вы мне — дети, сердцу моему дорогие, слов нет. А Федор со своим семейством попривычней. Я — ваш отец, но не по вам. А старшему своему — гожусь. Дарья нам тоже подстать, сколь ни городи она в горнице белендрясов господских.

Он вздохнул и устало махнул рукой.

— Киньте эти уговоры-разговоры. Ни к чему.

К Дарьиным «белендрясам» старик скоро стал равнодушен. Только особенно смутил его один «белендряс». В свой последний приезд Степка установил в доме радиоприемник. Раньше в граммофоне слышал Никанор и музыку, и человеческий голос. Но то было как занятная, затейливая игрушка. Удивило, даже восхитило, но не поразило. Мало ли чего не придумает досужий смышленый человек? А когда установили в доме черный круг на подставке, Никанор был поражен. Круг не только пел, играл, а и рассказывал о близких, понятных ему, как еда и питье, колхозных делах.

Однажды, не рано, уж ввечеру, ложиться спать собирался дед. Степка попросил его подождать, не укладываться.

— Чегой-то? — удивился Никанор. — Кому я понадобился в ночь? Ночью кличут виноватых да сильных. За мной ни вины, ни силы уж не осталось.

Степка, Дарья, Кланька и Петька дружно засмеялись, усмехнулся даже хмурый обычно Федор.

Обождите, папаня. Виноватить вас не за что. Дожидайтесь радости, послушайте радиу.

Никанор знал, что его дети говорят ему «вы» лишь в торжественный или очень горький час. Федор обещал не беду, а радость. Значит, готовится какое-нибудь семейное торжество. Либо Дарью, либо Федора опять из всего колхоза наградой отличили. Оба хорошие работники, их силу, старанье и уменье очень ценили в колхозе. А может, снова об Матвее шумный хвалебный разговор.

«Диву даешься, — думал старик, — на какую высоту сынок из-за песен взошел. Кто раньше укорял, теперь не нахвалится. Заглазно, в лицо не видя, люди ему кланяются. И достаток, и почет через детей достался мне на старости. Через родных моих детей. Отцовскому сердцу лестно. Маненько бы пораньше все это пришло, веселился бы я, гордился бы. Может, и похвалялся бы детьми, а через них и собой. Вот какой Никанор Долженков! Хорошей жизни дождался. А теперь чего же? Ослаб. Укатали сивку крутые горки. От беды не взвою, от радости не взвеселюсь. Чисто палый лист осенью, от всего оторватый... Ну, чего мне тут слухать? Спать пора. Пускай молодые слухают».

«Черный круг» громко пел, играл. Молодые, слушая, притихли. Вошла Дарья, бесшумно разделась и тоже подсела поближе к ним. Не слишком понятные музыка и пенье, особенный песенный разговор на разные голоса, слова врастяжку. Старик уже знал, что все это вместе называется опера. То самое учрежденье, в котором служит Мат-

вей. Никанору Степа обещал, что услышит он и Матвея по радио. Старик не поверил, хоть не раз убеждался, что удивительные обещания его детей часто исполняются. Трудно было представить, что не чужие, неизвестные Никанору музыканты, рассказчики, певцы, а свой, зримо знаемый сын заговорит, запоет, невидимый через эту круглую «штуковину». И вдруг сидевшие близ радиоприемника словно по команде, разом, воззрились на старика. Петька подбежал к нему, сказал приглушенным, прерывистым от восхищения шепотом:

— Слушай, дедушка... Деда, милый, слушай же!

Никанор не сразу узнал родной голос. Но скоро сомневаться стало нельзя. Поет Матвей. Он, сын. Его голос звучал с перерывами, большими и малыми. Во время этих перерывов семья накидывалась на старика с восклицаньями, радостным смехом, с расспросами. Он сидел, как громом оглушенный. Вопросов не понимал, досадливо махал руками, ничего не слышал из того, что говорилось вокруг. Один только Матвеев голос был слышен ему даже тогда, когда замолкал. Он звучал в нем самом, в его мозгу, в его сердце, в биении крови. Отец забыл, что поет его сын. Иная, особенная близость сроднила старика с певцом. Высокое волненье души сблизило одного человека с другим. Оно заставило их обоих нераздельно дышать, мыслить и чувствовать. Певец пел: «О, дай мне забвенье, родная...» Никанор забыл и о певце. Ведь это он сам страдает, его собственная мольба звучит сегодня в ночи. Его личная — не Матвея, а Никанора Долженкова — мольба. На склоне лет впервые познал Никанор силу и власть искусства.

Наутро в его потрясенном существе родился протест. Старик стал бояться радиоприемника, когда он передавал музыку или пенье. Слишком тревожили они его усталое сердце. Тем не менее противоречивая человеческая душа порой жаждала, уже требовала той новой, тягостной и сладкой тревоги. Сейчас, заново переживая во сне свою длинную жизнь, Никанор Долженков слышал музыку, и она была ему желанна, отзывалась, повторялась в его сердце как ощущение жизни.

6

Знаменитый тенор, орденоносец Матвей Никанорович Долженков предложил дать два концерта в бывшей Александровке. От платы за свои выступления он отказался. Взамен потребовал, чтоб на его вечерах участвовали му-

зыканты, певцы и плясуны из колхозных кружков самодеятельности. Была жаркая подготовка и жесткий конкурс.

Накануне приезда Матвея семья Долженковых сидела в сборе за столом. Не торопясь пили чай. Завтра воскресенье, оставшееся по-прежнему нерабочим, выходным днем в селе. Дарья веселой скороговоркой, то садясь, то вскакивая со стула, изображала, как готовились к выступленьям Советсковы и другие местные исполнители песен и плясок.

— А при них бабка-телеграф, вроде маятника при часах. Глядеть со стороны, так без нее всему делу станет остановка, — смеясь, сообщила она.

Федор не любил оживленья за едой. Он привык есть много, быстро и молчаливо, чтоб не терять лишнего времени.

— Ты сама-то не трещи, как телеграфиха. Гляди, кусок застрянет, — нравоучительно и недовольно прервал он жену.

— У меня не застрянет. Я говорю жа жую. Не бойся, у меня время сроду зря не убежит. Следи за своим.

— Ну, ну, — примирительно произнес Никанор, — всяк по-своему и по земле топает, и ест, и спит, и со своей женой живет. На это указки нет, абы работа у человека спорилась. А на бабку-телеграф я дивуюся. Скажи, какая старуха вечная. Постарше меня, а ни хвори, ни удушья. Высохла себе в сморчок и живет, не устает.

— А с чего ей устать? — спросил Федор. — Всю жизнь, как скворец в скворешне, с подсыпным кормом. За мужем да за детями припеваючи прожила. Клюет, мельтешит по дворам да языком трещит — вся ее работа.

— Ну, не говори, чего не знаешь, — перебила Дарья. — Трещать она трещит безумолку, а когда и бестолку, но в хозяйстве с толком снует, что челнок в машине. Из-под ее кур яичка ни один ловкач не стащит. Каплю молока сноха прольет, она тут как тут. Натрещит, насрамит, а то и кулачонком костистым в глаз ширнет. А на спекуляцию — ух, дошлая, нипочем ей в город смотаться, купить, перепродать.

— Она, мама, в город не за тем часто ездит. Говорят, какой-то дяденька ее сказки слушает, записывает, ей деньги за сказки платит. Она, люди сказывают, хвалилась, что придет время, не меньше дяди Матвея будет денег получать, — сообщила Кланька.

— Ну-ну, — погрозил девочке Федор, — глупостев не болтай. Сравняли! Матвей — певец, опера! Это занятье большое, ордены дают, заслуженное званье определяют. А ты балаболку старую, побрехушку с ним равняешь.

— Я, папаня, тоже певцом заделаюсь. Учитель говорит, что у меня хороший голос. Прошлый раз так и пошутил: не у дяди ли, говорит, голосу занял?

— Дай бог тебе, сынок.

Никанор глубоко вздохнул. Уже несколько дней его не терзали ревматические боли. Чувствовал он себя бодро, очень радовался, что встретит Матвея, как обещал, «на своих ногах, а не на печи лежа». Оттого старик часто улыбался, смотрел вокруг повеселевшими глазами. Сейчас вдруг у него снова сжалось от печали сердце и как будто заныла спина. Он тоскливо подумал:

«Теперь все на Матвея с завидкой. А как выбивался, с какими скорбями дела своего достигал, теперь мы от чужих только прослышали. А нам, кровным родным, и невдомек было расспросить, пожалеть, когда в первый раз приезжал. Мы его только укоряли. А он, может, с тем и ехал к родным, чтобы пожаловаться, сколь труда и обиды хватил».

Все это хотел старик сказать Федору, но мудро смолчал. Семейное чаепитье закончилось в мирном довольстве.

Ночью нанесло буран, глубоким снегом замело дорогу, идущую на шоссе. Колхозники поднялись рано, чтоб расчистить ее к прибытию гостя. Особенно усердствовала молодежь. На работу подоспел Дмитрий Телепин. Он в работе не отставал, но сразу принялся командовать:

— Дружно, товарищи! По-ударному двинем по сугробу, колхозники. С рудника машину выслали на станцию, так чтоб не угруз автомобиль. Ровней! Чище! Гладко делай!

— Куда уж глаже! — прокричал ему в ответ пожилой колхозник. — Чего разоряешься? Царю ровней дорогу не прокладывали.

— Не царь едет, а честный человек. Делай лучше! — надрывался Митька.

— Да тише ты, кишки криком надорвешь, — смеялся старик Советсков. — Жена моя, гляди, как старается. Башкой снег сбивает. Милая, снегу не наглотайся. Охрипнете, с кем дуэт наш распевать буду?

Прибежала на расчистку и бабка-телеграф. Ее встретили громким смехом.

— Вот это — подмога! Одной рукой весь сугроб своротит.

— Как бы только снежинка озорная самое не сшибла. В чем дух у тебя, бабка, держится?

— В языке! Не гляди, что мала и дохла. Языком гору своротит.

— А что милые, а что же, товарищи колхозники, утробы! У кого какая орудия. Иной с пушкой, другой с мелким ножичком. А еще не знай, который осилит. Вы сгребайте, сгребайте, а я подолом размету. Ведь встречаем-то кого? Едет кто? Язык сразу не осилит рассказать, какой почетный гость.

— Твой осилит. Повернется, вывернется, перевернется да осилит!

— И срамное, и смешное, и вопленное.

— Зачем вопить? Плясовую играть надо. Матвей свет Никанорыч едет. Ох, утроба! Какой почет нам, на завидку всей округе. Гляди, гляди, вон — подводы от соседей тянутся!

— И впрямь большой съезд колхозный. Вот — праздник так праздник.

Подъезжавшим подводам кричали со всех сторон:

— Куда? Местов нет в клубе. Давно билетов нет.

— «Сколько вас, куда вас гонят?»

А подводы из других колхозов все прибывали. Многие заехали во дворы к родичам и знакомым. Санями заставлена была вся площадь у сельсовета и клуба. Сугробы по краям дороги далеко за село украсили зелеными елочками с красными флажками. Весь колхоз «Освобожденный труд» гудел от разговора, смеха и споров.

— Куды же вы понабились? Пять клубов не вместят, не то что наш.

— Вы — люди, а мы не люди? Вам — отрада певца услышать, а наши уши грешнее ваших, не хотят, да?

Пока расчищали дорогу и спорили на улицах, со станции прибыла легковая машина за стариком Долженковым и его семьей. Намечена была торжественная встреча Матвея с родными на станции. Никанор поехать отказался. Его уговаривали настойчиво и долго. Наконец за него вступился Митя. Осторожно, кончиками пальцев прикасаясь к старику, будто к драгоценной хрупкой вазе, он сказал сладчайшим голосом:

— Я извиняюсь, — папаша у нас болезненный. Не растрясти бы их, не потревожить бы чего-либо из внутренностей. Разрешите их, за слабостью, дома оставить.

Из-за локтя Мити пронырнула вперед бабка-телеграф, завопила тоненько и протяжно:

— Нет уж, товарищи, сто раз дорогие, уважаемые, любимые! Не повредите старичка. Он у нас один не то что на весь уезд, на всю область-губернию один — отрада! Ох, драгоценный старичок, утроба! Сынок-то, Матвей Никанорыч, весь в его. Умудрилась покойница Аксенья Митревна,

чисто по форме испекла всего в родителя, точка в точку в родителя! Не замайте отца, не огорчите сынка.

Еле отвязались от нее приезжие. Один облегченно вздохнул, садясь в автомобиль:

— Древняя старушонка, а цепкая. Интересно, какая же она была смолоду?

— Затрудняюсь представить, — любезно ответил Митя и гордо посмотрел на любопытных, обступивших машину.

Так же надменно хотелось взглянуть на толпу Петьке. Но глаза его сияли от беспредельного восторга, губы сами собой раздвигались в счастливую улыбку. Клавдия закрыла руками пылающее лицо, крепко прижалась к материнскому плечу. Дарья твердо сжала губы, а взор ее также сиял радостью. Федор уселся важно, с каменным лицом. Сердце у него учащенно билось. Машина тронулась и быстро скрылась из вида.

Никанор вмешался в толпу ожидающих, пошел вместе с ними на дорогу. Люди двигались плотной стеной. Вдруг раздался длительный автомобильный гудок. И стена покорно разделилась надвое. Идущие встали по обочинам дороги. Старик Долженков стоял в тесно сомкнутом ряду. Губы старика тряслись, в глазах стояли слезы, но впервые в жизни Никанор был сознательно счастлив. Сейчас ему не хотелось умирать. Медленно двигался автомобиль среди расступившихся людей. Навстречу ему неслось пенье большого согласного хора. Колхоз приветствовал певца.

1940

9 Заказ 63

САША

В этом городе, на большой судоходной реке, Саша Степанова родилась и выросла. Юные деревья в скверах, на новых площадях, посаженные после Октябрьской революции, были ее ровесниками. Саша росла в дружной, веселой, трудолюбивой семье. Дети учились. Мать служила кассиршей в большом предприятии. Отец, техник-строитель, возводил мосты. Случалось ему работать и в очень трудных условиях, но никогда ни на что он не жаловался. Его всегдашнее спокойствие установило в семье постоянный бодрый тон в часы горестей, болезней или утрат.

После отца и матери самыми близкими на свете людьми были для Саши дедушка с бабушкой, родители Дмитрия Алексеевича. Девочка очень любила гостить у них в железнодорожном поселке, близ станции в степи. Дед ее до старости работал слесарем на железной дороге. Молодые годы ему пришлось провести в скитаньях по России, когда он скрывался от преследований царских жандармов. Об этих горьких, скитальческих годах хорошо рассказывала бабушка. Широко раскрыв серые глаза с чудесными длинными ресницами, Саша слушала горькую быль. Сердце ее замирало от восхищения, когда, как в страшной волшебной сказке, все же приходил счастливый конец. Несмотря на множество пережитых бедствий, старик сохранил большое чувство юмора, любил ввернуть сочное словцо.

Теперь вспомнив дедушку, Саша нежно улыбнулась. Где-то он сейчас, с его неизносным здоровьем, с неиссякаемой шутливостью, простой, но чудесный? Превращен ли в прах немецким снарядом, или даже в лапах врага не признает он «безвыходных положений»? Саша вспомнила о задушевных разговорах с бабушкой. Это было давно, семь лет тому назад. Но последняя их беседа сейчас дословно оживает в памяти девушки.

— Бабушка! — воскликнула тогда Саша. — Я тоже буду до старости бороться за революцию и за советскую власть. Ничего, ничегошеньки не побоюсь!

Лицо бабушки осветилось счастливой улыбкой:

— Тебе не придется такого зла увидать! Твоя жизнь будет без сучка, без задоринки. Советская власть для тебя стариками завоевана.

— А сейчас разве зла не бывает?

— Ну, как не быть! Нечисть и в святом красном углу заводится.

Старуха никогда не рассказывала о себе самой. А ведь и она рядом с дедом прожила «нестрашимую» жизнь. Такова и Сашина мать — Анна Ивановна. Недаром старуха о ней говорила: «Ко двору нам пришлась». Очень женственная, хрупкая, моложавая для своих лет, она, казалось, жила отраженным светом желаний мужа, без своих личных устремлений. Но когда Анна Ивановна с тихой, ободряющей улыбкой целовала его, провожая в армию, Дмитрий Алексеевич сам прослезился в первый раз в жизни на глазах у детей. И сказал жене дрогнувшим голосом:

— Спасибо тебе, моя крепкая! Без тебя многого не вынес бы я в моей судьбе.

Война разметала дружную степановскую семью во все стороны. Отец на фронте. Мать эвакуирована с предприятием, где работала, в далекую Сибирь. Младших детей она увезла с собой. Ей нестерпимо тяжело было старшую дочь оставлять в городе, которому грозило неприятельское нашествие. Саша настойчиво твердила матери:

— Тебе с детьми уехать необходимо. Они малы еще, а я в крайнем случае уйду с армией. Какое счастье, что есть у меня моя специальность. Вот видишь, не напрасно соревновалась я во всем с мальчишками! А ты меня тогда бранила.

Саша в детстве, в поселке у дедушки с бабушкой, приобрела много друзей-мальчишек. Ее привлекали в мальчишках их ловкость в прыжках, в беге, смелость мальчишеской езды на лошадях.

Учась в десятом классе, увлекалась она шахматной игрой и радиоделом. Кто-то из ее сверстников дразнил Сашу, что ни одна девочка не умеет ни устроить радио в своей квартире, ни обращаться как следует с радиоприемником. Саша на спор старательно занялась радиотехникой, обучалась около года и сдала экзамен. В первый год войны у нее были права радиста, а теперь, в 1942 году, она работала уже радиотехником. Об этой своей специальности она и говорила матери. Шуткой хотела она смягчить жес-

токость разлуки. Но мать не улыбнулась в ответ. Она покачала головой, сказала медленно и скорбно:

— Какой ты воин! Только что высоконькая, а личико у тебя совсем еще детское...

— А зачем толщина? Лишний груз. Разве ты не знаешь, какая я сильная и ловкая?

Расстались они тяжело. На этот раз Анна Ивановна не выдержала. Обняв дочь на прощанье, она зарыдала надрывно и горько. Свои слезы Саша удержала большим напряжением воли. Оттого юный голос ее казался немолодым и жестким, а прощальные слова прозвучали укоризной:

— Мама, я не узнаю тебя! Не плачь, пожалуйста, дорогая!

Как часто теперь встают перед ней большие, сразу потускневшие от горя родные мамины глаза!

Если бы можно было сейчас крикнуть ей:

— Мамочка, не со зла, от большой сердечной муки не сумела я тогда бережно осушить твои слезы! Дорогая, никем не заменимая в жизни мама!

Никем. Есть у Саши другая горячая любовь. Та, для которой забывают родителей, братьев и сестер. Забывают, да. Только в мирном течении жизни. А в годы таких испытаний, когда смерть дышит в лоб, слово «мама» неустанно звучит в человеческом сердце с изначальной силой. В нем источник жизненного тепла, столь необходимого в холодном окружении смерти. Володя по-прежнему дорог девушке. Но вся история их любви сейчас так далека! Будто было все давно давно или приснилось в чудесном, но смутном сновидении.

...На реке небольшой островок. В один воскресный день в конце мая они с Володей катались на лодке и пристали к этому островку. День был тусклый, но им обоим казался чудесно светлым. Они в первый раз объяснились по-настоящему, сказали друг другу о своей любви. Объяснение произошло неожиданно для обоих. До этих пор между ними были странные отношения, больше похожие на вражду, чем на любовь. Саша разговаривала неестественным, гордым тоном. Володя отвечал ей насмешливо, даже чуть презрительно. В то же время оба постоянно хотели встречаться друг с другом. Глаза одного всегда искали взгляда другого, рукопожатия были обоим приятны, а слова — неприязненны. В начале сорок первого года родители Володи перебрались на жительство в Сибирь. В мае он уезжал к ним. Саша, страшно счастливая, но смущенная первой страстью поцелуев, вырвалась из Володиных объятий, крикнула ему:

— Догони меня!

Пестренькое летнее платье девушки замелькало меж кустами. Володя рванулся за ней, но зацепился ногой за корягу и растянулся на земле во весь рост. Девушка со смехом подбежала к нему, протянула руки, чтобы помочь ему подняться. Но Володе было стыдно своей неловкости. Он сделал вид, что не заметил ее протянутых рук. Весь красный, нахмуренный, быстро поднялся сам. При этом движении из кармана его брюк посыпались на траву деньги, мелочь: двугривенные, гривенники и одна новенькая блестящая медная копейка.

— Батюшки, копейка! — воскликнула Саша. — Это, наверное, последняя в городе. Я давно их не видела. Подари мне!

Володину хмурость как рукой сняло. Он засмеялся в ответ:

— Вот не знал, чем прельстить. Давно бы тебе копейку показать. А ну, отними, сумей!

Юноша побежал, Саша догнала его. Они долго вырывали друг у друга копейку. Саша вырвала монету, но немедленно на беленькой узкой ладони протянула ее Володе обратно. Володя глубоко заглянул в сияющие серые глаза девушки, сжал ее ладошку вместе с копейкой и припал к ее руке долгим поцелуем. В первый раз в жизни мужчина целовал ей руку. Как это было хорошо! Потом с особенной, проникновенной нежностью он привлек Сашу к себе и сказал:

— Саша, милая, знаешь, что мне пришло в голову! Давай закопаем эту копейку здесь, на острове. А придем за ней через десять лет. Вместе придем, понимаешь? Если один из нас изменит... Конечно, не я! Смотри, не измени мне, Саша! Так вот, если ты изменишь, разлюбишь, когда я уеду, напиши просто: «На острове ничего не ищи». Я не вернусь к тебе. Но нет, мы приедем за нашей копейкой вместе. Оба любящие, оба верные, муж и жена. Правда?

— Муж и жена, — покорно подтвердила Саша.

Они закопали копейку под старой вербой, близ берега...

Об измене говорили, — о возможности смерти тогда и не подумали. Что Володя ее не забыл, в это Саша верит, это она чувствует. А вот жив ли, кто скажет теперь? В армию ушел он в Сибири. Сообщение об этом было последним известием о нем. Он писал: «Помни дорогая, что люблю я тебя неизменно. Ни малейшего интереса к другим девушкам нет. В компании с ними я такой скучный, что самому досадно, а ничего с собой поделать не могу. Видно,

придется нам вместе откапывать заколдованную нашу копейку. Сегодня видел тебя во сне, твои длинные ресницы, родинку твою на правой щеке, и целовал я ее, целовал...»

Володя, жив ли, где ты? Не надо вспоминать, не надо! О милом сердцу женихе вздыхать не время. Безыменный островок, где они с Володей обручились, теперь имеет военное название «Ольга». Там сидят наши артиллерийские наблюдатели. Находится он под непрерывным обстрелом противника. Там часто нарушается радиосвязь. И когда Саша отправляется в блиндажи наблюдателей, не любовными воспоминаниями, не грустью нежной полна ее душа, а страстной ненавистью. Прошлое прошло, а будущему быть. А чтобы оно пришло и было светлым и счастливым и для ее семьи, и для Володи, и для родного города, и для дорогой Страны Советов, Саше, как и всякому бойцу, надо помнить только о данном дне, о текущей минуте и действовать, действовать. Довольно! Выключены все воспоминания. Кругом вражья стихия нечеловеческой злобы. Она в чудовищном фейерверке боевых огней, в смраде неприятельских трупов, в каждом уголке этого обугленного города, где нет ни девушек, ни женщин, — все они бойцы. Здесь не слышен детский лепет, нет семейных очагов и домашних животных. Дым, и гарь, и смерть, смерть! Острого страха у девушки уже нет. Надо зорко смотреть вокруг, хладнокровно рассчитывать — ползти дальше или залечь за ближней грудой кирпича от разрушенного здания.

Земля под Сашей вдруг стала зыбкой от большого взрыва невдалеке. У девушки закружилась голова и хлынула носом кровь. Саша прижала к ноздрям рукав шинели, присела на корточки у дома с забитыми окнами, с оторванными дверями парадного хода.

Но вот сквозь дым и пламя большого пожара донеслось протяжное русское «ура». «Нет, врешь, фашист, не раздавишь, не такой мы народ, чтобы смог ты нас раздавить!»— прошептала Саша. Девушка перекинула свою сумку снова за спину и провела рукой по лицу. Когда-то нежная ладонь уже давно огрубела. Девушка отдышалась и поползла дальше. Об острый камень расцарапала в кровь коленку. На такую боль Саша не обращала внимания. Давно длится осада стойкого русского города. Уже два с половиной месяца гитлеровцы в самом городе. Заняли и заводскую окраину, захватили выгодные позиции в центре, а город взять не могут. Много раз прибывало к неприятелю подкрепление и смрадным прахом полегло на чужих, непокорных улицах. Перебираясь через труп фашиста, Саша подумала с торжеством:

«Довоевался, собака! Вон сколько вас падалью валяется, а город — наш! Нашим и останется!»

От этой мысли ее силы как будто утроились, окрепло мужество. Она хладнокровно и быстро — пять раз в этот день — исправляла повреждения радиосвязи под страшным огнем противника и отовсюду выходила невредимой. Случайно видевший ее работу в одном из домов пожилой боец восхищенно сказал:

— Ну и храбра ты, девушка! Сама смерть перед тобой тыл дала. Счастливая ты уродилась!

— Оттого и счастливая, что храбрая! — в ответ ему крикнула девушка.

Среди ночи на узле связи дан был Саше приказ доставить аккумуляторы и произвести ремонт на острове «Ольга». Когда она пробиралась к реке, артиллерийский огонь временно затих. Во многих местах города непроглядная темнота осенней ночи на короткий срок укрыла советских солдат, как друг. Но враг внезапно открыл беспорядочную стрельбу. Взвились в небо ракеты, от зажигательных снарядов вспыхнул остов большого здания. Зарево пожара ярко осветило чужаков, бегущих в атаку. Со стороны Саше показалось, что фашисты, как бесноватые, плясали какой-то странный танец. Из-за углов, из окон, из-под обрушенных стен советские пулеметы стали косить эти фигуры. «Ах, побольше бы их полегло!» — шептали Сашины губы.

Она спрыгнула в утлый ялик, направила его к острову. Неужели светил ей когда-то милый ночной свет родного неба? Даже трудно себе представить тихую лунную ночь или кроткое звездное мерцание. Горит, загасает, снова вспыхивает в нем сейчас множество огней от ракет, от орудийной стрельбы — страшных огней войны, ненавистных вражьих огней. Беззащитный ялик в их разноцветной стихии, как ничтожная скорлупка в океане.

Саша прокладывает свой путь зигзагами; в иные моменты убирает весла, ложится на дно, движется по воле волн, но все время помнит об аккумуляторах и о своей сумке с инструментом и радиолампами. Долга и опасна переправа. Ни о чем постороннем, хотя бы лично дорогом, некогда подумать. Лишь выбравшись на остров, под знакомой старой вербой неожиданно вспомнила Саша про зарытую здесь копейку. Не давайся никому, заветная, как сказочный, заговоренный клад! Фашистская нога пусть не смеет коснуться земли над тобой!

На «Ольге» рвущиеся снаряды сотрясали землю. Два мгновенно сраженных бойца упали около Саши. Сердце девушки стиснула боль жалости к ним, но ее внимание не

отвлеклось от неисправной рации, руки не дрогнули. Тело у нее затекло от работы в лежачем положении, на лбу выступил пот. Ну вот, есть контакт! Закончив дело, она переменила позу. Присела в блиндаже на корточках, прислонилась спиной к стенке и мгновенно заснула. Спала крепко, не слыша шума боя и не чувствуя сотрясавшейся земли. Сон был сладок, но длился недолго. Она приучила себя засыпать на определенный срок и пробуждаться в назначенное время, если даже некому было ее разбудить. Обратный путь оказался более легким. Перед самым рассветом затихла стрельба. До города Саша добралась благополучно. Но вместе с рассветом пришел для нее день, полный душевных терзаний.

Сашу вызвали к разрушенной городской церкви. От церковного здания уцелела колокольня. В ней наверху установили рацию. Но работа ее то и дело прерывалась. Взрывы тяжелых бомб сотрясали колокольню от основания доверху.

Крутые ступени лестницы дрожали под Сашиными ногами. Она невольно замедляла шаг. Наверху ее ждали радист и офицер-корректировщик. Нетерпеливый мужской голос, хриплый от усталости и гнева, сверху прокричал:

— Чего там застряла? Давай срочно наверх!

Был в этом голосе какой-то родной, незабытый звук. Может ли быть? Саша быстро вбежала по ступенькам и тут действительно чуть не потеряла сознания. Громко и быстро застучало ее сердце. Она удержалась, чтоб не крикнуть от испуга и счастья. Володины глаза гневно смотрели на нее. Но девушка не крикнула и не упала. Его лицо возникло перед ней в едком дыму. Рядом горел кожевенный завод. От пожарища расстилался окрест смрадный, черный дым, останавливающий дыханье, до слез щиплющий глаза. Володя ее не узнал в тот момент. И не до того ему было. С завыванием пикировал «мессершмитт», на колокольню летели осколки. Люди с колокольни спустили радиостанцию вниз, антенну вытянули вверх. Ничего не слышно! Саша забыла обо всем на свете, кроме своего дела. Скорей, скорей! Там, внизу, насмерть стоят: в предельном напряжении бьются за город, за священные его руины. Нельзя оставлять их без связи с командованием. Подняли радиостанцию вверх, опустили антенну. Прошло немного времени, совершенно невозможной сделалась работа радиста наверху. Опять потащили радиостанцию вниз. Саше удалось добиться слышимости. Наступило короткое успокоение. Вот здесь, в полутьме их укрытия, Володя ее узнал, коротко сказал дрогнувшим голосом:

— Сашенька, вот как нам встретиться пришлось!

Они успели только взглянуть глубоко в глаза друг другу, но даже рук не удалось им соединить в счастливом рукопожатии. Адресат сообщал, что не слышит. Надо снова подниматься наверх. Установили станцию наверху. Офицер только что занял свое опасное место и поднес бинокль к глазам, как осколок снаряда ударил ему в бок. Володя упал в пролет лестницы. Только чудо могло бы его спасти. Чуда не случилось. Санитар-носильщик вынес уже бездыханный труп. Бой продолжался. Продолжала свою работу и Саша. С колокольни смогла она уйти только к вечеру второго дня. Как удалось ей собрать воедино всю свою душевную силу, чтоб не удариться оземь, не убежать со своего поста, не кинуться с горьким рыданием на тело любимого Володи — она и сама не знает. Удалось. С того дня девушка поставила перед собой, как завет на всю жизнь, гордое утверждение:

— Для сильной человеческой души не может быть в жизни страдания, которого нельзя перенести.

Этот завет в слова оформился много позднее, когда на бранных полях снова пробилась зеленая трава и расцвели цветы. В тот день Саша ощутила свято и просто: в счастье ли, в славе ли, в личном ли тяжком страдании она не сможет изменить воинскому долгу, не изменит самой неистребимой любви — любви человека к своей родине.

В стремительном и беспорядочном бегстве отступили гитлеровцы от города. Они оставили за собой одни руины, изуродованную, израненную землю, но вскормленный и вспоенный ею мощный русский дух сопротивления иноземному игу не смогли победить. Через три месяца после отступления немцев Анна Ивановна получила от Саши письмо:

«Дорогая мама! Из газет уж ты знаешь, что мы не сдались, прогнали фашистов. О себе могу сообщить, что я награждена орденом «Красная звезда» и медалью «За отвагу». Папа очень этому рад. Я получила от него письмо с его фронта. О своих ранах, об их излечении, о награждениях своих, наверное, он тебе писал сам. От папы я узнала, что наш дедушка оказал партизанам большое содействие в крушении вражеских поездов. Умер он своей смертью на партизанской базе. Милая мамочка, я очень, очень много пережила, но смогу рассказать тебе обо всем откровенно только при свидании.

Я любила одного человека: он убит на посту, на моих глазах. Вот об этом писать я не могу. В моих волосах за один день появилась целая седая прядка. Но мне кажется,

что после войны замуж я выйду, и дети у меня будут, и мужа я буду любить. Но только уж не так. Мамочка, его не забыть никогда мне! С ним вместе ушла моя беззаботная юность. Разрешенным мне отпуском я не воспользовалась, потому что в мирной обстановке тяжелее мне будет исцелиться от самого большого горя, какое до сих пор я испытала. Здесь кругом товарищи, которые знают, как надо мстить врагу за смерть любимых. Я им помогаю. Здесь мне легче перенести несбывшуюся мою мечту. Мне бы только хотелось прижаться к тебе, дорогая моя мама, и разочек выплакаться на твоей груди.

Крепко, крепко, много раз целую и глаза, и щеки твои, и рученьки. А ты сама от меня поцелуй Васю, Маечку и Петю. Любящая тебя дочь старший сержант Александра Степанова».

1944

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

Первая глава

Валя и Зина стояли около здания райкома, с ужасом смотрели на отступавших. Второй день народ непрерывно уходил из осажденного города. Но такого страшного положения, как в последние часы, девушки раньше в мыслях себе не сумели представить. На их ответственности находились комсомольские билеты, карточки, различные протоколы, решения, важные для дальнейшей работы комсомола. Когда фашисты завладели ближайшими подступами к городу, обком комсомола поручил Вале и Зине уничтожить ряд документов, а некоторые сохранить и доставить на новое место.

Это поручение они выполнили. Теперь обе не знали, куда им идти.

Валя и Зина двинулись вслед за уходящими. Сумерки быстро сгущались в непогодливый вечер. Начал опять падать крупный снег. Из города, сзади, зарево сильного пожара освещало вязкую дорогу. А спереди надвигалась мокрая, холодная тьма. В эту зыбкую от падающего снега темноту двигались, уходили черные тени людей. Оставались престарелые. Спотыкались и падали дети. С мольбой, с проклятиями, с рыданьем поднимали их матери. Люди шли по дороге, и по обочинам ее, и совсем без дороги, прокладывая путаные тропки по рыхлому снегу, смешанному с землей. Зина забыла надеть калоши. В открытых туфлях на высоких каблуках ей было трудно идти. Она сняла туфли, засунула их во внутренний карман своей коротенькой ватной жакетки, пошла в одних чулках. У Вали ботики были худые, в них набивался снег. Огрузнели ноги. Валя схватила Зинину руку. Обе боялись оторваться друг от друга, шли все время, крепко сцепивши руку с рукой. Снег перестал падать. Обозначалось чуть посветлевшее небо. Облака полегчали. И меж них, над

землей, повисли осветительные неприятельские ракеты. А вслед за ракетой низко-низко спустился над идущими по дороге и бездорожью неприятельский самолет. Над самой головой — каждому казалось, что именно над его головой — затрещал пулемет. Горячий свинец падал в толпу, ранил и убивал. Кто полег живой, лицом прямо в грязь дороги, кто пополз, кто побежал, кто распластался, сраженный насмерть. Руки девушек расцепились сами собой. Обе кинулись плашмя на землю и лежали, выжидая, когда смолкнет пулемет. Валя лежала долго. Ей казалось, что бесконечно. Но все же конец пришел. Для живых — спасительный конец. Сладостное ощущение уцелевшей жизни. Для мертвых — окончательное успокоение в небытии. Фашистские летчики совершили злое дело и скрылись. Начался мутный, скупой, унылый рассвет. Валя поднялась со студеной и грязной земли. Дико озираясь вокруг, она позвала голосом упавшим, безнадежным:

— Зина!

Лицо Вали было залито слезами. Она не чувствовала их, хотя бессознательно водила по лицу руками в мокрых и грязных перчатках, вытирая эти слезы. Она перевела стесненное дыханье, крикнула настойчивей, громче:

— Зина! — и оглянулась вокруг.

Впереди, по дороге, в одиночку и реденькими кучками еще двигались люди. Около Вали, у самого тракта, стояла брошенная тачка с хорошо упакованными, тщательно привязанными вещами. Поодаль, высоко вздымая ребра, подыхала упавшая лошадь в неснятом хомуте. Люди лежали там и тут: мертвые, навеки замолкшие, и стонущие живые.

— Зина! — в третий раз, уже с отчаянием, воскликнула Валя и увидела подругу. Она лежала у придорожного куста, силилась приподняться. Валя подбежала к ней:— Зиночка... Зина, тебя ранили? Да? Зина!

Превозмогая боль, Зина прерывисто ответила:

— Не знаю... нет... кажется, я сломала ногу. Очень больно... ни встать, ни повернуться...

Она застонала, опять вытянулась на земле, лицом — в скрещенные руки.

Валя наклонилась над ней, осторожно взяла ее за плечи.

— Что же делать? Я не могу тебя бросить... Может быть, я донесу тебя на спине до деревни. Вон Лисичкино уже виднеется... Зина, дай попробую тебя поднять!

— Подожди... Ох, не могу, не могу. Иди одна, кто-нибудь подберет...

— А если — фашисты?

— Нет, нет... Убей меня, Валя!

— Ну тебя! Говорит не знай чего! Вот я встала на коленки, уцепись мне за шею руками... Ну, терпи, терпи... Держись.

Сначала Вале тяжело показалось тащить на спине худенькую, легкую Зину. Сразу не сумели обе приноровиться: одна нести, другая держаться так, чтобы не душить руками Валину шею. Не Валя, а Зина первая попросила передышки. У ближнего леса Валя осторожно положила Зину на землю и, тяжело дыша, присела около нее.

Вдруг она увидела по дороге идет войско. Рота, больше ли, может быть, целый полк, — Валя не знала, не рассмотрела, не сообразила. Много ли, мало ли бойцов, но — это войско, Красная Армия. Идут бойцы твердо и в полном порядке, не подвластные панике, не подвластные ужасу неприятельского вторжения. Значит, существует армия! Живет Советская страна! Валя кинулась обратно, к дороге.

Вторая глава

В сумерки старуха Захаровна оделась и открытым коридорчиком прошла на высокое крыльцо. Она долго всматривалась вдаль по дороге. Не было видно желанного гостя. Захаровна тихонько вздохнула и опустилась на верхнюю ступеньку. Ей не хотелось возвращаться в пустую без мужа и детей избу. Недавно еще любила она часы временного одиночества в своем доме, в родном гнезде. Ей нравилось подумать в тишине, вспомнить прошлое над раскрытым старинным сундуком. Неторопливые мирные мысли тянулись одна за другой.

Вот выцветшая, когда-то ярко-синяя лента. Еще девушкой Захаровна была, в косу ее вплетала. Ох, и косища хороша у нее на спине тогда покоилась! Теперь таких волос, густых и длинных, не видать что-то. Да нынче не то что девушки, а и замужние ходят стриженые. Если отрастит какая девчонка длинные волосы, расплетет на две тощенькие косенки по плечам, распушит их для видимости, но разве это косы? Что же, меняются времена! Иные песни, иная повадка! Обе дочки у Захаровны стрижены, на мужской лад причесаны. Отвергли сборчатые длинные юбки, какие Захаровна смолоду носила. Отвергли так же решительно, как сама Захаровна когда-то мамушкин сарафан. Тут же в сундуке куценькая, узенькая Валькина юбка, кофточка без ворота, без рукавов. Одежей тоже называют!

Пол-одежи, четверть одежки... Ну, опять не ее, не старухино дело. Дальше им жить, а родителям только доживать. Теперь жизнь и устройство жизни новое. Делай, как совесть велит, иди, куда душа тянет. Только на распутство нет моего благословения. Да Валя не таковская! От разумных отца-матери.

И со снохой также всегда с добром договаривались старики. Оттого дети к ним с любовью, с открытыми мыслями. Валенька и газетку объяснит понятными словами, из книжки прочитает доступное темной, неграмотной материнской голове. Конечно, о детях всегда забота гложет сердце. Как пошел Вале двадцатый год, не выдержала, спросила ее:

— Валенька, двадцатый тебе надвинулся, замуж бы пора. Нет ли кого на примете?

Весело да звонко засмеялась Валя.

— Как найду жениха, сама к вам приведу. Пока не до мужа мне.

Да, о многом вспоминала Захаровна, перекладывая добро в сундуке. Вот и сарафан, сшитый еще матерью Захаровны, и давние пестрядинные мужские штаны. Не носит их Петрович и теперь, в старости. Новехонькие, ни разу не надеванные. Сгодятся на смертный час, хотя бы под испод.

От вещей, давно и бережно хранимых, от вызываемых ими видений былого она и всплакнет и усмехнется молодо и нежно. Ее жизнь проходит перед мысленными очами, как родная полноводная река, на берегах которой родилась Захаровна.

Много всякого бывало! Было детей девять человек, в живых только четверо осталось. Да и то — четвертый жив ли, нет ли, еще погадать надо. С первого призыва из Красной Армии вернулся, женился да скоро пошел воевать с этими... как их? Не с этими белыми, с какими отец воевал, а с новыми: «Белуфиннами». Тогда остался жив и невредим, а теперь два раза поранен. Мертвый ли, безрукий ли, но живой — как узнаешь? Письма не приходят. Немцы перепутали, позакрывали все пути, запутляли почту, не жди скоро дорогого письма! Детей у сына Федора не вывелось. Невестка, не то гордая, не то нелюбящая, все в стороне живет, а сейчас: надолго, может и навовсе, к своим родителям жить ушла. Старшая дочка, Маня, как и младшая Валя, тоже не дома живет. В соседнем селе работает, а муж у ней без вести пропал. Внучонок четырехлетний, Юрочка, больше с бабушкой живет, с Захаровной, чем с матерью. Сейчас гостит у матери. Хорошо ль

ему там? Не обижен ли? Мане некогда за ним следить. Четвертый сынок, Витя, подросток еще, в третьем классе учится. Имена у младших тоже новомодные, хоть поп крестил, а на нынешнюю моду выбирал. Не Ваня, не Петя, не Дуня, а Валя, Витя, внук — Юрочка. Полное имя Валино долго Захаровна училась выговаривать. А теперь умеет правильно сказать полностью — Валентина. Эх, Валентина! Из-за тебя не сидит сегодня мать спокойно в тепле над сундуком, а зябнет на крыльце, вглядываясь дальнозоркими глазами в лесок над деревней. Не появится ли на опушке родная доченька. Надо бы появиться! Уж мочи не хватает тревогу от мужа и от соседей скрывать. Рыщет враг поблизости. Смутный слух прошел, что Валин город занял нечистый! Захаровне известно, что Валя фашистов там ждать не останется. Ну, а всякая может прихлопнуть беда!

Долго сидела старая мать, в ожидании издрогла вся. Совсем стемнело. Сынишка Витя с конного двора прибежал. Конюху-отцу помогает. Не годится Петрович на земледельческую работу, а в колхозной конюшне исправно служит уже пятый год. Две премии заработал и много благодарностей от товарищей. Там и ночует, никакой смене, ни одному сторожу не доверяет. Отговаривается от отдыха старой пословицей:

— Свой глаз — алмаз, чужой — стеклышко.

Сегодня пришел домой в бане помыться. Завтра старинный праздник, смоленский. Захаровна в канун жарко натопила баню. Дочку поджидала, для нее пару побольше нагнала. Помылся старик с Витей вместе, поужинали, опять ушли к лошадям. Старухе не спалось. Она и в баню не пошла от огорчения. Устало старое сердце от тоскливой тревоги. Порой совсем замирало, вот-вот вовсе остановится. То вдруг начинало стучать часто, как у молодой после быстрого бега или пляса. Полежала Захаровна на своей кровати, нет покоя, изворочалась вся. С досады поднялась, снова зажгла свет, включила радио. В последних известиях не разобралась, даже не поняла, занял враг Валин город или нет. Вот и проиграла музыка «Вставай, проклятьем заклейменный». Нечего больше ждать. Полночь глухая. Как девушка лесом пойдет? Даже если с подружкой, так и двоим страшно. Особенно в нынешние дни лютой напасти. Захаровна вслух сердито проворчала сама на себя: «Уторкивайся, старая дура, спать. Нечего мотаться!» Нежданно — в ставню осторожный, вкрадчивый стук. Не Валюшкин. Валя, когда ночью в ставню загромыхает, всегда всех соседей перебудит. Сколько раз сердились.

Вышла Захаровна в сени, засов не вынула, через дверь удивленно и недовольно спросила:

— Кто? Чего кому от нас за полночь надо?

А голос Валин ответил, хоть и непривычно притаенный:

— Скорей открывай, мама.

С воли вошла, лицо полыхало румянцем, словно веселая, а как посидела, поужинала, задумалась, разговор оборвала. Щеки еще рдели от студеного ветра, но сквозь румянец бледность кое-где проступала. Ясно обозначились темные кольца вокруг запавших и утомленных глаз. Сильно похудела дочь. Вроде выше ростом стала. Длинные черные ресницы в разговоре все опускала. От них ложилась на юные щеки кроткая, печальная тень. Этот опущенный взор будил в материнском сердце тоску. Выпытываний Валя сильно не любит, не терпит расспросов о себе! Сама все без утайки с подробностями, о себе выложит, а до этого расспрашивать — мать не смей. А как же не спросить, если совсем вся другая сегодня пришла, на себя не похожая? Иной разговор, вовсе иной! То, бывало, торопится обо всем на свете рассказать. Прямо словами давится. А нынче говорит мало. Ни о чем и ни о ком не расспросила. Ни отца, ни братьев, ни старшую сестру с племянником в беседе даже не вспомянула.

Старуха недовольно откашлялась, спросила сдержанно:

— Что-то ты сегодня какая? Вроде не в себе, а?

Валя не вспылила и не закричала: «Что за допрос?» Ответила тихо и ласково:

— Устала я, мамушка. Снегу много в лесу, темнота, тропинки замело. Кружила, кружила вокруг деревьев, измучилась.

— Так ложись в постелю скорей. Чего томишь себя сидючи?

Валя отозвалась не сразу, сказала опять очень тихо:

— Утром мне надо уйти пораньше, чтоб меня люди не видели.

Захаровна рассердилась, хотела было прикрикнуть на нее: «Какой грех у тебя завелся, что людей стыдишься?», да взглянула Вале прямо в лицо, встретила горячий, полный доверчивой дочерней нежности взгляд и осеклась. На глазах выступили слезы. Валя подошла, опустилась рядом с ней на скамью, обвила за пояс руками, прильнула лицом к высохшей материнской груди. Захаровна наклонилась, поцеловала дочь в голову, в щеку. Мгновение посидели в тесном объятии. Валя высвободилась не обидно, не спеша, поправила свои волосы и спросила:

— Баня, наверно, у нас топилась под праздник? Пойдем, мамушка, помоемся.

— Что ты, доченька! Баня-то не выстыла, да ведь час глухой, заполночный.

Валя усмехнулась коротко, но светло. Будто фонарик потайной зажегся на минутку в ее больших серых глазах.

— А нам с тобой чем страшен этот час? Мы просвещенные, ни домовых, ни ведьмы-оборотня не боимся. Правда?

Мать отозвалась смущенно:

— Ну что ж, хоть и не боимся, а болтать про черное до рассвета не годится. Я век прожила по старой побаске, на вашу погудку объяснять не умею. Ну, коль пойдем. Материна молитва тебя от всякой нечисти ублюдет.

— У меня, маманя, своя молитва, верней твоих. Ну пошли! Дай мне белье мое, что у тебя сохранилось...

«Маманей» и «мамушкой» дочь называла Захаровну лишь в раннем детстве. И вдруг теперь вспомнила. Ой, не перед радостью это, доченька дорогая!..

Мать и дочь мылись недолго. Спать Валя запросилась в постель к матери. Прижалась к ней под бочок и быстро заснула. Подремав около дочери часа полтора, Захаровна осторожно поднялась. С вечера у нее поставлено было к празднику тесто. Надо успеть печку истопить, лепешек дочери на дорогу испечь. Еще затемно уйти из деревни хочет. Настойчиво об этом, уже засыпая, три раза повторила, просила побудить, если не проснется сама. Только что затопила Захаровна печку, в избу вошел председатель колхоза. Поздоровался, поглядел пристально и сказал:

— Иди-ка, Захаровна, матушка, коров доить. Доярка Домна в сильном жару лежит, бредит, без памяти.

Захаровна смутилась. Никогда, ни единого раза ни от одной работы в колхозе не отказывалась. Куда бригадир ни пошлет — в плуг ли, в борону, в коровник, — отказа у нее не было. Не знала сейчас, что и сказать председателю. Очень хотелось дочку через лес проводить. По льду через речку ей уже светло будет идти, а в лесу темень; еще ночная глухота в ранний зимний рассветный час. Вдруг Валю точно кто в бок толкнул. Разом поднялась, села на кровати, закрываясь одеялом. Попросила сама:

— Дядя Никанор, отпустите маму проводить меня до реки. Не знаю, скоро ли еще мы с мамой увидимся, у меня работы много...

Никанор недовольно крякнул, но поспешно согласился:

— Кого-кого, а уж Захаровну грех по дочерней просьне не освободить. Она в колхозе хорошо работает, и мы

к ней с уваженьем. Пусть проводит. Пойду Митяхину Степаниду побужу. Бывайте благополучны, живы здоровы. Пока, до свиданьица.

Подал обеим на прощанье руку и ушел. Валю удивило, что не расспросил ее Никанор ни о боях в городе, ни о ней самой. У двери председатель еще раз оглянулся, бросил снова на Валю пристальный, но согретый сердечным дружелюбием взгляд.

«Неужели он что-нибудь слышал? От кого же? Надо, чтобы поменьше людей знало. Но маме обязательно надо сказать», — тревожно подумала Валя.

Когда шли они с матерью лесом, в предрассветном зимнем сумраке, обе разговаривали спокойно. Обо всем, что в голову приходило. Дочь просила передать приветы родне и колхозным друзьям. Но на опушке леса Валя неожиданно резко оборвала этот разговор:

— Спешить надо. Я запаздываю, иди побыстрей.

До реки двигались молча и очень быстро.

— Мама! — На высоком снежном берегу Валя поцеловала мать долгим поцелуем, круто отвернулась, торопливо начала спускаться на лед.

Запушенная падающим мелким снежком Захаровна стояла неподвижно на береговой высоте, как изваяние.

Мама! — донеслось к ней снизу, и Валя взбежала обратно наверх.

Девушка обвила мать за шею руками, притянула ее лицо близко к своему.

— Мама, — выговорила она взволнованно, прерывисто, — я ухожу в леса, к партизанам. Может быть, мне очень трудно будет, и голодно, и холодно, и опасно до смерти. Но я все равно пойду. А ты не скорби обо мне, а порадуйся, что на честное дело иду.

Захаровна испугалась, но еще больше смутилась, спросила виноватым голосом:

— Доченька, а кто же это партизаны? Ты на меня не серчай. Я темная, малограмотная. Ты, бывало, все мне разъясняла. Что же они делают? Чем занимаются?

Валя печально улыбнулась, еще раз припала к дорогому материнскому лицу, сказала сквозь сдержанные слезы:

— Ну после, после узнаешь. Честные люди. К нечестным я бы не пошла. Ты друг мне, родная моя мама, но больше о них я тебе ничего не расскажу. И дай ты мне крепкое обещание зря никого из чужих об этом не расспрашивать. У отца и у Вити спроси, они должны знать. Но Вите не говори, что я с партизанами. Мальчик он еще,

похвалится ненароком... Ну, прощай! Задержалась я, все никак оторваться от тебя не могу. Будь здорова, мама. Да! Если... если выйдет такое дело... мой труп к вам принесут или тебя к моему мертвому телу враги приведут... Так вот тогда... Мама, не признавай меня тогда за дочь! Прошу тебя, мама, не загуби других из-за меня, не лиши меня светлой памяти среди товарищей, отрекись тогда от меня. Слышишь, мама? Исполни этот наказ мой, не предай своей дочери. Слышишь? Исполнишь?

Губы задрожали у Захаровны. Сразу она не смогла выговорить ни слова, затрепетала всем телом, и, наконец, через силу произнесла:

— Лучше бы ты мне этого не говорила, дочка...

По старым, сморщенным щекам ее, по выцветшим губам заструились горькие тихие слезы. И сквозь эти слезы мать шептала:

— Дочка, доченька, все сделаю, все исполню... Но лучше не уходи, вернись со мной. Сердечушко ты мое на части рвешь. Выживу ли я, доченька? И мою жизнь ты в могилу тянешь.

— Живи, мама. Живи, родимая, я обязательно вернусь. Как же я буду без тебя? Ожидай меня, мама, не умирай!

Они плакали на плече друг у друга, целовались, крепко прижимались лицом к лицу, смешивая свои слезы. Валя схватила материнские руки, припала к ним на мгновение, затем повернулась и сбежала вниз. Скоро на речном льду четко вырисовалась ее темная легкая фигура. Девушка уходила в ту сторону, откуда надвигался враг. Она так и скрылась из глаз матери, ни разу на нее не оглянувшись.

Совсем не стало видно Вали, а мать еще долго смотрела ей вслед. Лицо ее было скорбно и уже бесслезно, Она подумала: «Побоялась еще разок глянуть на меня, разжалобиться над родимой матушкой, заробеть поопасалась. Доченька, ягодка моя, пичуженька! Неужто боле не свидимся? Половину моих остатних дней ты, доченька, с собой унесла. Но не бойся, не подведу, не выдам тебя врагу ни по скорби, ни по жалости. Выдюжу, все выдюжу.

Захаровна медленно повернулась спиной к безмолвной, закованной в лед, мертвой сейчас реке. Шаги старухи были тверды, и на ходу она держалась прямо.

Третья глава

Колхозный скот угоняли на рассвете. С ним отправлялись муж Захаровны и младший сын Витя. Старуха оставалась. Не надо ей было ни собственного жилья, ни завет-

ного сундука. Она ждала, не пригодится ли родной кров и материнская помощь Вале. Муж, с которым немало они пошептались тайком, понимал ее тоску, ее ожидание. Только потому скрепя сердце согласился оставить ее одну перед лицом беды.

Строговы почти не спали ночь. Витя с отцом прирезали половину кур, гусей, уток, закололи поросенка. Захаровна обделывала птицу, чтоб накормить отъезжающих и положить им снедь на дорогу. В предутренний час, хлопоча около печи, она вдруг остро вспомнила прощание с Валей. И, опустив голову на шесток, беззвучно заплакала. Старик только было прилег на кровать. Поглядев на жену, он прокашлялся, встал и подошел к ней.

— Дарья, Дарь... — позвал он тихо, — я ведь верю, что все одно наши победят. Возвернется прежнее наше советское житье.

Жена, не поднимая головы, ответила глухо:

— Кабы я, Петрович, инако мыслила, взяла бы вожжи да под сараем удавилась.

Она тяжело поднялась, вздохнула и пошла к шкафчику за посудой.

Позавтракали в скорбном молчании, но ели досыта. В их крестьянском быту нельзя было позволять печалям изнурять себя. Еще отец Захаровны говаривал:

— Лошадь не покорми, не повезет. Мужик с голодным брюхом пашни не подымет.

В любой час их трудового дня требовалась телесная сила, выносливость. Они потребляли хлеб насущный для того, чтобы силы были взрастить его.

Настал час расставанья. Захаровна сидела на скамье, опустив голову, скрестив на коленях жилистые руки. Петрович подошел к ней, раздумчиво погладил свой седой затылок, сказал дрогнувшим голосом:

— Ну, прощаться пора, Дарья.

Захаровна поднялась, упала ему в ноги в земном поклоне. Лицо ее было сурово, спокойно.

— Прости, Христа ради, коли когда чем обидела...

— Ну что... — Петрович, часто моргая, передернув седоусым ртом, поднял ее за плечи. — Плохим словом друг дружку, почитай, ни раз не обозвали, как поженились. А не то чтобы... как другие. Спасибо, жена... за твой карактер.

Они обнялись. Поглаживая ее спину, согнутую трудом и горем, старик застенчиво всхлипнул и сердито закашлялся. На грудь матери припал Витя. Губы мальчика тряслись, он плакал. Затряслись и худые плечи Захаровны.

Она простонала:

— Меньшенький мой... последний.

Сердитым возгласом, подавляя свою душевную боль, крикнул Петрович:

— Ну, чего завела! Коли так, пусть при твоей юбке остастся. Оставайся, Витька. Ну, ну... это я в сердцах, не легко ведь и мне.

Через два дня Захаровна счищала снег с крылечка. К ней подошла горбатая старая девка Настасья, сестра Никанора, председателя колхоза.

— И на улке порядок блюдешь, неугомонная. Здравствуй-ко!

— Да ведь надо... Здравствуй, Настасьюшка. Снегу-то, вишь, понанесло.

— Ох, надо, только руки ни до чего стали неприлежные. А ты, как и встарь у тебя, хоть с улицы глянь, хоть внутре, изба в чистоте, в лепоте.

Оглядевшись вокруг, Настасья вдруг нарочито громко попросила:

— Выручай, сделай милость. Об гвоздь юбку остатнюю располосовала, а ниточки зашить нету.

За плетнем на соседнем дворе послышался злой бабий смешок. Захаровна удивленно обернулась. Опершись на плетень, стояла дородная, румяная Ульяна, соседка.

— То-то, — ниточки, — пробасила она. — Покрепче сшивайтесь, ответ вместе вам держать. Знаю я, за какой она к тебе ниточкой.

— Это какой же ответ? Перед кем виноваты мы? — строго спросила Захаровна.

— Да уж начальство найдется! И то диви, третий день ни в тех ни в сех наше селенье. Ни по-советскому, ни по-немецкому.

— А тебе, что же, с ими снюхаться желательно? Тьфу! Пойдем, Настасья, в избу от греха.

Вслед им прозвучала наглая брань. Войдя в избу, Захаровна совсем без сил опустилась на кровать. Губы у нее посинели. Дрожащими руками она схватилась за грудь.

— Чисто голубь, затрепыхалось сердечушко. Не чаяла и в избу добраться. Аж пот прошиб...

— Изругалась-то как, батюшки! Иной мужик так не скажет, посовестится!

— Не в ругани, не в ругани — самый стыд. А... врагов ждет, на их уповает. Подумай-ка, милая! Своя, русская!

— А я ж про што? Давно мы, кое-что, приметили, что у ней к советской власти на устах медок, а в делах — ядок.

С чего ж я про нитки-то? Будто только по нужде зашла. А она сдогадалась, окаянная, что я с упреждением.

Глаза старухи ожили в гневной надежде. Сразу помолодело лицо. Она встала и вздохнула вольней. Настасья посмотрела на нее с уважением, с доверием, сказала негромко.

— Нам с тобой, бабушка Дарья, спорить не придется. В одних мыслях. Я не Ульяна. Как уезжал Никанор, зайти к тебе наказывал. Упреди, говорит, чтоб Валентина не наведывалась больше, не прихлопнули бы ее тут. Говорок пошел: зачем ночью прибегала, куда из дому подалась. Подглядел, видать, кто-то, как она приходила. Да, чать, та же Ульяна.

Захаровна вздохнула и горестно развела руками.

— Как же я упрежу? Сама не знаю, где она и чего с ней. Может уже...

Она не договорила и поникла головой. Потом выговорила с трудом:

— А этим, злыдням, постарайся как-нибудь довести до ушей слушок, что я отрицаюся. Не была, мол, Валя, да и все! Мать, скажи, давно до нее не касательная. Сохранить себя обязалась я.

Наутро появились немцы.

Захаровна, как всегда, поднялась рано. Чуть помутнело от рассвета ночное, по-зимнему низкое, пухлое от снежных облаков небо. Ни во дворе, ни в избе делать было нечего. Зияли раскрытые двери пустого хлевушка для коровы. Молчал курятник. Даже собака Жучка убежала вслед за подводой Петровича. Хозяйка затопила печку. Чего варить, кого кормить? И вдруг подумалось Захаровне: «А может, Валя к матушке родимой да и забежит... Надо пищу наготове держать, надо! Не сама дочка, дак случится вестник от нее...»

Старуха принесла из тайничка ощипанную курицу, вымыла, положила ее в чугунок и поставила в печку варить. Двигалась она не спеша, чтобы подольше в работе были руки. За работой — сердцу легче. Глядя на огонь в печи, она задумалась. Не сразу дошел до нее с улицы шум. Заслышав его, подошла к окну, вгляделась сквозь проталинцы замерзшего стекла, но увидеть ничего не успела. Сзади, за ее спиной, наотмашь распахнулась входная дверь.

Захаровна повернулась, сердце у нее застучало часто-часто и вдруг словно окаменело. Ни одежды иной, чем у нашего войска, не разглядела она, ни слова иноземного

не сказали вошедшие, а почувствовала сразу: чужаки, неприятели.

Их было двое. Один прошел за перегородку, в чистую горницу, второй остался на кухонной половине, где русская печь. Озираясь вокруг, оба и на хозяйку взглянули. Взгляд их был так равнодушен, будто перед ними не человек, а пустое место.

Захаровна высоко подняла побледневшее лицо. Горько вздрогнули ее губы, но старуха не заплакала. Медленно села на скамью у окна, поджала обе руки под грудью и стала следить недобрым взглядом за каждым движением вошедших.

Те деловито походили по всей избе, заглянули на печку, перемолвились о чем-то на своем языке. Потом один сорвал с кровати одеяло, забрал подушки и ушел. Второй вернулся к печке, внимательно поглядел в ее жерло, в чугунок, постоял около огня и повернулся лицом к старухе. Она спокойно встретила взгляд его соловых глаз с белесыми ресницами. Он показал ей пальцем на табуретку, стоявшую около скамьи. Захаровна поняла: велит подать, чтобы ему сесть около печки. Старуха с места не сдвинулась, рук не разжала и глаз не опустила. Фашист выругался по-своему, злобно плюнул в сторону Захаровны, сам взял табурет и сел около печки, лицом к огню. Так они сидели довольно долго. Он — облокотившись на шесток, повернувшись к Захаровне спиной. Она — сзади него на скамье, выпрямив согбенную старую спину, со скрещенными на груди руками, с горящими глазами, устремленными в его затылок.

Потом гитлеровец встал, огляделся вокруг, снял с гвоздя чистый рушник, прихватил им куриную ногу, торчавшую из чугуна, и вытащил курицу. Он обернул ее полотенцем и ушел, не закрыв за собой двери.

Захаровна не успела подняться, чтоб закрыть ее, когда холод ударил по зябким старым ногам. В избу вбежал третий чужеземец, маленький, вертлявый, черномазый. Должно быть, ждал в сенях или во дворе, так быстро он появился перед старухой. Руками в больших русских рукавицах захватил чугунок с бульоном, вышел, также оставив дверь открытой.

Закрывая ее, Захаровна дрожала не от страха, а от нестерпимой обиды. Она подумала: «Господи, как же это? На улке я аль в своей избе, под своей крышей?»

И вдруг поняла: да, на улице, на разбойной улице. Не только ограбить, но и голову могут снять. И так себе, ни за что ни про что, за здорово живешь! Ты — пустое

место. Не приметят — так не тронут. Но всякий час дрожи и помни: волосинки на голове нет собственной твоей. Если этим чужакам понадобится, все, до единого волоска, выдерут.

Оккупанты не остались в колхозе «Завет Ильича». Они ограбили дворы и дома и отбыли в недальнюю деревню. Часу не прошло, как уехали они из колхоза, вбежала в избу Захаровны толстая Ульяна, соседка. В дверях, грохнувшись плашмя на порог, заголосила она воющим басом:

— Ни в уме не было, ни во снах не снилось экого лиха, злосчастия! Да отколь же навеяло такую напасть?.. Да и как же избудем, да и где заступу найдем?..

Захаровна от неожиданности даже перекрестилась.

— Что ты, аль не совсем в уме сделалась? Встань, ну-ка, подымись, чего ты?

— Не вста-ану, не встану! Мордой своей бесстыжей землю боронить буду, дурью свою башку об земь разобью!

Захаровна подошла к ней, склонилась, силясь приподнять своими трясущимися руками плечи дородной Ульяны. Баба не переставала выть и стонать.

Дарья рассердилась:

— Да уймешься ты или нет? Встань! Дай хоть дверь притворить. И то уж выстудили избу желанные твои начальники. Встань, говорю!

Ульяна тяжело поднялась, сама плотно притворила дверь и повернула к Захаровне залитое слезами лицо. Та всплеснула руками.

— Чтой-то с глазом-то у тебя? И щека левая под им — один синяк! Где тебя угораздило? Обо што ушиблась?

Всхлипывая медленней, тише, Ульяна горестно воскликнула:

— Ушиблась! Кабы сама, в сердце не отдавался бы ушиб такой обидой! Немец под глаз кулачищем саданул! Я вся-то избитая... Пороли, пороли меня!

Она снова завыла басисто и глухо.

— А стыду, стыду... не избыть! Заголили юбку да высекли.

Ульяна, с ее трясущимися толстыми плечами, с растянутым в плаче большим ртом, была не только жалостна, но и смешна. Захаровна не засмеялась. Скорбно изогнулись ее обесцвеченные старостью брови. Секли советскую колхозницу, ее односельчанку, свою, русскую, секли чужаки, неприятели!

— Не плачь, Уляша. Иди сюда, к рукомойнику, умойся. Накось чистую утирку.

Захаровна достала из сундука чистое полотенце, подала его соседке. Ульяна послушно подошла к висячему жестяному умывальнику, умылась, села на скамью под окном и принялась рассказывать:

— Позабирали в избе и ложку, и поварешку, и шубу с гвоздя, из-под кровати овечью шерсть. А я все кланялась, терпела, привечала. Думала, за покорность да за ласку возвернут. Ну да, скажи, грех какой случился недуманный! В разговоре-то с ими, в ласковом, я и коснись рукой своей до плеча ихнего начальника. Вроде как бы погладила. А он... ка-ак размахнется да мне под глаз кулаком! Загавкал чего-то по-своему. Не знаю слов ихних, а поняла: не лезь, мол, поганая, не касайся ручищей своей. Я было говорком-говорком объяснять стала: с уважением, дескать, я, с лаской. И опять эдак руку протянула к начальнику. Он чего-то еще злей бормотнул, повалили меня его подручные на скамью, поприжали руки, ноги, заголили юбку, да и отполосовали. Моим же кнутом! Хороший ременный кнут сохранился в кладовушке у меня. Как же мне теперь людям в глаза глядеть после сраму такого? Прости ты меня, Христа ради, за вчерашнюю речь глупую...

— Ладно, ладно, — перебила ее Захаровна, — не в тех словах суть. Ты лучше прямо скажи, какой твой грех? Али докладывала чего немцам? Не навредила ты своим?

— Бабушка Дарья, не та собака страшна, что допрежь лает... Не согрешила ни наветом, ни доносом я. Да и когда бы я успела?

— Э, Ульяна, на защиту русского человека теперь много надо времени, а предать его — один раз моргнуть...

— Никак я теперь на это дело не буду согласная, никак! Раньше слушала, усмехалася: каки, мол, там еще фашисты? Люди как люди, да еще с образованием, заграничные, вежливые. А теперь я знаю до тонкости, почему их фашистами зовут.

— Объясняли про это.

— Объясняли, да не в точности! Они «ваши» не выговаривают. Язык у их на то неприспособленный. Вместо «ваши» у их выходит «фаши». До «вашего» они — охотники. Себе все забирают, с того и зовут их «фашистами». Да ты подумай: обобрали меня всю дочиста, да меня же и высекли. С вилами встречу их теперь, как объявятся!

— И дурной у тебя язык. Мелет прежде, чем обдумать, чего сказать. Куда ты с вилами спроть орудия?..

— Не завсегда они с орудием... И не все толпой ходят. Уж я случай найду для отместки!

— Не болтай ты лишних речей. Прикончат за такие

слова, вот вся твоя и отместка. Иди-ка лучше отлежись. Тело-то, чать болит?

— Болит. Кожа на спине вся как есть иссечена, рубашка прилипает, шелохнуться больно.

— Пойдем к тебе, я примочку с собой захвачу. Есть у меня примочка целительная. А потом вернусь и сама полежу. Меня и не били, а я, как избитая.

Четвертая глава

Сильная крутила метель. Казалось, снег вовсе не падал на землю, а стоял на пути серой пляшущей стеной. Эта живая сумасшедшая стена визжала, выла и шуршала с тихим шипеньем, будто предостерегая: ш-ш-ш... За ней слышался то разбойный посвист, то стон, то угрожающий призыв: рус, рус. Раза два такой окрик послышался девушкам, когда они ощупью пошли по льду. Чудилась и стрельба глухая в мокром воющем затмении. Но не было ни окриков, ни стрельбы. Нигде даже не маячила фигура часового. Все это лишь мерещилось разведчицам в мареве бурана.

Девушки сами не понимали, как смогли они доползти до города в такую пургу и сколько это заняло времени. Что сейчас: день или вечер. Берег нашли, но заплутались на улицах города. Заборы и дома неожиданно вырастали перед самым лицом. В каждом дворе чудился враг. На углу одной улицы Зина схватила Валю за плечо, в ужасе прошептала:

— Мне кажется, мы в лоб немцу смотрим.

— Иди, иди! Нельзя пугаться, пропадем! — торопливо ответила Валя и совсем уже твердо прибавила: — Мы около вала. Теперь соображай, куда повернуть к твоей старухе.

Не встретив на улицах ни души, подошли девушки к домику Матрены Федотовны.

— Валя, а как же ты потом? Не найдешь!

— Найду. Я эту улицу знаю, все повороты знаю, теперь хоть наощупь найду. Узнать бы только, который час, — тоскливо добавила она. — Вот из-за этого все могу провалить. Ну, рассуждать нечего. Жди меня у старухи.

— Валя, Валя, постой! Вдруг не увидимся.

— Ой, какая ты хныкалка. Иди. Иди, говорю тебе, во двор. Из-за тебя действительно в беду влопаемся.

— Иду, иду, Валя...

— Уходи!

И Валя скрылась за углом.

Для старухи заранее был приготовлен рассказ о том, почему в такую метель появились девушки в городе. По наряду, точно в срок, должен, дескать, Зинин дядя доставить из Лисичкина в город немецкому начальству молоко и молочные продукты. Лошадь не дали, приказали сегодня все доставить на себе. Что поделаешь? Собрались Зинин дядя, еще два таких старика, взяли на подмогу Зину, а также подружку ее из соседнего двора, Полю Новикову, и везли на санках. Вышли до свету, а позднее — вот какая разыгралась погода. Ничего, дошли, продукты сдали, старики собрались в обратный путь, а девушек пожалели, порешили, чтобы в городе они приютились, пока не прекратится буран. Не пустит ли крестнинька их с подружкой, с Полей Новиковой, к себе переночевать.

Все это поспешно, взволнованно изложила Зина старухе, впустившей ее. Крестнинька всплеснула руками.

— Господи-батюшка, как не пустить в этакую напасть, страсти господни! Лиходейка я, что ли? Кот у меня третий день не является, — о нем, о дешевой скотинке, сердце болит с утра; где он от непогоды укроется? А всякая напасть на земле к человеку злей, чем к зверю. Как же человека не жалеть? Садись вот на сундук, садись! Я с тебя валенки-то стащу. Ноги без них скорей в тепле отойдут. Чулки шерстяные, с печки теплые, я тебе дам. Глянь, одежа твоя ледом подернута, вся заскорузла. А подружка твоя где же?

— Она придет. Мы условились: она стариков проводит, из города на дорогу выведет и вернется. Вернется к тому дому, где мы продукты сдавали. Если меня там не будет, значит, я у вас, значит, вы разрешили ночевать. Тогда и она сюда придет. Она дом ваш знает, я ей показывала, когда первый раз к вам приходила.

— Да на воле час не поздний еще. Найдет, коли около моего дома бывала.

— А который теперь час? — испуганно спросила Зина.— На улице как будто еще день, а у вас уже лампа зажжена.

— Да это я белым днем ставни позакрывала. Стеклы-то в окнах все позалепляло и на наличники страсть снегу намело. Думаю, примерзнет, и ставни-то после не закроешь. Вот взяла, да и закрылась, как ночью. Вон, гляди на часы-то. Всего на второй час за полдень перешло.

Старуха накормила Зину обедом, сытным, мясным. Зина долго отказывалась, усиленно предлагала принесенную с собой снедь: хлеб, соленые огурцы и сваренные вкрутую яйца.

— Я не с пустыми руками пришла. Как же можно!

Да и еще вдвоем с подругой. Покушайте нашего, крестнинька! Вам и за ночлег спасибо.

— А я уберегла от вора-немца и баранинки, и говядинки, и свининки. Исхитрилась, вот я какая ловкая! Чаишком тоже сладким тебя побалую. Завалился где-то у меня и сахарок. Я — запасливая! Не отказывайся, не смей отказываться, не порочь хозяйку — осержусь! И не чужая ты мне. Хоть дальняя, да родня, одно родовое фамилие.

Зина подчинилась.

После обеда Матрена Федотовна ставила самовар, легко двигалась по избе, худенькая, ловкая, ласковая.

Большая телесная усталость у Зины сменилась ощущеньем сладостного покоя, блаженного безмолвия. Висячая небольшая семилинейная лампа с эмалированным белым кругом разливала вокруг неяркий свет. На окнах белые старенькие коленкоровые шторки с бледно-голубыми перехватами, пестрая занавеска, закрывающая шесток русской печи, самодельный коврик на сундуке, горшочки с геранью на подоконниках, небольшая икона в начищенной позолоченной ризе в переднем углу, большие подушки в цветных наволочках, разноцветное лоскутное одеяло на кровати — все в избушке дышало древним, до сих пор неведомым Зине уютом, засасывающим, сонным. Голова ее в дремоте сама собой клонилась вниз, слипались глаза. Приятный говорок Матрены Федотовны доносился до нее откуда-то издалека.

Крестнинька подошла к ней, ласково подняла за подбородок.

— Чего томишься, доченька? Ляжь, сосни чуток.

— А Валя... — бессмысленно проговорила Зина и разом встрепенулась, вскинула на старуху испуганный взгляд.

— Какая Валя? Подружка, что ли? Вроде ты не так ее называла. Аль во сне что примстилось?

Зина улыбнулась виновато и насильственно.

— Ну да, приснилось, и даже не помню что... Подружку Полей зовут. Новикова Поля.

— Ну, Новикова или Старикова, все одно придет. Моего двора не минует, коли вы с ней уговорились у меня ночевать. А Валями-то и мужчин кличут. Не женишок ли желанный пригрезился? Должно так, твое дело — девичье! Валентин али еще есть Валерьян, городское имечко, благородное! Лезь-ка ты на печку, поспи маленечко. А я посуду перемою, хлеб на сухари посоваю в печь сушить. Ложись, отдохни, прогрейся еще на печке, встанешь веселая. А то совсем квелая и в плечах еще дрожь. Прибежит подружка, я побужу.

Зина подумала: «Действительно, надо хорошенько отдохнуть, а то собой не владею. Хорошо, что бабушка такая... бесхитростная».

Крестнинька уложила Зину на печи, на мягкой стеганой подстилке. Зина только легла, словно провалилась в небытие. Крепко, камнем заснула.

Старуха прибралась, сладко зевнула, прикрутила в лампе огонь, сняла валенки и сама легла на кровать. Укладываясь поверх одеяла, прикрываясь шубенкой, она подумала:

«А шут ее, саму-то, знает, Зинка ли это? Лет двенадцать не видала. Дитем тогда еще девка была. Глазены-то вроде ее: черные, большие! А все строжее приглядеться надо, отколь и с каким духом девчонка. Господь-батюшка, не допусти до меня лиха, военной беды, напрасные смерти! С мужем в страхе, в покорстве жила, сколько беспокойствия натерпелась. Сам себе он смерть заработал, пассажирский поезд от крушения спас, в герои попал. Ну, а я не герой. Не в кого мне героем-то быть. Отец с матерью оба благополучно прожили, и мне того желается. Достатку, сытости да подоле пожить, вот чего мне только и надо. Чья сила сильней, того и верх, тому и я покорствую. На старости хоть бы всласть пожить, а тут — война, снова здорово! Ну и воюйте... герои! Ох-ха-ха, а за окном-то все лютует вьюга! Сердится нынешняя зима. Ну, дровишек-то у меня позапасено... Все есть, только долгого веку пошли, милостивец-господи!..»

Старуха свернулась под шубой клубочком и сладко заснула.

Зина проснулась первая. Не сразу вспомнила, где она. Села на печке, беспокойно озираясь вокруг. Было душно в жарко натопленной избе. Пахло керосином от привернутого фитиля. С бульканьем в горле всхрапывала на кровати старуха. Голова у Зины была тяжелая. На сердце вдруг налегла тоска. Она вспомнила все, поспешно слезла с печки.

«Сколько времени? Наверно, уже ночь. Вали все нет. Где она?»

Девушка спустилась на пол легко, без шума, но крестнинька сразу проснулась. Несмотря на храп, чуток был ее старческий сон. Зина трепетно спросила:

— Который час? Шести еще нет?

— А ты припусти-ка огню, крестница, — ответила старуха осипшим от сна голосом, — поглядим на часы. Ишь ты... навоняла как лампа-то!

— Бабушка, крестнинька, что же это такое? Четверть седьмого, а ее все нет... Я побегу, побегу за ней.

— Очумела ты, девушка. Куда побежишь в запретный час? Аль своя голова не мила? Умойся, опомнись! Давай чайку попьем. Самовар-то, чать, не вовсе заглох. Я много углей наложила. Еще раздую сейчас...

— Нет, нет, я не могу, — лихорадочно разыскивая свою одежду, металась по избе Зина. — Надо мне идти. Может быть, она стучала, мы уснули, не слышали. Что же это такое? Что же такое?..

— До чего ты без ума сделалась, крестница? Ну, не пришла твоя Поля. Может, еще где заночевала...

— Нет, нет, схватили ее... Схватили!

— Ну и схватили... Завтра отпустят, коли за ней ничего нет. Лишних-то немцам незачем набирать. Не из лесу, чать, она пришла. Свои деревенские, семейные, выручат.

— Не выручат! Ничего вы не понимаете, не выручат!

От страху за подругу, от жалости к Вале Зина совсем потеряла голову. Неверной рукой отыскивая рукав своего пальто, она бессвязно бормотала:

— Пойду... где-нибудь найду. Нельзя, чтоб ее схватили. Спасать надо...

— Да постой ты, полоумная... Кого спасать?

Зина уже кинулась к двери, но со двора в ставню кто-то негромко постучал. Зина остановилась, широко раскрыв глаза, прижав обе руки к сильно бьющемуся сердцу. Крестнинька быстро нагнулась к окну, громко спросила:

— Ктой-то?

За двойными рамами, за ставней женский голос ответил что-то неразборчивое.

— Ну, вот видишь, пришла... А ты наплясалась от страху. Подуй-ка в самовар, я пойду впущу.

— Скорей, крестнинька, скорей, милая! Ох, скорей откройте. Только она ли это?

— Боле некому... У меня подружек нет, да еще эдаких отчаянных. Промеж неприятеля ночью шныряет! Али, может, они ей приятели? — ворчала старуха, выходя в сени.

Возвратилась она с Валей. Протолкнув ее вперед, с дребезжащим смешком кинула Зине:

— На, получай свою Полю! Так, что ль, я тебя называю девушка?

— Так, бабушка. Спасибо, что впустили. Ох, как у вас тепло. А я здорово назяблась!

— Почему опоздала? Седьмой час... Я так боялась.

Валя пристально и строго посмотрела на Зину.

— Только шесть, спешат у вас часы. Несколько минут у ворот потопталась, не сразу калитку в темноте нашла.

Торопливо раздеваясь, она вразумительно говорила Зине:

— А чего тебе особенно было бояться? Ну, переночевала бы я у немцев под охраной. Известно, что мы продукты из деревни доставили. Уж не сразу бы убили, все расспросили бы!

Крестнинька восхищенно закивала головой.

— Так, так, правильная твоя речь. Вот — девушка разумная, не тебе чета, крестница. Она уж тут исплакалась по тебе...

— Да вовсе я не плакала, только беспокоилась... Ведь немцы... Шесть часов.

Валя сдвинула брови, сухо оборвала:

— Ну и кончено. Бабушка, где можно одежду повесить?

— Да вон, рядом с Зининым пальто... Ах, она уж его стащила от печки. За тобой, вишь, собралась, разыскивать.

У Вали совсем потемнело лицо, но она не сказала ни слова. Старуха засуетилась около самовара.

— Сейчас, мигом раздую да еще угольков из чулана принесу. А вы пока полезайте на печку. Крестница моя хорошо там прогрелась. Теперь ваш черед.

— Что это вы меня, как важно? Мне старшие все «ты» еще говорят.

— Ну, ты дак ты... Это я гляжу, что больно разумная да строгая. А с Зиной-то чать, одних лет?

— Годом старше, вот и учу ее уму-разуму, — засмеялась Валя. — А иногда и она меня. Правда, Зина?

Она подошла к подруге, заглянула в ее опечаленное лицо и припала головой к ее плечу.

— Ох, и назяблась я, Зинка! Как проводила стариков, несколько поплутала в городе. Из-за метели. Не знаю, как они доберутся! Ох, не знаю.

На печку Валя не полезла до чаю. Надела предложенную старухой теплую ватную кофту, ходила, согреваясь, по избе, постукивая время от времени валенком об валенок. Вышла и в сени, чтобы сбить снег со своего пальто, болтала со старухой непринужденно и оживленно.

Глядя на нее, оживилась и Зина. Сели пить чай. От ужина Валя отказалась. Сослалась, как и Зина, на принесенные продукты, но и к ним не притронулась. На подробные расспросы крестниньки о семье, о деревне Валя отвечала обстоятельно и охотно.

Но сама старуха болтала все меньше. Незаметно для обеих девушек все чаще пытливо вглядывалась в лицо новой гостьи. Недавнее смятение Зины не выходило у нее из головы. Оно так рознилось от невозмутимого спокойствия Вали, что для житейски опытной старухи было явно с ним несовместимым.

Крестнинька поднялась из-за стола, покрестилась частым и мелким крестом, весело проговорила:

— Допивайте, девушки, чай. Зинушка пусть посуду перемоет, в шкафчик составит. А ты, Поля, не спеша укладывайся. Устала, чать, по городу мотаться? На печке, что ль, обе лягите? Или которая со мной на кровати?

— А может, вы сами на печке, а мы обе на кровати? Как вам лучше?

— Ну-к, что же? Мои кости старые, теплу всегда рады. Кровь-то уж плохо греет, я все больше на печке ночую.

— Ну вот и хорошо. Залезайте-ка на свою печку любезную, спокойной вам ночи. А мы с Зиной и посуду перемоем, и все приберем, и потихоньку уляжемся.

— Вот и спасибо вам, гостьи милые, помогите мне по приборке, словно доченьки или сношеньки. А я, как свекровь-госпожа или матушка желанная, без заботушки завалюся спать.

Валя вздохнула, отозвалась тихим и нежным голосом:

— Желанная матушка позже всех ложится, раньше всех в дому встает.

— А ты же говорила, что без матери выросла? Откуда же знаешь?

Валя, опустив длинные ресницы, ответила печально:

— Своей не вижу, на чужих матерей нагляделась.

— Верно, Полинька, верно! Недаром исстари говорится: нет милее дружка, чем родимая матушка. Дай-ка мне теплую кофту мою, ты вот на, большую шаль накинь. Мне в шали неспособно из сарая дров принесть, в печку накидать, просушить до утра.

— Что же вы днем-то? Как в темноте искать будете?

— С Зиной забеседовалась, забыла. А после обеда — заспалась дотемна. Да мне что темнота, в моем дворишке? Я его, как ладонь свою, знаю. Мигом принесу.

Старуха вышла, погромыхала засовом и хлопнула дверью в сенях. Валя подошла к Зине, тихонько сказала:

— Ничего старушка, только ласкова чересчур. Не люблю я таких! Ты не слишком откровенничала с ней?

— Нет. В другом я прошляпила: за тебя слишком испугалась. Прямо как с ума сошла! Голову бы себе теперь за это оторвала! Навыку мало у меня, Валя.

— Ну, ничего, привыкнешь. Знаешь, в сенях я все ощупала. В случае чего, в полной тьме выход быстро найду. А ты?

— И я найду. Ведь я не в первый раз. И не только наощупь, а днем все разглядела, запомнила.

— А спать мы ляжем не на кровати, а за печкой. Там меж печкой и стенкой узкий закуток, но мы две, вплотную друг к дружке, уляжемся, не шибко толстые. И там же крышка от подпола. Она без кольца. Верно, косарем старуха ее открывает. Как ляжем спать, я ее приоткрою. В случае чего — туда юркнем. Кто не знает — не найдет, а кровать очень близко к двери, прямо в глаза бросается всякому, кто входит. За печкой, особенно в подполе, не сразу обнаружат, одуматься нам время будет. И там, за печкой — скамья с ведрами. Мы ее выдвинем, и она вход за печку прикроет. Ты бабке пока ничего не говори, сначала на кровати уляжемся. А там, среди ночи, переберемся. Услышит, скажем, что жарко натоплено, оттого на пол перебрались. Или еще что-нибудь... придумаю! Чего это так долго она возится во дворе?

— Не упала ли там, в темноте? Шустрая, а ведь старенькая уж.

— Упала, так встанет. А вот не уползла ли куда со двора? Посмотреть бы надо. Подождем еще минут с десяток, потом я выгляну и в сени, и во двор.

Подождали. Зина накинула шаль на голову и вышла в сени. Вернулась она быстро, со встревоженным лицом.

— Слушай, Валя, заперла старуха нас! Я дернула, снаружи звякнул замок.

— Да что ты говоришь! Зачем?

Зине отвечать не пришлось: послышался стук отпираемой двери, шорох в сенях, и в избу вошла крестнинька. В руках она держала большого дымчато-серого, жирного, сейчас жалкого на вид кота.

— Замерз шельмец! Гляньте-ка, шерсть вся поприлипла, обмерзла. И где пропадал? За кошками, видать, гонялся, марту не дождавшись. Блудник окаянный. И в руки не сразу дался, вроде одичал, третий день пропадает. Я с им и позамешкалась. Ну, иди к блюдку своему, лопай, дурак. И не лакает, ишь ты, намерзся как!

— А зачем вы, крестнинька, заперли нас? — спросила Зина.

— Подумала, покуда в сараишке вожусь, не навернулся бы кто в избу, не завел бы расспросы, не напугал бы вас. Святое дело, замок на двери: маленькая собачка, не лает, не кусает, а в дом не пускает. Прийти вроде не-

кому. Немцы ночью боязливые, да еще в экую непогодь! А все опасаешься — лихие дни! Партизанов, слышь, в городе ждут. А я их тоже боюсь.

— Чего же вам партизан бояться, крестнинька? Они же наши, русские!

— Русские-то русские, а вот насчет того, что наши, — ты об этом вслух не говори, крестница! Чтобы после смертный ответ не держать!

— А вы смерти очень боитесь?

— А как же не бояться ее? Стара-стара, а пожить охота! Поглядеть, чем дело кончится, на белый свет еще полюбоваться, когда сердце успокоится. Боюсь я войны, не уважаю! Скорей бы кончилась!.. Дровишки-то я покидала у двери, кота ловила. Да и ну их, пущай у крыльца лежат. На растопку хватит и тех, что в печку уж покладены. Неохота опять в темень соваться! Страшно нынче и в своем дворе. А вы чего приуныли, красавицы? Коли разгулялись, нейдет сон на ум, на глаза, давайте я вам на картах погадаю. Мастерица, я на это дело!

Старуха достала из сундука пухлую, жирную колоду карт и села за стол. Девушки подсели к ней с двух сторон.

— Ну-ка, раскину-ка я сперва тебе, крестница, на бубнового на короля...

— Бабушка, а если бы пришли партизаны, вы что бы сделали? — прервала ее Валя.

— А чего сделаешь? Спряталась бы и вас бы с собой укрыла в сараишке аль на погребушке, в подполе, коли б удалось. А нет — поплакались бы мы все три во весь голос, может бы смиловались, не стали пытать допросами. Я допросов боюсь. Чего я знаю, старая? Правду Зина молвила: ведь русские!

— Ну, а если... немцы?

— Чего ты меня на сон грядущий пугаешь? От немцев бы тоже ухорониться сперва постарались, а там опять — наша хата с краю, ничего не знаем.

— А они не поверят...

— Ну с чего ты взялась меня пугать? Ну, скажи, по какой злобе? — Старуха сердито смешала карты и бросила колоду в сторону. — Или я тебя не приветила? Или в метель из своей избы выгнала? Встретила вон как Зину, как сродственницу, а ты чего навиваешь? Зачем сердце мое тревожишь?

Губы крестниньки задрожали, она закрыла лицо трясущимися руками, заплакала беспомощным, совсем детским, всхлипывающим голосом. Валя сильно смутилась.

«Чего я действительно привязалась к старушонке? У ней ума-то осталось, как у дитяти», — подумала она.

Обе девушки бросились к старухе, принялись ее уговаривать, гладить по плечам, по голове, даже целовать. Их уговоры и ласки не сразу, но все-таки успокоили старуху. Она вытерла лицо полотенцем и снова развеселилась.

— Давайте, что ли, опять чай пить да в подкидные дураки сыграем. Ночь-то долга, а еще и вечер не весь кончился. Заперли нас немцы в темноту спозаранок, а мы им назло унывать не будем! Чего, право. Еще наплачемся, наскучаемся!

Зина весело согласилась. От смешного ребячьего плача старушки, от сменившего слезы незлобивого ее веселья у нее удивительно легко стало на душе. Чем-то мирным, очень далеким повеяло на нее от нежданной семейной этой сценки.

Валя ласково, но решительно отказалась.

— Я очень устала, спать лягу. И вот что, бабушка, примощусь я вот в этом закутке за печкой. И свет в глаза от лампы не бьет, как на кровати, и тепло. А на печке жарко для меня. Не привыкла я на печке спать. А Зина со мной ли примостится на полу, на кровати ли устроится... Как хочет! Можно скамейку с ведрами вот так подвинуть?

— Почему не можно? Я еще хозяйка в своей избе. Куда захочу свои ведра, туда и поставлю. Хоть в передний угол. Помогай, Зинушка, переставляй! А я самоварчик развеселю, чтоб запел, закипел. Да на-ко тебе, Поля, для постели... У меня и кошомка вот нашлась, видишь? Я — запасливая.

Валя улеглась за печкой. Выждала, когда старуха отошла к столу, бесшумно приоткрыла крышку подпола, снова легла, скоро и крепко заснула.

Старуха с Зиной заигрались в карты допоздна. Проигрывая, крестнинька очень сердилась, выиграв, громко ликовала. Зина сначала лишь посмеивалась в ответ на ее воркотню и победное ликованье. Потом сама вошла в азарт: также сердилась и торжествовала.

Старуха начала понемногу плутовать. Из-за одной передернутой крестнинькой карты Зина рассердилась не на шутку. Обе горячо заспорили.

Их громкий спор нежданно прервал еще более громкий стук в избу снаружи. Сначала в окно с улицы, потом — во входную дверь со двора.

Зина помертвела в лице, выронила карты из рук. Старуха часто-часто заморгала округлившимися глазами, с усилием хрипло произнесла:

— Господи! Свят-свят...

Стук повторился настойчивей, грозней. Зина поднялась со своего места. Старуха замахала на нее обеими руками, прошептала:

— Сиди-сиди! Не будем отпирать. Может, уйдут.

Зина, повернувшись лицом к двери, оперлась на стол сзади себя обеими ладонями, замерла в ожидании. В третий раз — угрожающе длительный стук.

Старуха стремительно поднялась, точно сорвалась со скамьи, кинулась к двери с растерянным бормотаньем:

— Пойти открыть... Пойти открыть... Вышибут дверь, вышибут.

Зина осталась стоять у стола, как стояла. На нее словно столбняк нашел.

В избу вошла сначала хозяйка, за ней — гитлеровский офицер и два солдата. Офицер был очень моложав, худощав, женоподобен. Густая щеточка коротко подстриженных рыжеватых усов казалась искусственной наклейкой над наивно пухлой верхней губой. Но стальной блеск его светлых глаз под рыжими ресницами свидетельствовал о жестокости, давней, тренированной, неутолимой. В голосе тенорового тембра порой звучали низкие ноты. Входя в избу, он запнулся о порог, выругался на родном языке и так же, по-немецки, обратился со строгим вопросом к старухе.

Матрена Федотовна суетливо заметалась по избе, как мышь в мышеловке, потом кинулась в угол, прижалась к изголовью кровати. Будто хотела юркнуть, спрятаться за ее высокой спинкой.

Следя за всем происходящим широко раскрытыми глазами, Зина поймала взгляд крестниньки, трусливый, подлый. Девушка в одно мгновение поняла все. Вторичный вопрос офицера, обращенный к старухе, подтвердил ее страшную догадку.

Показывая пальцем на Зину, он спросил:

— Дизэ? Полля-Валля?

Значение немецкого слова «дизэ» Зина знала. Еще в школе учила. «Поля», «Валя» — понятно. Старуха донесла, а предала Валю она, Зина, своей невольной обмолвкой, своим непростительным волнением из-за валиного опоздания. Зина страшно побледнела, рванулась к офицеру, крикнула дерзко и сильно:

— Я! Их бин и Валя и Поля. А ты, старая тварь, ведьма-крестнинька, шкура продажная, еще вспомнишь обо мне!

Она молниеносно подскочила к Матрене Федотовне, изо всей силы ударила ее кулаком между глаз, а ногой в живот. Старуха взвизгнула коротким щенячьим взвизгом, ударилась о край сундука и свалилась у кровати без дыханья, как неживая. От нее Зина с поднятыми кулаками кинулась на офицера.

Тот успел ее схватить за руку, другую больно вывернул один из солдат. Но Зина долго билась в их руках, громко кричала, ловко изогнувшись, вцепилась зубами в щеку офицера. Второй солдат, высокий и рыжий, ударил ее в ухо кулаком, тяжелым, как молот. Из уха хлынула кровь. Вторым ударом он выбил девушке зубы.

В глазах у Зины потемнело, она зашаталась, но сильным напряжением воли сохранила равновесие тела и сознание.

Связав Зине руки, ее повели из избы.

Дверь захлопнулась за ней. Во дворе под окнами послышались голоса. Солдат, уводивший Зину, перекинулся словами с немецкой охраной, оставшейся снаружи, и вернулся в избу один. Смолк разговор. С улицы снова доносилось лишь одно завыванье метели.

Офицер, прижимая носовой платок к щеке, укушенной Зиной, брезгливо и сердито отдавал солдатам короткие приказания.

Они обшарили всю избу, сбросили с русской печки постель и одежду, заглянули во внутренность печи и в закуток за ней; ни один не приметил плотно закрытой крышки подпола. Сбрасывая с кровати перину и подушки, солдат запнулся за распростертую на полу старуху, выругался, оттолкнул ее подальше тяжелым сапогом. Старуха чуть слышно простонала. Ее слабый стон не вызвал у немцев ни участья, ни внимания. Закончив обыск, они ушли, захватив с собой съестное, обнаруженное в доме. Выходя, немцы сильно хлопнули дверью. От этого стука висячая лампа долго раскачивалась под потолком, разливая неверный, трепещущий свет в замолкшем жилье. Равномерно, равнодушно тикали на стене дешевые часы-ходики.

Вдруг сильней застонала старуха. И как бы в ответ на ее стон послышалось в избе живое движенье человека. Осторожно приподнялась крышка подпола, над ней показалась голова и плечи Вали. Девушка прислушалась, осмотрелась вокруг широко раскрытыми, испуганными глазами и вылезла из подпола. Она быстро оделась и, крадучись, вышла из избы в метельную тьму.

Старуха не видела, как вышла девушка, но услышала звук отпираемой и захлопнувшейся двери. Собрав все силы,

она приподняла голову, позвала плачущим прерывистым голосом:

— Право... славные, не дайте помереть без по... ка...-яния.

Никто не отозвался. Только жирный дымчато-серый кот спрыгнул с кровати, попробовал устроиться, привычно свернувшись клубочком в ногах старухи. Но на полу было холодно и жестко. Кот, недовольно согнув спину дугой, степенно возвратился на мягкую постель.

Пятая глава

В положенный час вставало солнце над землей. В свой срок горел закат. Нисходила на землю ночь и снова уступала место дню. Буранные дни сменились ясными. Тогда самоцветами под солнцем сияли русские снега. И все это глаза Дарьи Захаровны видели, ее руки двигались, правильно делали привычную работу, ее тело требовало пищи. Со двора, с холоду отрадно было старому телу отогреться на жарко натопленной печке. Все, как всегда. Но Захаровне часто казалось, что это все видит и ощущает она во сне, а не в яви.

«Чисто душу вынули из меня, а смерти не приключилося, — думала она, — двигаюсь, как живая, а сама ни к чему вроде непричастная. Сколь же времени эдак можно жить?».

Немцы запретили название колхозное «Завет Ильича». Колхоз, по их приказу, стал именоваться по-старому деревня Романовка. Немецкое командование обосновалось километра за четыре от Романовки, близ железнодорожной станции. В Романовку прислали старосту и назначили двух полицейских в помощь ему. Полицейские большую часть времени околачивались при станции, около комендатуры. В Романовке только ночевали. Один — парень по семнадцатому году, но по виду много старше, рыжий, сильный детина. Недоучка и мелкий вор с малолетства. У него и прозвище было Егор — яичный вор, хоть имя его было не Егор, а Григорий. До войны он не раз убегал в город из колхоза без разрешения. Неизвестно, как там проживал, какими делами занимался, но в руки городской милиции ни разу не попал. Возвратившись, работал в колхозе лучше иного взрослого мужчины. Колхозное общество прощало ему самовольные отлучки из-за матери-вдовы, работящей и кроткой женщины, и за его собственный труд. Защитой Григорию были главным образом старики. Они утверж-

дали, что и побеги и все мелкие его провинности из-за того, что не по возрасту он дюж.

— Сила играет в нем. Вырастет, в меру и в дело его сила войдет.

Другой был мужик семейный, по характеру степенный, но сильно корыстолюбивый. На военную службу Якова Семухина никогда не брали — на правой руке средний и безымянный пальцы были у него от рождения культяпые, об одном суставе. В работе и трехпалая рука, с двумя культяпками на поддачу, служила ему хорошо. А левая действовала, как у прирожденного левши. Когда попадало ему в руки охотничье ружье, он и зайцев убивал, и по перу удачно охотничал. Родной отец, старик глубокий, сказал о нем однажды:

— Обе руки у Яшки отними — пупком заместо их научится орудовать, только деньги плати. Стяжатель страшный!

Оба эти полицейские, всяк по-своему бесстрашный и бессовестный, все же чувствовали себя теперь в родной деревне как-то не по себе, скучно и неловко. Никто не смел их укорять в глаза. Дерзким подросткам рты затыкали матери: то угрозой, то лаской, то мольбой, то потасовкой. И большинство жителей относилось к полицейским внешне приветливо, даже искательно. Все же и Якову и Григорию нехорошо дышалось в деревне. Оттого вертелись они целыми днями вне своих жилищ; либо в служебном помещении у старосты, либо поближе к начальству, на станции.

Староста оказался человеком пожилым, по внешнему обличию схожим с немцами. Вместе с молоденькой беременной женой прибыл он вслед за немцами, неизвестно из каких мест. Никому в ближайшей окрестности не был он знаком. В его полное владение отданы были дом и двор Никанора Солодкина, председателя колхоза «Завет Ильича».

Никанор из деревни скрылся бесследно. Когда немецкие солдаты и привезли имущество старосты в двух больших сундуках, Никанорова жена в избе смотрела в окно во двор. Вдруг она выпрямилась во весь высокий свой рост, зашаталась и упала на пол спиной. Упала прямо, не подогнув коленей, словно дерево, подрубленное под корень умелой рукой. Сильно стукнул об пол ее затылок, и это был последний живой шум от нее.

Настасья сперва подумала, что сноха просто сомлела от сердечного беспокойства. Это с ней приключалось раза два за нынешнюю зиму. Ничего, отдышится, встанет. Но

молодая женщина не поднялась. Из родного жилища бабысоседки вынесли ее ногами вперед, мертвую.

Горбатой Настасье с племянниками староста дал позволение приспособить под жилье землянушку во дворе. Там летом, бывало, стряпали, а зимой держали новорожденных телят и ягнят, когда вся Никанорова семья жила в сборе. Горбунья поклонилась старосте смиренно, в пояс, но сказала с недоброй усмешкой:

— Наши старики-родители в добрый час до войны в могилку убрались. Молодых из семьи разметала война во все концы свету белого. На что же мне, вековуше убогой, оставаться здесь? При ком? При желанной снохе жила я, не обиженная в родном кутке. Хоть урод, да свой, не чужая девка горбатая, а сестрица родимая. Вам я ни к чему: ни в дому батрачка, ни во дворе — сторожевая собачка. Не держи ты меня здесь, немецкий староста!

Толстый лысоватый человек, с бородкой нерусского вида, аккуратно подстриженной и так расчесанной, что на щеках сливалась она с пышными холеными усами, сердито, наставительно сказал:

— Староста я русский, немцам только подчиненный. Подчинился по доброй воле, потому что я — человек разумный, не без царя в голове. Сами не сумели управиться, немцы нас уму-разуму научат. Смекай, глупая голова, и мой тебе совет: перед умными высоко голову не подымай! Иди куда хочешь, мне ты не нужна. Имущества ни малейшего я тебе не выделю. Не надейся.

— В чем есть, в том и уйдем, только выпусти!

— Никто не держит. Только, если недовольство возбуждать начнешь среди населения, я тебя живо приструню. Я — человек добрый, но непокорства не потерплю. Так и другим передай. Я из вас большевистский дух вытрясу! Будет, побаловались, пора и честь знать. Извольте крестьянствовать, как в Европе полагается.

Староста подтянул губы, надул щеки, высоко приподнял брови, уставил свои пегие круглые глаза в потолок, словно там поискал, что еще сказать, но только шумно выдохнул воздух и крикнул фальцетом:

— Убирайся вон!

Настасья взяла младшего мальчика на руки, шестилетний, старший сам крепко ухватился за ее юбку, чтоб не отстать. Час был уже вечерний. Настасья пошла прямо к Захаровне — просить принять под свою кровлю ее, горбатую, слабосильную, и двух малых беспомощных детей. Войдя в избу, Настасья забыла, с чего хотела речь начать, сказала сразу ни с того ни с сего:

— Я-то все чем-нибудь заработаю. Вязать, сшить, постирать на людей хорошо могу. А у малолеток, известно, никакого нету оправдания, — они рты голодные! Прими уж с детями... Так, без выгоды, по милосердию... Не выгоняй. Идти мне больше с ними некуда.

В сумерках, неясно было видно лицо Захаровны. Не разберешь, сурово смотрит или с добротой. Голос ласково прозвучал. Но как-то глухо, безрадостно.

— Зачем лишний разговор, Настенька? Рада я вам. Я теперь одинокая. Будете мне заместо моей семьи. Садись, деток усади. Я к Ульяне схожу, не даст ли молочка сироткам. Засвети-ка огонек, вот светец и спички.

Только Захаровна к дверям, а Ульяна сама в двери, у порога столкнулась. Чуть в избу вошла, замахала руками, зашептала возбужденным шепотом:

— Стойте, стойте, огню не вздувайте. Я вам сейчас по тайности расскажу... Видала я в окошко, что Настасья с детями в твой дом вошла. Ну, думаю, этим сказать можно... От этих не будет вреду, с ними поделюся... Что я слыхала, что я видала, ой, бабоньки милые, и прямо сейчас не опомнюся! Вас я не боюсь, вам все, все расскажу... А боле никому, и от вас чтобы дальше ни-ни! Боюсь Пускай от кого другого, а от меня чтобы слыхом не слыхали. Ой, что деется, милыи-и...

Ульяна тяжело опустилась на скамью рядом с Настасьей, потянула за руку Захаровну, чтоб и та села возле нее. Ее шумное дыханье и взволнованный шепот испугали младшего ребенка. Припав головой к плечу Настасьи, он громко и горько заплакал. Вслед за ним испуганно всхлипнул и старший.

Захаровна сердито прикрикнула на Ульяну:

— И шипит, и пыхтит, как неразумная! Детей только напугала. Иди ко мне, сынок, иди, Коленька, иди, гоженький мой, чего напугался?

Старуха привлекла к себе на колени старшего, нежно поглаживая по головке и по спине, приговаривая:

— Нет, нет, ничего нету страшного, голубеночек...

Ребенок затих под ее ласковой рукой и доверчиво положил голову на грудь старухи. Настасья успокоила младшего.

Захаровна ворчала:

— Есть чего сказывать, сказала бы без лишнего присловья, а то и трясется, и мнется, и словом давится. Ты вот молока лучше дала бы сироткам... козу-то тебе оставили. А из рассказа твоего, кроме оху да вздоху, ничего не понять. Дашь молочка али пожадничаешь?

Ульяна без обиды отмахнулась от Захаровны.

— Дам, погоди, не сбивай. Кабы ты видела то, что мне довелось увидать... Эх, ты бы еще не так затряслась да вздыхала! Твоя-то родная доченька, Валюшка-то, вполне может в такую же беду попасть, какую я видала в Лисичкине.

У Захаровны вдруг ослабло все тело, ребенок на коленях показался очень тяжелым.

Она бережно спустила его на пол и прижала к себе левой рукой.

Коля удивленно спросил:

— Бабушка Дарья, чего это у тебя в боке шибко застучало?

— Ничего, сынок, пройдет. Я тоже напугалась. Уморишь ты меня нынче, Ульяна, своими недоговорками. Чего ты про Валю про мою? Чего?

Вдруг опомнившись, сказала сухо:

— А коль и плохое об Валентине чего узнала, меня теперь это некасаемо! Куда подалась, где чего делает, матери не сказалась, совету не спрашивала...

Последнее слово Захаровна выговорила с расстановкой, глухо. Одинаково похоже и на стон и на гневный вздох.

Ульяна поверила, что на дочь сильно сердита гордая старуха, всплеснула руками.

— Да ведь ты ей — родная мать, не мачеха, чего уж так сердитовать? А я нынче пожалела их... таких-то комсомолок, как твоя Валя. Ведь в Лисичкине комсомолку повесили. Люди сказывали, что — комсомолка. Ой, и бесстрашная!

Захаровна вздрогнула. Настасья взмолилась:

— Ульяна, да ты расскажи, чтоб нам понять. Какую девушку повесили? И ты сама видала?

— Видала. Своими глазами видала, этими вот ушами все слыхала! Видела и как повесили, как допрежь того все было — видела. Наш-то староста, я вам скажу, не страшный он. Принимает и деньгами, и мукой, и крупой, и яйцами. Только сунь, любое дело спроворит, — попроси только не с пустыми руками. А эдакие начальники не страшны. Он брюхом продался, не душой. А брюхо-то всегда купить можно. Я притащила нашему старосте того-сего, кой-чего, и дал он мне в пятницу пропуск в Лисичкино. До Лисичкина я — где пешком, где на попутную подводу подсадили, но только ни муки, ни зерна, ни городской одежи там я не купила. А люди врали, что все там есть и все продажное.

Захаровна попросила необычайно для нее кротко:

— Ульянушка, обоим нам с Настасьей это ни к чему. Ты про какую девушку хотела рассказать?

Ульяна хлопнула себя рукой по колену.

— А я про кого же? Про нее само главно — про нее! Собралась уж я в обратный путь, вдруг слышу-вижу в крайних дворах, что ближе к околице, народ чего-то сумятится. Я — скорей туда... И что же, милые: из двора во двор ходит девушка, совсем молоденькая, не старше, чать, только-только семнадцатый пошел. Высоконькая, а телом совсем еще не взрослая, в плечиках узкая. Стужа во дворе, а на ней только есть теплого, что серенький платочек бумазеевый да фуфаечка мышиного цвету. Платочек с головы на плечи скатился, под горлом узлом завязан, а голова неприкрытая. Волосики светлые, подстриженные, а не чесаные. На лоб нависли, на затылке взъерошены, не приглажены. Юбчонка на ней короткая полшерстяная, на боку разорванная, тело сквозит. Видать, сильно девчонка избитая. Под левым глазом багровый синяк, и ухо левое сильно распухшее. Правое-то совсем иного виду, маленькое, аккуратное! Идет она, а ее, как ветром, качает. На одну ногу прихрамывает. Ступит шага три, остановится, оглянется вокруг, переможется, опять пойдет. И вот, скажите вы, какое диво! Вся избитая, одежа на ней грязная, оборванная, через силу ногами двигает, а глядит на всех чисто царевна! Вот как в сказках про царевну сказывается. Светел взгляд, открыто глядит, смело! Словно всех правей эта девчонка бесстрашная, а мы все округ — в чем-то виноватые. И головку свою лохматую эдак высоко держит. Дескать, нет середь вас никого, кто бы чем устыдил меня аль испугал. Глазыньки у ней светлокарие, вроде даже веселые, а губы — крепко сжатые. Словно ей стонать надо, а она не хочет. Впереди ее немец с ружьем, с таким же, как у наших полицейских. Сзади — такой же военный немец с оружием. А сбоку — третий, офицер с пистолетом, что ли, не разглядела я. Все на девушку дивовались. Заходят немцы с девушкой той в каждый дом, ни одного не минуя. И в каждом доме опрашивали, известна ли кому эта девушка, имя ее и фамилия. Кто уж там как отвечал, неведомо, а видать, вышла разноголосица. Около четвертого аль пятого двора девонька совсем из сил выбилась. Пригнали ее, слышь, по зимней дороге пешком из города, не ближний свет. Да после побоев и всякого мучительства она — в изнурении. Тут дошла она до ворот, села прямо на снег, спиной прислонилась к загородке. И, чисто как мел, все лицо у ней стало белое. Немец ей кулачищем под бок. Она через силушку встала, опять пошла. Тут выбег

ей навстречу старик Савельев, Гордей Семенович, никак твой знакомец, Захаровна.

— Ну, ну, дальше сказывай, — нетерпеливо отозвалась Захаровна. — Знаю Гордея, даже в свойстве наше семейство с ним. Да рассказывай, дальше-то сказывай!

— Ну, кричит Гордей, — не знай ложь, не знай правда, — а кричит немцам в лицо: эта девушка мне известная! Звать ее Поля Новикова. И проживала, сказывает, последнее время тут, в моей семье, вместе с родной нашей племянницей. Девушка было к нему кинулась. Но ни словом со стариком перекинуться, ни обнять его, как она вроде стремилася, Полиньке не дозволили. Один солдат схватил ее за руку, рванул и увел в какую-то избу. Другой Гордея ухватил за шиворот, поворачивает его назад. А Гордей, старик крепкий, упирается. Офицер подмог, и, отколь возьмись, с одного двора еще немцев пятеро! Видно, спрятанные там, своего дела дожидались. Ну, скрутили руки Гордею, связали сзади за спиной не то ремнем, не то веревкой. Народ по дворам сперва стоял, а как связали Гордеевы руки, ропот начался, рассердились люди, осмелели. Который просит, который с открытым гневом требует: отпустите старика. За что, как вору, связали руки? Старик уважаемый, вязать его не след!

Не отстояли мы, безоружные, ни старика, ни Полиньки! Чего сделаешь одним криком страждущим? Стрелять в толпу начали. Одну женщину насмерть уложили, трех поранили да пожилого мужчину одного прикладом прикончили. Потом всем приказали по домам сидеть, на улицу не выглядывать. А через часа полтора времени скликнули всех из домов за деревню, на ближнюю полянку. Там уже виселица стоит, и мы круг нее, безмолвные. А на сердце у каждого — темная ночь! Впервой видим виселицу, а в последний ли?

— А, поняли! — вскочила вдруг со скамьи Настасья. — Не захлестнет ли завтра петля мою шею, вот что надо нам думать каждому! Чужие мы в своем дому, в судьбе своей не хозяева.

— Настасья, сиди! — Захаровна властно прижала плечо горбуньи. — Ребенка опять напугаешь. Колька-то вон сам догадался, влез на кровать и заснул. Убаюкай младшего!

— Ох, и черства ты сердцем сделалась, бабка Дарья, — с укоризной сказала Ульяна. — Вот я про себя скажу, чего мне перед вами пыжиться... Знаете меня, как облупленную. С меня все, как с гуся вода. Пожалею кого полным сердцем, а час прошел, я об этом человеке и думать

забуду. Своей выгодой займусь. Но и во мне душа не собачья, не кошкина, а человечья! Вот хоть и сейчас, болтаю о том о сем впереcкочку, а перед глазами все Полинька стоит... Прочитали нам приказ... Читал какой-то... шут его разбери, которой он нации! Говорить по-русски не шибко горазд. Но все-таки уразумели мы, чего немцы хотят. Кто признавал Полю знакомой своей, обязан немцам сообщить немедленно все, что знает о ней и о партизанах. А девушку, дескать, вздернут сейчас на виселицу, чтобы другим неповадно было утаивать сведения о грабителях и насильниках, об партизанах.

Стоим это мы тесно, вплотную друг к дружке. Каждому вроде страшно в особицу отделиться! Лицом к виселице стоим, спиной к деревне. Из-за наших спин Полю и вывели. Руки на спине связанные. Хромает вроде меньше. Аль уж так показалось, больно лицо было у нее светлое, когда на смерть шла. Как подвели к виселице, Поля обернулась к нам лицом и крикнула: «Я умираю хорошо!» Тут ей петлю набросили, а она еще успела крикнуть: «Умираю за родину, за Сталина». Голос у ней совсем ребяческий, звонкий. Так вот у меня в ушах и стоит: ох, «я умираю хорошо!» Об партизанах, слышь, пытали ее, били жестоко, а ничего не допытались. Вот какая крепкая! А ведь молоденькая, совсем еще дитятко. Шейка то-оненькая у нее...

Ульяна глубоко вздохнула и заплакала тихо. Настасья глухо рыдала, уткнувшись лицом в подушку, на кровати. Плакала и Захаровна, но лица ее не было видно другим. Она сидела поодаль от Ульяны, отвернувшись к окну. Слезы свои вытерла быстро концом головного платка, встала со скамьи, обратилась к Ульяне совсем спокойно:

— А ты про это про все поменьше рассказывай! От души тебе советую.

Ульяна обиделась.

— Ты за все меня обрываешь! За что? Ругались когда, так ведь живые люди, бывает, и поссоришься. И зря ты думаешь, что у меня дырявый рот.

— Да ты не серчай. Я к тебе с доброй душой.

— То-то с доброй, за каждое слово съесть готова! Ну и прощай. Не больно мне надо тебе навязываться. Боле не приду! Сиди, как сыч, одна. И то, кроме меня, никто глаз к тебе не кажет. Никого не приветишь, не обласкаешь, все в себе живешь. Нелюдимка стала, все от тебя отшатнулись, одна я старалась... Прощай!

— Да ты постой, постой. Куда ты? Не серчай, Ульянушка.

Захаровна вышла следом за ней, вернулась в избу не скоро.

Настасья сперва плакала, лежа на кровати около спящих детей, а потом незаметно и ее самое успокоил глубокий сон. Проснулась она только утром. Вскочила в какой-то странной тревоге, словно кто ее в бок толкнул. За последнее время часто с таким ощущением просыпалась. Будто вот-вот должно что-то случиться. Не то новая беда стоит за порогом, не то нежданная радость войдет. И сейчас она быстро повернулась, вскочила с кровати, огляделась вокруг немного диким взглядом, пробормотала вслух:

— Откуда радости ждать?

Захаровна подняла голову. Она сидела у окна, в очках, чинила какую-то старую одежонку.

— Ты что, чисто с печи упала? — спросила она и указала на глиняный горшочек на столе. — Молока Ульяна детишкам прислала. — Не дождавшись ответа, продолжала каким-то не своим голосом, очень смущенным: — Не вовсе она плохая! Я об Ульяне прежде хуже думала. А может, и она получше в горьких-то наших испытаниях. Вроде не столь скупа стала. В речах ее тоже... давно не слышу прежнего похабства. Только все-таки нет в голове у ней батюшки-разума! Мелет много лишнего.

Настасья вяло отозвалась:

— Ну, нет! Ума ей не занимать-стать. В житейских делах умней нас с тобой рассудить умеет. А получшела сердцем аль нет, кто разберет? Чужая душа — потемки.

— Я вот — похужела. Умна — не умна Ульяна, а правду она мне сегодня в лицо бросила, — сказала Захаровна дрогнувшим голосом. — Чего лукавить? Осердилась я за это на нее, а надо бы ей спасибо сказать. Шибко затворилась я в своей печали, а печаль у нас у всех одна, общая. Завязала я себе свет одной своей семьей. Нехорошо это, совестно в такие дни!

Горбунья всплеснула руками.

— Ну вот она и радость! Я прямо тебе скажу, Захаровна, я уж уйти от тебя думала. Куска не жалеешь, последним делишься и со мной и с детишками, а ходишь с каменным лицом по избе, и куску твоему не рад. С таким человеком, без просвету сумрачным, вместе жить тяжко! А мне и так не легко.

— Ну, что же, прости, я была совсем не в себе. Настя, послушай-ка, — девушка та — не иначе как Зинка, подружка Валина. Она — эдакая тоненькая, и голос ребячий,

и глаза светлокарие. И фуфаечка у ней такая была, цвету мышиного.

— Ну, таких фуфаечек сколь хочешь я видала...

— Фуфаечка так, сбоку, вспомнилась. Сердцем чувствую: Зина это. Ульяна-то ее не видала у нас, не случилось как-то этого. А и у ней в голове чего-то брезжит. На Валю потому намек дала, что помнит: вместе с Валей бывали у нас подружки ее. Она потому нам и рассказала, думала еще чего про ту девушку разузнать.

Настасья спросила испуганно:

— А старосту не наладит она у тебя и про Валю и про подружек допытываться?

— Не хочу худого об ней думать до времени, а готовой и к худому надо быть. За Ульяной-то чего побежала? Не впервой резким словом обрываю эту бабу, никогда мириться не бегала. А сегодня вот эдак свое сердце в клещи стиснула, — Захаровна подняла крепко сжатый кулак, — а побежала перед ней виноватиться! Теперь у меня одна дума, как бы по этой ниточке к партизанам тропку найти. С партизанами дочка моя аль ее уж нет нигде средь живых, я — мать. Не ей одной, не только своим детям, а всем этим девушкам, кои под пытками не сдаются, на смерть за свой народ идут без жалобы, я — мать. Так в сердце своем теперь я держу! Ты подумай, Настасьюшка, в самую свою пору цветущую чем они живут, доченьки мои милые!

Захаровна встала, сложила под грудью руки одна на другую, так с минуту постояла в глубокой задумчивости, поглощенная внутренним волнением, опустив голову, крепко сжав бескровные старческие губы.

Настасья подсела поближе, облокотилась на стол. У нее сделалось покорное, печальное лицо. Она знала, о чем думает старуха. Горбунье и в юности, и без войны не были отпущены судьбой те радости, о которых думала Захаровна.

И Захаровна действительно продолжала так, как догадалась Настасья:

— Чего успели для себя захватить? С милым не намиловались, семейного гнезда не наладили, не порезвились всласть. Ученье да об своей работе старанье, — а потом головой в самую страсть военной беды. Меду мало выпили, а всякой горечи чашу полную! А тут — и в смерть столкнули их немецкие супостаты. Жалко мне их всех, жалею я их трудной родительской жалостью.

Она тяжело вздохнула, снова села рядом с Настасьей, понурив голову.

— И холмика могильного над ними не сложено. Но все одно, знаю, расцветет на том месте, где закопали их, полынь горькая и не трава душистая — расцветет память о них добрая и долгая! В народе песня об них сложится, сказка такая сложится, что много лет народ ей будет заслушиваться.

— Сказка и песня для других. Сами-то в земле сырой не услышат ни прославления, ни хуления. Им теперь ничего не надобно:

— Нет, милая, — Захаровна легонько стукнула ладонью по столу, — не о тлене говорить надобно, а об их жизни. Из-за чего на смерть они шли? За то, чтоб мы раньше смерти в рабстве не изгнили! Жизни свои народному бессмертью отдали. Вот в чем дело, милая. Гореть нам надо, а не сыреть в печали! Я так решила. Не дожидаться больше, под окошком сидючи. Нет вестей ни о Вали, ни от Никанора. Знать, обоих либо нет в живых, либо у них нет возможности с нами столкнуться. Самим надо шевелиться, народ против врагов сбивать. Ты думаешь, в Лисичкине звери живут, не люди? Как теперь кипит сердце у тамошних жителей!

— Туда без пропуску не добраться. Мы с тобой не Ульяна, у старосты на примете. Дуром тоже нельзя начинать.

— Остерегай старика не скакать вприскочку, глупая! Я на свете подольше твоего живу. А у старой лисы — тысяча одна увертка, из них надежней всех — в глаза охотнику не лезть. День пройдет, ночью к Пермякову-леснику проберусь. Не зря он из сторожки не двинулся. Нам, Строговым, он — свойственник не только по семейному сродству, а и по мыслям. Советской власти верный, как и мы. А сноха его с дитем от старшего сына-красноармейца проживает в Лисичкине.

Шестая глава

В ту ночь не удалось Захаровне в лес уйти. Среди дня пришел в избу к ней полицейский Семухин Яков. Не глядя в лицо Настасье, сидевшей за столом с детьми, прямо перед дверью, он искоса обшарил глазами всю избу. Старуха возилась у печки. Без всякого приветствия Семухин спросил:

— Не найдется ли, хозяйка, бутылки самогону?

Настасья всплеснула руками, засмеялась.

— Нашел у кого спрашивать. Строговы сроду не курили самогону. Али, как нанялся к немцам, все русские жители стали для тебя только на всякую пакость готовые?

Яков равнодушно отмахнулся от горбуньи рукой.

— Сиди молчком, коль бог убил. Не у квартирантки, у самой хозяйки спрашиваю.

Захаровна спокойно выпрямилаь у шестка.

— Есть, сынок. Настя не знает, что у меня берегется на случай простуды одна бутылка. Сами не варили, а к празднику купили. Присядь, принесу из кладовки.

Захватив ключи, старуха накинула на голову платок и быстро побежала к Ульяне.

— Выручи, соседка, дай бутылку самогону. Я тебе шелковый Валин платок отдам, ты льстилась на него.

— Само-огон? Да тебе нашто?

Захаровна поспешно рассказала, что полицейский просит. Она боится сказать, что нет у нее. Не поверит, обиду против нее затаит, а она кругом беззащитная, семья — без вести, заступиться за старую некому.

Подавая бутылку, Ульяна усмехнулась.

— Боязлива стала, а то во как, бывало, заносила голову.

— Теперь не занесешь, — кротко отозвалась Захаровна, — буду жить в покорности.

Понизив голос, Ульяна сказала:

— И я тебе тоже советую, дети мои, Васька с Таиськой, на заре прибегли. Я думала, им у дедов на хуторе, от больших дорог в отдалении, безопасно будет, проживут, пока так ли сяк жизнь в порядок придет. А они сказывают, ника-ак! Карательный отряд пришел. Близко — бор большой. Там партизанов ищут!

У Захаровны в избе между Яковым и Настасьей шел свой разговор. Горбунья спросила:

— Или у немцев водки нет, что самогон пьешь?

— У немцев много чего есть, да не про нашу честь! Пить нам не полагается, я для старосты. Ему захотелось самодельной выпить.

— Так и послал прямо к Захаровне?

— Так и послал к Захаровне, — нагло глядя в лицо Настасье, ответил Яков. — Приказал деньги заплатить. А вам обеим где взять денег, если не продать чего?

— Так это он такой добрый до нас, об нас заботится.

— Ну да, шибко добрый к вам, — захохотал полицейский. — Староста рассчитывал — старуха обидится, что ее за самогонщицу считают. Слыхал, что нравная. Кабы заругалась, я бы ее к ответу сволок. А без причины трогать не велел. Он жителей раздражать не хочет. Он все делает по справедливости.

— О-ох, — только вздохнула Настасья и крепко стиснула зубы.

— А коль продаст безропотно, тогда велел самогонный аппарат искать. Курит самогон, значит лишний хлеб имеется.

— Да где же у ней аппарат... Ох, ты, черная душа, да уж не принес ли ты его? Батюшки, не мытьем, так катаньем, ай-ай-ай...

Яков погрозил Настасье:

— А ты не ори! Пока не принес, а захочу, так принесу и докажу, что здесь нашел. Или под другое подо что подведу... по закону. Уважай начальство. У старосты все побывали, каждый что-нибудь принес на поклон, а старуха и с пустыми руками не пришла поздравить с прибытием.

— Ты бы ей прямо так и указал. Ведь ты здешний, свой. Неужели тебе нас ни капли не жалко?

— Дурак я прямо говорить. Благодари, что намек дал. И тебе я вовсе ничего не говорил, запомни. Принесла, бабушка? Что долго ходила? — спросил входившую в избу запыхавшуюся Дарью.

— Перебуровлено все в кладовушке, не сразу нашла. Получай, откушивай на здоровье. Нет, нет, не возьму денег. Примите за уваженье.

— Не велено без денег. Не для себя покупаю.

Яков положил деньги на стол.

— Ну, так деньги себе возьми от меня... Заместо стаканчика в угощение. Бери, бери деньги, прошу, возьми.

— Не берем при исполнении служебных обязанностей, — гордо отклонил ее руку Яков. — Да и не из-за чего тут... мараться.

Захаровна поняла. Молча, нахмурив брови, достала из сундука и приложила к лежащим на столе своих две десятки. Яков сделал вид, что не заметил этого.

— Покажите теперь, где у вас аппарат, — сказал он строго. — Где самогон варите.

И полицейский начал небрежные, обидные самой своей нарочитой бестолковостью поиски во дворе, в сенях и в избе. Правда, Яков не очень долго себя утруждал этой возней. Закончив, объявил:

— Пока не обнаружено, предупреждаю на дальнейшее время. Остерегитесь!

Захаровна тяжело перевела дыханье.

— Вы — житель местный. Вам хорошо известно, что я не самогонщица и не шинкарка. Прошу я вас, будьте милостивы, заберите деньги со стола.

Яков помялся, произнес задумчиво:

— Назад он не примет. Не наш брат, на что ему деньги? Даром всем обеспечен: власть!

Захаровна поклонилась в пояс.

— Возьмите себе... не по своей воле утруждались. Не отказывайтесь, сгодятся. Возьмите мне в удовольствие!

— Ну, разве что так...

Яков сгреб деньги в карман. Не прибавив ни слова благодарности, не попрощавшись, он ушел. От унизительной покорности, от противного ее душе притворства Захаровна почувствовала себя вконец измученной. У нее даже ноги тряслись, и от внезапной слабости пот прошиб. Не хватило сил влезть на печку, прилегла на кровати, пролежала пластом до самого вечера. Ввечеру они долго и горько с Настасьей перешептывались, хоть в избе, кроме них, никого не было. Даже детишки возились во дворе — у крыльца.

— Не думаю я, — говорила Захаровна, — чтоб они за мной надзор установили пристальный. Скорей всего взятку вымогают, со всех ведь поборы берут! Ульяна правду молвила, что и немцам этот купленный народ не во всю душу служит. Главное, для своего брюха стараются. Но все одно в лес идти перегожу день-другой. А дары отнести старосте придется, не миновать горло куском заткнуть цепной собаке, чтоб не лаяла.

Старуха вынула из сундука кусок льняного тонкого холста и, держа его в руках, задумалась. Вспомнила, как перед войной намяла и натрепала она льну больше всех в районе, как ее за это в городе на собрании люди чествовали... Зачем так на свете водится, что самые светлые воспоминанья порой становятся мучением для человека?

Вернулась домой Захаровна веселей, чем ушла. Старосты не оказалось налицо. Холст приняла его молоденькая жена. Как будто сама смутилась, покраснела, «спасибо» пробормотала, записала от кого, чтоб не забыть фамилии, отпустила без долгого разговора, без расспросов.

Ночью обеим женщинам не спалось. Обе уж и забыли, как, бывало, крепко спали после дневных трудов. Настя то и дело вставала с кровати: то воду пила, то садилась на сундук у изголовья, не зная зачем. Захаровна беспокойно ворочалась на печке. Обе враз услышали, что у двери во двор легонько кто-то стукнул щеколдой. И, удивительно, ни у той, ни у другой даже мысли не мелькнуло, что недруг у двери возится. Сразу решили: пришел друг в ночи утешить их известием о близких. После сами дивились, почему так после посещения полицейского и всего неприятного дня не подумали о новом огорчении, а сразу доверились предчувствию радости. И откуда у старухи

такое проворство нашлось, что с печки прежде Настасьи успела очутиться в сенях?

Настасья слышала, как Захаровна, о чем-то тихо переговариваясь, отодвинула засов, снова засунула и чиркнула спичкой в сенях. В избу не одна вернулась и раздельным, внятным голосом объяснила:

— Это — Васятка, Пермяковой снохи брательник-парнишка. Ну, ну, сказывай, сынок, не томи. Вот меж нами тут сядь.

У мальчишки шепот нет-нет и срывался на громко произнесенное слово. Захаровна тогда в испуге быстро зажимала ему рот жесткой своей ладонью. Васятка крутил головой, продолжая рассказ:

— Враги дознались, что наши лисичкинские жители после, как ту девушку повесили, стали очень партизанам сочувствовать. Мы обоз с продовольствием партизанам отправили. Обозу перехватить им не удалось! Вчерась только узнали мы, что доставлен в целости по назначению. «Спасибо» передавали партизаны. Ох, мы и радовались! Но нашелся враг, донес немцам. Кто из наших раньше смикитил, успели в лес убежать, попрятались. Кто не смикитил, тех фашисты увели за двадцать четыре километра от Лисичкина, в деревню Кобякино. Лисичкино запалили с двух концов. А в сарай один загнали человек восемьдесят, которых считали вредными. Сарай заперли и подожгли. Ночью это было, как жгли да угоняли. Народ — кто плачет, кто в крик страшно кричит. Нам в лесу-то, все было слышно. Мы — лесом, лесом, дале да глубже, нашли своих! Только там нам не велели оставаться целым табором. В разных деревнях по квартирам теперь размещаются. Мне велено поместиться в Кобякине у сватов Селезневых. Но вперед тебе, бабушка, должен передать, что долго у тебя не велели задерживаться. Дочь твоя жива-здорова, шлет поклон тебе и просит, как возможно, постараться из своей деревни не уходить. Придет к тебе человек и скажет... Ты не думай, ни слова я не забыл, не перепутал. Твердо запомнил, как приказано. Скажет тот человек: щенок у матери лаять учится.

— Доченька, моя доченька! — Захаровна всхлипнула. — Приговорку мою вспомнила! Значит, и вправду жива. Ну, да ты сказывай, дальше-то сказывай!

— А им вот, этой тетеньке горбатой... Ох, не рассердитесь, это мне в примету сообщили, а я сгоряча...

— Милый ты мой, — погладила его по плечу Настасья, — отмету свою со дня рождения ношу, привыкла! Сказывай, родной, сказывай...

— Вам велели передать, что и дядя Никанор жив-здоров, что вы у Захаровны — знает, что жена скончалась — известно ему. Они там все, все теперь про нас вызнали, хоть и далеко хоронятся в лесах. Просит вас поберечь его детей, как были бы вы им родная мать! Я прямо сказал: разве откажется! Я сказал, чтоб они ни об чем, ни об чем не беспокоились! Я сказал: одна у нас надежда, на партизан, пока придет Красная Армия...

— Ладно, ладно, сынок! Ты, видать, умный и добрый паренек. Спасибо тебе от нас обеих великое. Еще чего передавали нам?

— Больше ничего. Я сейчас обратно в бег! Я с вечеру еще на вашем огороде под снег залег. Замерзнуть не боялся. Я — крепкий, вот уж и не зябко мне, сразу отогрелся. Я боялся: кто-то шумел у вас во дворе, искал чего-то. У меня прямо дыханье в горле застряло! Думаю, ну как на огороде ногами станет швырять! Снежок следы мои засыпал, а со спины я сугробом недостаточно прикрыт. Ну, решил, живой не дамся. У меня ножик за пазухой. Это я сам догадался, взял. Мать и не видала.

— Напрасно, миленький, кинь его, кинь здесь! Попадешься, объяснишь, что семью ищешь, а ножик найдут, не видать тебе больше родной матери... Дай-ко.

— Да-а!.. Так и сдался бы, как теленок! Не хотел, пока порученья не выполню. Я бы его так пырнул... Хоть бы одному кишки выпустил.

— Что ты, дитятко неразумное! И сметлив, и смел, а отвага еще ребячья, глупая. Чать, острастку давали тебе, чтобы на рожон не лезть?

— Давали, да это я, если бы порученья не выполнил...

— А того нет смекнуть, какую беду заместо помощи ты навлек бы на нас, коли бы тебя с ножом в нашем огороде сцапали? Трудно партизанам с нами связь держать. Ну да ладно, господь уберег, а тебе пусть в науку пойдет: тишком держись. Бери не гневом, не силой, а хитростью, коли хочешь воевать, партизанам помогать. Я сама-то, старая, только вчера до этого умом дошла. Наша помощь должна быть хитрая. Чуть шагнул с недомыслием — партизанам вред.

— Я понял, бабушка, — тяжело вздохнув, сказал мальчик, — не надо ножика. Я хитрить сумею, неохота было сразу, как теленок... Да я бы ведь только в крайнем случае!

— Ну, вот и показал себя не хитрей теленка. Ничего,

в грозе, в беде раньше сроку поймешь мудрость горькую. Такое детство пало вам на долю.

— Я побег, бабушка. Только ты не беспокойся. Уж выдать я ни за что не выдам. Оттого и послали меня, а не другого. Уж ты мне верь! Я побег.

— Постой! В котомке-то у тебя есть хлебушко?

— Кусочек остался.

— Я тебе целый каравай положу. Сказывают, немцы кой-где на хлеб зарятся, легче пропустят, коль хлеб отберут. Беги, с богом, сынок, охрани он тебя от всякой беды.

Благополучно проводив мальчика за огород, Захаровна возвратилась в избу, тщательно заперла все запоры и сказала Настасье:

— Седина пришла, а ума не нашла. Чуть было я, не хуже мальчишки, в дерзкую храбрость не ударилась. Навредила бы, кабы к Пермякову, грехом, тропку показала. Терпенье нам нужно крепкое. Настенька, несокрушимое терпенье в тайной нашей войне!

Пришла весна. Окружной лес оделся молодой листвой. Крестьяне поднимали пашню, каждый на своей полосе, с великим трудом, не хватало рабочих рук и земледельческих орудий. Захаровна с чужой семьей в долю вошла. Настасья не могла в поле быть помощницей, но Захаровна работала как молодая, всем в деревне на диво. И все ждала упорно, с несокрушимой верой ждала человека из лесу. Никто не приходил.

Седьмая глава

В конце октября сорок первого года, когда гитлеровцы еще только угрожали вторжением в этот район, местные люди приготовили, на случай беды, партизанскую базу: жилье, продовольствие, винтовки и пулемет один. Землянку сложили в лесу за болотом. На болоте, под защитой кустов, был твердый островок, удобный для засады и наблюдений за большой дорогой, пролегавшей у самой опушки леса. Позднее, когда враг захватил областной город, секретарь районного комитета коммунистической партии, Савва Петрович Крептюков, доставил на островок стекло и рамы из разбитого рабочего барака.

Во вместительной землянке с хорошо сложенной русской печью стало тепло и светло. Но до того времени, когда явилась возможность боевых вылазок, двадцати трем человекам, сбившимся в землянке, каждый день за неделю казался. Некоторые вдруг ощутили возврат старых болезней: лихорадки, ревматизма, слабости сердца и лег-

ких. У всех сказалась тоска об оставленных семьях, о любимых. Во главе отряда встал Крептюков. Это был умный и справедливый начальник. Знал достоинства и недостатки каждого члена отряда, как собственные. С недостатками умел бороться, хорошие качества в себе и в других воспитывать.

Ему было уже за тридцать. В черных кудрявых его волосах за последний год пробилась на висках ранняя седина. Но взгляд очень зорких серых глаз сохранился юношески живым и горячим. Только этот взгляд выдавал его личное нетерпенье, когда он сам из-за кустов смотрел на дорогу. Недели две лежала она, глухая, безлюдная, под белым снегом, не тронутым ногой человека. От времени до времени пролетали над ней вражеские самолеты. Наземные части неприятельского войска еще не появлялись. Русское население передвигалось по трудным и тайным тропам. Партизанская разведка тоже около двух недель не приносила данных.

Все труднее становилось Крептюкову поддерживать бодрое настрение в бездействующем отряде. В большинстве отряд состоял из комсомольцев, ни в одном сражении непосредственного участия не принимавших, но жаждавших действия, горячих дел, героического подвига. Все они просились в разведку, а многие не годились еще для этого. И как раз они-то особенно и томились желаньем немедленно напасть на врага, взорвать поезд, поджечь воинское общежитие или хотя бы одного фашиста убить, «своего первого», как выразился девятнадцатилетний Ваня Пантюхин. Он запальчиво крикнул однажды во время ужина:

— Что же, и завтра будем только жрать да спать в этой заколдованной норе?

— Что-о? — угрожающе спросил Крептюков.

— База не на месте, — понизив тон, угрюмо ответил Ваня.

— Смотри, на месте ли ты... Имеешь ли ты право состоять в советском партизанском отряде! Делаю тебе первое предупреждение, отправлю тебя к... бабушке на печку, если на теоретических занятиях будешь зевать, как сегодня зевал!

— У меня бабушка померла, — насильственно улыбнулся Ваня, стараясь шуткой смягчить гнев Крептюкова. Но начальник сильно рассердился, стукнул кулаком по столу.

— Без зубоскальства! — крикнул он совсем бешеным голосом.

Мертвая тишина воцарилась за столом. Часовой, де-

журивший около землянки, испуганно заглянул в дверь. От этого Крептюкову стало неловко почти так же, как юноше, не сдержавшему гневного раздражения. Он поднялся из-за стола, не доев своей порции каши, свернул завертку махорки, закурил с глубокой затяжкой. Это был единственный случай, когда начальник отряда вышел из себя от гнева.

Но в ту же ночь Валя Строгова принесла известие, что есть возможность на рассвете отбить у гитлеровцев обоз с провиантом. В базе, на страже, оставили только троих пожилых мужчин.

В этой первой и весьма не легкой партизанской операции четверо были легко ранены. Пантюхина принесли на носилках с простреленной ногой.

В отряде имелись медикаменты, находился фельдшер хирургического отделения районной больницы. Он оказал Ване нужную помощь. Лежать его оставили на базе. Тогда же Валя сняла с неприятельской машины аккумулятор, которого недоставало для установки в землянке радиоприемника. Так появилась в отряде рация и была установлена связь с партизанской бригадой.

Валю быстро оценили в отряде как хорошую разведчицу. Она ходила и с листовками и с грузом ручных гранат. Она обнаружила в городе гараж мотополка и общежитие вражеских мотоциклистов. Вдвоем с Зиной они бросили зажигательные бомбы в гараж с мотоциклами и в общежитие. Некоторые мотоциклисты спаслись, но мотоциклы все сгорели.

Из последней своей разведки, после ночлега у «крестниньки», Валя запоздала с возвращением. Крептюков догадался, что девушки попали в беду. Ответственность лежала на Строговой. Крептюков и сердился на нее и сильно жалел ее. На рассвете четвертого дня после ухода девушек он вышел к опушке леса и долго смотрел в ту сторону, откуда должны были появиться разведчицы. Вьюга затихла. Кругом было безлюдно и мертво. В облачном небе медленно пробивался свет унылого зимнего утра. Крептюков вернулся в землянку. Валя прибрела только ночью, чуть живая от усталости и мучительных душевных переживаний.

Восьмая глава

В июне, в густой туман, пробиралась Валя однажды на базу через лесную поляну. На расстоянии протянутой руки ничего нельзя было рассмотреть перед собой.

И Вале вспомнилось детство. Таким далеким казалось оно теперь, словно было все это не десять, а двадцать, тридцать лет назад. Убежали они — пять девчонок по девятому году, Валя — шестая, старшая, десятилетняя, — убежали в лес по ягоды. Когда в лес бежали, курился над землей туман, как дым негустой. А потом вдруг сгустился. Едва различимы стали деревья, а кустов совсем не видно. Девочки чуть не потеряли друг друга в лесу. С плачем аукались, наконец сбились вместе плотной стайкой, начали к опушке выбираться. Ни одна не знает, в какую сторону двинуться! Знакомый лес вдруг сделался чужим, неизвестным. Сильно испугались девочки, даже плакать перестали. Вдруг донеслось до них щелканье пастушьего бича. Тогда Валя закричала изо всех сил:

— Щелкай, щелкай, деду-ушка Терентий, щелкай, милы-ый дедушка! Укажи дорогу.

И пастух защелкал громко, часто, весело. Девочки обрадовались, страху как не бывало, со смехом прибежали на опушку, где Терентий скотину пас.

Теперь нет ни мирного пастбища, ни щелканья нестрашного пастушьего бича. Другой бич гуляет сейчас по родным опушкам и селеньям. Страшен милый с детства русский лес и в туман и в ясный солнечный день. За любым кустом, может, смерть сторожит. Опушки и поляны особенно опасны. У опушки недоброй жизнью ожила дорога: с начала весны служит неприятелю. Когда в ясный день открытую поляну пересекаешь в одиночку, все чудится, что из-за деревьев возьмет тебя на мушку враг. А в такой туман легко натолкнуться и на карательный отряд.

В наступление идет Красная Армия. За ее боевые успехи фашисты мстят народу в тылах. Около железной дороги на много километров вырубили все деревья. А над теми, кто в леса не ушел, творят страшную расправу. Над покорными и робкими особенно.

Вале вспомнилось, что недавно партизанам пришлось немало из добытого провианта отдать крестьянам, убежавшим в лес от вражеской расправы без всякого запаса пищи, почти без одежды, — в чем были ночью, в том и убежали. А партизанам самим добывать питание стало чрезвычайно трудно из-за карательных немецких отрядов. На базе давно без соли обходятся, пятый день ни крошки хлеба нет, питаются ягодами, кореньями, грибами, сваренными без соли. Курильщики маются без табаку, мох и листья курят. И все же без малейшего ропота отряд уделил питанье пострадавшим сельчанам.

О необходимости помочь им Валя рассказала отряду.

Натолкнулась она тогда близ дороги на трех женщин. Одна из них, высокая костлявая старуха, была в рубахе с домотканой холщовой становиной. Поверх нее, на худой морщинистой шее, висел медный крестик на старом гайтане.

Неожиданно увидев перед собой незнакомую девушку, старуха схватилась обеими руками за этот медный крестик, будто в испуге иной опоры не нашла рукам. Валя сумела женщин успокоить и подробно расспросить, что они делают здесь около леса. При ней была тогда краюшка хлеба. Валя сразу поняла, что женщины голодны, в лесу ищут пищи. Но подробности горького их бытия узнала уже после того, как старуха приняла от нее хлеб.

— Из нашей деревни в партизаны никто не ушел, — сказала старуха. — И к нам ни разу они не наведывались. Видно, за то и наказал нас бог, что об наших заступниках не старались. Ну, в Красной Армии находятся с каждого двора по двое да по трое. Сперва-то враги, как разместились у нас, за красноармейцев из семьи не шибко допытывались. Разоряли нас всех, притесняли в постепенности. Ну, там кур перевели дочиста, поотымали, почитай, всю худобушку. На всю деревню в одном дворе коровенку оставили. Шибко тощая была, раскормить приказали хозяевам. Терпим, виду не показываем, что на Красную Армию надеждой живем. А тут слушок прошел: надвигается, теснит врагов она. Обрадели мы, но опять ни одно дите малое, ни одна баба из глупых глупая не выдали злодеям той радости! А как зачали молодых к себе в Германию вывозить, тут мы взбунтовались. Исхитрились, семей несколько ночью убегли в чем есть. Корки хлеба, слышь, запасти-захватить не успели. Другим-то, сказывают, партизаны помогают, а мы ни в тех, ни в сех — беглецы. Не можешь ли ты, девушка, навести на нас партизан? — обратилась она к Вале.— Стой! — вдруг словно опомнилась старуха.— Хлеб дала, мы поддались, голодные. Не ящейка ли ты немецкая? Задушу-у! — она двинулась на Валю, вытянув вперед свои костлявые руки.

Другие две удержали старуху.

— Стой, стой, чего ты! Видать ведь человека, русская.

— Есть и такие... — медленно выговорила старуха. — Говори, с какого села.

— Все равно из какого, бабушка! Верь мне, чем хочешь поклянусь, что фашисты мне такие же враги, как вам, — ответила Валя. — Сама я дороги к партизанам не знаю, но через хороших людей сумею им про вас передать. Скажите, где вас найти?

Женщины ответили не сразу. Молча переглянулись друг с другом. Старуха, очевидно, вселила в них запоздалую боязливую осторожность. Но сама старуха, неожиданно для Вали, обратилась к ней совсем другим, просительным тоном:

— А ты Сталиным поклянись...

Валя улыбнулась широко и светло. Она торжественно, как на воинской присяге, подняла руку, сказала чуть дрогнувшим от волнения голосом:

— Сталиным клянусь, не врагов, друзей приведу на помощь вам.

Три женщины сомкнулись кольцом вокруг Вали. Старуха тихо, почти шепотом, сообщила ей приметы вырытой ими пещеры в соседнем лесу. Валя знала это место, сама напомнила им о кривой приметной березе.

После этого одна из молодых спросила Валю голосом, полным доверия:

— Скажи, девушка, неужели фашистов победить нельзя?

— Быть этого не может, — страстно воскликнула другая, — сроду не поверю, чтоб наши бойцы не отплатили им за всю нашу муку-мученическую. Как же тогда на свете людям жить? Скотом, зверьем тогда людям надо оборотиться.

— Отомстят и победят! — с ликующей уверенностью ответила им тогда Валя.

И сейчас, бредя усталая сквозь густой туман через опасную поляну, девушка сразу взбодрилась, вспомнив об этом. Взор у ней просветлел. Она вновь, как и тогда, остро ощутила непременное существование счастья в человеческой жизни. Сквозь сырой, унылый, сомкнувшийся сейчас вокруг нее туман проглянет же солнце! Оно есть, оно не погасло. К этим страдающим женщинам, к ней самой, к милой мамушке, ко всему дорогому для Вали сообществу людей вернется простое человеческое счастье — быть мирными людьми. Красная Армия, Валины товарищи партизаны, и сама она с ними, в прах разобьют всякое человеконенавистничество, всякую несправедливость.

Вдруг сзади хрустнул сучок под чьей-то ногой. Валя сразу опомнилась, повернулась назад, напряженно вглядываясь в туман.

«Что это я? Размечталась, нашла место и время... Что это на меня нашло?.. Бежать не следует, нет... Выжидать тоже не надо... Просто оглянулась и опять иду своей дорогой.»

Валя, не ускоряя ходу, двинулась вперед, но по спине холод прошел и во рту сразу пересохло. «Будто нечаянно, в тумане, в лес попала... А мне надо, мне надо... на дорогу в село. Где же лес? Когда она кончится, эта поляна? Уж не сбилась ли я с пути? Опасности всегда надо смотреть прямо в лицо, выяснить...»

Девушка решительно повернулась и стала выжидая. Да, силуэт человека совсем близко. Движется осторожно.

«Видит меня, видит»! — подумала.

И тут же оба разом негромко воскликнули:

— Валя!

— Ваня!

Это был Пантюхин. Он приблизился к девушке, подхватил ее под руку.

— Двигай, двигай быстрей! В лесу, в чаще, где-нибудь присядем. Понимаешь, из сил выбился!

— Как ты здесь очутился?

— Говорю тебе, путлял, как заяц. Как лиса увернулся.

— А может, привел?

Ваня тихо, но самодовольно засмеялся.

— А раньше-то?

Эта поговорка была вывезена Ваней с его родины, из Чкаловской области. Если товарищи выражали опасение, что Ваня сделает что-нибудь не так, как надо, он, прищурив глаза, вызывающе вопрошал:

— А раньше-то, то есть раньше когда-нибудь, вы меня видели в дураках?

Так он сам объяснил в отряде свою поговорку.

Валя усмехнулась.

— Не знаю! Крептюкова надо спросить.

— Крептюков после моего ранения стал добрым ко мне... А сегодня будет мной во как доволен... На большой!..

Ваня отогнул большой палец.

— Ты еще скажи «с присыпкой», так он покажет тебе, как доволен. Терпеть не может этих словечек среди комсомольцев.

Оба засмеялись. Ваня прижался к девушке плечом и придержал ее за руку.

— Ну, домой пришли. В лесу! Давай немножко посидим вот под этими тремя соснами. Ноги нейдут.

— И у меня. Я как раз, когда шла, думала: какой у нас дом опасный.

— Другого нам пока не полагается. Спасибо этому: целы пока. Садись.

— В отряде оба доложим. Спасибо, оба целы пока!

— А ты меня не передразнивай, я — робкий. Правда,

Валя, сегодня ты вроде ожила, — подобрела. А то лютая была, подойти страшно!

— Эх, Ваня, тяжко мне было. Не трусила, ты не подумай!

— Что, я тебя не знаю? Страдала из-за Зининого провала.

— В том-то и дело, что Зинин провал, он и мой. Сама не пригляделась хорошенько к проклятой этой «крестниньке». А Зина... ведь в ней детского было много! Крептюков мне доверился... Да и не это! Как подумаю, что Зины нет, вот и сейчас ножом в сердце словно...

Валя тихо заплакала, утнувшись лицом в плечо Вани. Он легонько, ласково провел рукой по ее вздрагивающей спине.

— Ну, что это ты?.. Сроду не видал, чтоб ты плакала. Нам всем ведь было не легко на душе. То, что выручить не смогли...

— Ох, как горько, Ваня, друга терять в нашей судьбе. А еще горше, если когда-нибудь хоть словом одним обидел его... А я Зину... не ценила. Не могу теперь вспомнить, сколько ей раз обидные вещи говорила!.. Зачем, зачем это я так делала?

— Ну ты же и любила ее. Ты о ней, как родная мать, заботилась.

— И знаешь, Ванечка, как узнала я об ее стойкости и все подробности казни ее, мне так показалось: окаменело сердце во мне. Думаю, уж никогда я больше не полюблю никого всей душой, и жизнь передо мной теперь такая страшная, безлюдная. Нет больше никого своего для меня...

— Валя, а мы... а я?

— И показалось мне, что конец моей молодости... Нарочно на смерть буду лезть, все равно я — старая, душой старая... Этого не рассказать, как было у меня... не знаю, как назвать... ну, полное отчаянье, просвету нет! И я сама не знаю, как сошло с меня это ожесточение.

Валя не знала, что злобная страстность и кратковременность ее отчаяния, и все сегодняшние мысли, и то, что именно Ване захотелось ей открыть свою душу, — все это вызывалось жаждой полноценной человеческой жизни, дружбы, любви, торжествующих и над войной и над всякой бедой, побеждающих тлетворную силу лихого времени. Ваня тоже не знал этого, но чувствовал он одинаково с молодой девушкой, и не умом, а сердцем хорошо понял Валю. У него самого увлажнились глаза, он тяжело пере-

вел дыхание и, нарочно крякнув, сказал не свойственным ему баритоном:

— Не надо, Валя, слез!

— Я уже больше не плачу. Ты не сердись, что я перед тобой расхныкалась... Я ведь тебе... очень доверяю...

Ваня вдруг прижал ее к себе крепко, но бережно.

— Валя, а я ведь тебя... люблю. Ты не догадывалась? Сколько я дум передумал о тебе.

Валя подняла голову. Взгляд одного нашел другой такой же взгляд, полный той чистой страстной нежности, какая бывает только в юности. Желанные губы были близко, но Ваня наклонился к ним медленно, не сразу решился прильнуть своими губами. Поцелуй длился долго, у обоих захватило дыхание. Казалось невозможным его прервать.

Валя первая опомнилась, тихонько оттолкнула юношу рукой в плечо, высвободилась из его объятий и встала. Щеки ее алели нежным румянцем, глаза так сияли, будто излучали счастье. Она сама это почувствовала, прикрыла их ладонью.

Ваня поднялся смущенный, почти испуганный. Нерешительно и неловко притягивая Валю за локти к себе, он спрашивал:

— Ты оскорбилась? Ты оскорбилась? Не надо! Я крепко люблю тебя... Люблю до смерти.

Валя прижалась головой к его плечу, засмеялась приглушенным смехом.

— Ну вот и объяснились. Я-то догадывалась... А неужели ты не догадался? Еще тогда... на той вечеринке в клубе... Помнишь?

— Тогда мне показалось... но ты ведь, Валя, красивая... Перед тобой всегда кто-нибудь из ребят на карауле... А я, Валя, гордый человек. Ни перед кем я не могу заискивать.

Они шли между деревьями, тесно прижавшись друг к другу. Оба знали, что в землянку спешить им не надо. На базе только сторожевая охрана, все соберутся вместе лишь на утренней заре. Теперь же не поздний еще вечерний час. Они оба возвращались с дневной вылазки. Но разгуливать в лесу им было нельзя, и, как ни тянуло их остаться подольше вместе, они ускорили шаг. Только еще одним поцелуем обменялись перед сторожевым постом у землянки.

И Ваня шепотом сказал девушке на ухо:

— Всю жизнь... Понимаешь, всю жизнь одну... милая... тебя буду любить.

В землянке они, повздыхав над скудной едой, раговорились о смерти. Как лучше умирать, если фашистам попа-

дешься: с ехидством, с насмешкой над врагами или с гордостью. Ваня уверял, что смерть с «ехидством» гитлеровцам печенку портит, а гордости они не понимают, потому что «скоты беспросветные». Валя настаивала, что гордость благороднее, а насмешки, хотя бы и злые, мало возвыша ют нас над фашистами.

— Перед смертью надо просто не обращать на них внимания. Только обязательно крикнуть надо, за что умираем, чтобы слышали все.

— Так это, если при народе, правильно! А если в застенке?

— И в застенке, — с гордостью и за что! Пусть запоминают!

Они спорили о том, как умирать, но никогда еще смерть не казалась им такой далекой и невозможной, как сегодня.

Девятая глава

Жена старосты искала прачку для своего тонкого немужицкого белья. Люди сказали, что во всей деревне, кроме старухи Строговой, никто не справится с такой стиркой. Старостиха послала за Дарьей. Захаровна взялась без всяких отговорок, выстирала, выгладила и кое-что подкрахмалила. Справилась так хорошо, как и в городе не всякая прачка сумеет. Она видела, как Валя стирала свои белые блузки и нарядную «комбинацию» в кружевах. Платы за стирку старуха не взяла. Отговорилась сдержанно-ласковым голосом.

— Не за что, какой тут труд! Можно сказать, всего и [есть, что в руках подержала да сполоснула чуток! Белье господское, не наша дерюга, об то все руки сотрешь, пока отстираешь! Если еще когда что понадобится, кликните, сделаю с охотой...

С тем и ушла. Дорогой сердито сплюнула, и слюна своя показалась ей горькой. Влезла на старости лет в лисью шкуру! Сама Ульяна так подластиться, чать, не сумела бы. Ничего не поделаешь, надо. Почему надо, Захаровна точно] не сказала бы. Но женский изворотливый ум или инстинкт] подсказал гордой Захаровне такую сноровку. Как стыдный грех, как тяжелый крест, она ее приняла на себя, пробуя, нельзя ли этим горьким путем дойти до заветной цели: помочь своим. Старостиха, конечно, знала, что ее белье стирать много трудней, чем крестьянское. То никаких грубых рук не боится, а это — чуть потянул без осторожности, так и порвал. А тут прекрасная прачка да еще даровая. Жена старосты, несмотря на свою молодость, была очень скупа.

— Подходящая друг к дружке подобралась парочка, не гляди, что муж староват, а жена еще, как младенец, вся розовая. Хозяин хапает, хозяйка — крепко бережет. Помирай при ней с голоду, не подаст заплесневелой корочки! Эх, господи, кому война — обнищанье этим — богатая нажива, — завистливо сказала о них Ульяна.

— Утке — дело ни к чему, что мир утонул, — с глубоким вздохом отозвалась горбунья.

На удивление обеим Захаровна рассердилась на них за этот разговор.

— Шибко прыткие вы на осужденье, а бестолку,— ворчала старуха. — В ихнее положение тоже надо войти. Хоть, сказать, немецкая власть за них, сами они — начальники. Но у всякой власти свои пределы есть. Одного — кнутом, а другого ничем иным не покоришь, что рублем. И спроть не пойдет, и дела не сделает, коль не заплатишь. Надо им на эдаких наготовке казну иметь, как вы рассуждаете, а?

Ульяна взглянула на Захаровну, широко раскрыв глаза.

— Вроде раньше не заступалась бы ты за такого начальника, который народ обкладывает да обкрадывает. Прямо диву даюсь! Не ты бы говорила, не я бы слушала.

Захаровна сама поняла, что переборщила в притворном своем заступничестве. Она с сердцем отшвырнула от стола табурет.

— От ваших сплетней да переплетней хоть у кого ум за разум зайдет. Чего без драки кулаками махать? Не мы старосту выбирали, сшибить его с власти не в силах мы! Чего ж разбирать, перебирать про него да еще и про жену его! Добродея не поставят над нами, стало быть, языком зря треплете, горе растравляете. Ну, вас!

Старуха быстро вышла из избы, хлопнув дверью. Все на картошке, надо бы и ей пойти помогать. Тоскуют руки без работы. Но быть на народе не в силах она сейчас. Сама не зная зачем, сунулась старуха на погребицу. Вот все в разор пошло! Лестничка в погребе расшаталась, ступать приходится сразу на третью ступеньку. Как оступишься, сильно расшибиться можно. Петрович когда-то радовался, что не поленился, вырыл погреб глубокий. Если не удосуживались льдом набить, и снегу на все лето хватало. Эту зиму погреб не набивали ни льдом, ни снегом. Некому, да и не к чему. Старуха не велела Настасье при ее увечье в погреб спускаться. Когда случалась в том нужда, сама лазила. Но и самой трудно, нет уж былой ловкости, не моloденькая. Э, да пропади ты все пропадом!

Старуха решительно повернулась, захватила тяпку и пошла на картошку. Но на улице, через окно, ее позвала

старостиха, попросила научить, как тесто затеять на русские сдобные булочки. Захаровна пошла на зов. Тесто поставили, еще нашлась работа для Захаровны в старостином дому. Она задержалась там до вечера.

А в ее дворе случилось несчастье именно из-за погреба. Настасью третий день трепала лихорадка. К вечеру отпустила, прошел в теле жар, пот прошиб, и сильно захотелось ей чего-нибудь соленого или кислого. Пока не стемнело, Настасья решилась, несмотря на запрещенье Захаровны, спуститься в погреб, достать квашеной капусты. Она помнила, что на первые две ступеньки наступать нельзя. Уцепившись руками за края погребицы, стала шарить ногой третью ступеньку. Как ни старалась, не нащупала даже кончиком ноги, а подтянуться вверх на ослабевших от лихорадки руках не могла и упала в погреб, обрушившись всей тяжестью на левую руку, в кровь разбила лицо, сильно расшиблась.

Настасья не смогла даже громко крикнуть, только застонала протяжно и глухо. К счастью, стон ее услышал старший мальчик, племянник. Он увязался за теткой к погребу. Настасья строго приказала ему ждать у двери, в погребицу [не входить. Он лег животом на порог, следил за тем, как Настасья спускалась. Когда руки ее внезапно исчезли, а вслед за тем послышался стон, похожий на жалобный вой, ребенок поднял страшный рев, в испуге приплясывая около погреба.]

Ульяна в своем дворе снимала с веревки сушившееся белье. Она опрометью кинулась на крик во двор Строговых. Одна вытащить Настасью она не смогла, соседей никого не было дома: с поля еще не возвращался народ. Ульяна кинулась к старосте. Она слышала, как старостиха зазвала к себе Захаровну.

По просьбе Захаровны жена старосты приказала Гришке-полицейскому послать подводу за русским доктором, служившим у немцев.

Пока Настасью, потерявшую сознание, уложили в избе на кровать, приводили ее в чувство, как умели, приехал доктор. Йод, вату, марлю и бинты было строго запрещено расходовать на русских. Но доктор все это привез в своем чемоданчике.

Он распорядился, чтоб Ульяна увела к себе плачущих детей. Сделать перевязку помогала ему одна Захаровна. Горбунья сильно расшиблась, а в левой руке оказались два перелома кости. Доктор заявил, что заберет ее с собой в больницу, пусть немножко полежит, оправится.

На ушибы наложила Захаровна свою целительную при-

мочку. Настасья пришла в себя, тихонько стонала и плакала. Захаровна ласково приговаривала над ней сочувственные слова и тоже неслышно плакала.

Доктор некоторое время пристально смотрел на них, потом вышел за перегородку, в кухонную половину, и сердито позвал:

— Хозяйка!

Захаровна бросилась к нему. Доктор сам притворил за ней дверь в перегородке и улыбнулся, глядя прямо ей в лицо. Был он ростом невысок, щупленький, видом серенький, неприметный. Но улыбка у него была прекрасная, открытая. От нее сразу похорошело незначительное лицо его с мелкими чертами. Он протянул руку Захаровне и раздельно, негромко произнес:

— Щенок у матери лаять учится!

Захаровна так растерялась, что в его протянутую руку не вложила своей. Он сам взял ее правую руку обеими своими и, так придерживая, подвел к скамье, опустился рядом с ней.

— Все в порядке, мать! Не надо теряться прежде всего, никогда не надо теряться в нашем положении, Захаровна. Я должен был послезавтра найти повод повидаться, а судьба сегодня привела меня к вам. Успокойтесь, хорошенько слушайте, я не могу долго у вас задерживаться. Дочь жива, здорова, шлет горячий привет. Лично появиться здесь для нее в настоящее время нет возможности. Она горячо любит и глубоко верит своей матери. Каким образом вышло, что вы в такой чести у старосты: от него за доктором прислали?

— Ох, господин, не знаю, как вас звать-величать! А я сижу, чисто меня обухом по голове кто хватил! Тоже никак не возьму в соображение. Извиняйте, я тоже спрошу: каким образом с такими словами... с непонятными, сказать, словами отнесся ты ко мне? Вы господин образованный, у немцев на докторской службе. Стало быть, они к вам с доверием?.. Ничего я в толк не возьму по своей серости...

Доктор тихонько засмеялся.

— Выходит, по одинаковой причине мы с вами добивались лестного доверия. Но беседовать нам долго нельзя. Обоим нам доверие... не весьма глубокое. Так вот: дочь верит вам, также и ее товарищи.

Он снова взял и крепко пожал морщинистую руку Захаровны.

— Так вот какое поручение... Сегодня у нас понедельник? Я должен был увидаться с вами в среду, не позднее,

чтобы вы приготовились к пятнице. Утром рано, в пятницу, только рассветет, чтобы можно было только разглядеть друг друга... На утренней заре будьте у кривой березы за мостиком. Там в кустах трое будут ждать вас. Вам ничего не надо им говорить. Да там один будет в лицо известный вам, и он хорошо знает вас. Так они спросят у вас: «Живности никакой не продашь, бабушка?» А вы, что хотите, отвечайте. Важно, чтобы вы признали, что эти трое — те самые, с которыми вам договориться надо.

Доктор быстро поднялся.

— Я пришлю вам разрешение навестить больную. Тогда, если вам от меня что-либо понадобится, найдем возможность несколькими словами обменяться тайно... Да! Мне верьте! Вы осторожны, это очень хорошо. Но не впадайте в трусливую подозрительность. Заранее все предусмотреть, как войти в связь с населением, в данном случае с вашей деревней, в настоящее время нет возможности. Вот надо бы вас предупредить, что именно я заведу с вами разговор, — не было возможности. Тем и трудна борьба наша, что всегда есть риск. Это не значит, чтобы вы всегда доверяли, когда явятся к вам по непредусмотренным обстоятельствам, по случайности, вот как я. Ну, тут вам пусть поможет ваша чуткость и житейский опыт! Это трудно молодому, а старому...

— Тертому калачу, как сказывается, — вставила, просветлев лицом, Захаровна.

— Да, да, вот именно... такому легче разобраться. Будьте здоровы! Соберите пострадавшую, сейчас пришлю за ней. Разрешение навестить завтра пришлю.

Он еще раз улыбнулся своей хорошей улыбкой, крепко пожал руку Захаровне, осмотрел зорко через окна улицу и двор и ушел.

Чуть помедлив, Захаровна вышла следом за ним. Во дворе, через плетень, покликала Ульяну. Та сейчас же высунулась из окна своей избы. Значит, в своем доме находилась. Ее доглядчивости больше всего опасалась Захаровна.

Ульяна отозвалась раздраженно:

— Ладилась помочь, да чуть новой беды не нахомутала вам. Ребятишки-то неслухи. Набаловали вы их. В охотку с ними забавиться вам, вековуша да бабушка без своих внучат! Забирай от меня их поскорей, пожалуйста. Развяжи руки!

— Чего ты взбеленилась? — войдя к Ульяне в дом, спросила Захаровна. — Что уж, правда, мы не люди стали,

что никому не жалко нас? Чать, не больно уморилась, чуток присмотрела за ребятами.

— Чуток! С чужими детьми водиться — в один миг наживешь не спасибо, а горькую обиду. Самовар поставила, думала, доктор чайку, может, потребует. Тебе от Настасьи некогда, а у меня думка была: я спроворю, чайком угощу да насчет своих ног посоветуюсь. Тяжелые стали, жилы шибко набрякли в них. Слышь ты, самовар скипел, пар вовсю, а Ванятка взял да крант отвернул. И как не обварился, как успела я подхватить мальчишку... Да, а как ты доктора-то одного в избе кинула, аль он послал за чем?

— Господин доктор ушел...

— Ушел? Куда же это? Как же я проморгала! Ой, да с Ванькой занялась, свое дело упустила. Уехал?

— Нет, по деревне пошел, вроде к старосте. Настасью велел в больницу собрать. Ну, пошли домой, мои милые. Пойдем, бесчастные! Все-ем-то вы поме-еха. Никто вам не рад без родимой матушки. Сиротинки мои, голубятки без гнезда!

Приласкав детей, Захаровна одного взяла на руки; другой привычно ухватился за ее юбку.

— Стой-ка ты, стой! Сказываешь, к старосте?

— Вроде туда в направлении. А верно не знаю. Не станет мне докладываться, куда идет.

— Добегу-ка и я до старосты. Попытаюсь там добиться совету от доктора. Выходите скорей, я избу замкну.

Не легче ли в тюрьме сидеть, скованным болезнью на одре лежать, чем поднадзорным и бесправным на вольном свете жить? Вон, вот он, лесок, близко, куда надо явиться к знакомой кривой березе на утренней заре в пятницу. Рукой подать! А как добраться до него без вреда не только для себя, а и для всех, кто таится там? Ведь по своей земле ходишь, словно конь, стреноженный путами!

Целые сутки после разговора с доктором Захаровна жила такой напряженной внутренней жизнью в мире своих мыслей, чувств, что весь внешний мир вещей, действий, обыденного общения с людьми казался ей нереальным. Она по привычке правильно делала все, что требовалось в тот или другой момент ее теперешнего бытового уклада, но все это делала, как во сне. Как будто она видела себя в своих действиях со стороны и только подтверждала: да, да, так надо теперь вот это сделать. Под предлогом, что ей часто приходится уходить из дому на поденщину к старосте или к соседям, а малые дети, пока Настасья в больнице, остаются в ее избе по целым дням одни-одинешеньки, старуха упросила одну добродушную многодетную женщи-

ну взять на несколько дней Никаноровых детей в свою семью.

— Тебе уж заодно, как наседке с цыплятами, с ними хороводиться. От своих податься нельзя со двора, а эти промеж твоих будут. Своим подзатыльник, и этим отвесишь для порядку. Своих приласкаешь, пожалеешь и сирот из милости. А хлебушка, пшенца, лучку и картошки для них я дам. На пищу для них не будет твоего расходу, только поблюди за малыми деньков пять, бога ради, не откажи в такой милости!

— Да уж так! Мы друг за дружку, бог за всех, — певуче согласилась женщина. — А прокорм принеси. Рада бы душой и это уделить, но нет возможности, своим в обрез.

Захаровна привела детей, принесла и обещанное питание для них.

Жене старосты кто-то сказал, что в ее положении хорошо пить козье молоко. За козой дело не стало, а хлопотливый уход за ней как-то все не налаживался. Старостихе казалось, что работницы худо пасут козу, мало дает молока. Прямо не приказывала, а раза два закидывала намеки, не поможет ли Строгова и в этом деле, не возьмет ли на себя заботу об их козе. До сих пор Захаровне удавалось такие намеки отводить безнаказанно, поспешив с каким-либо иным угождением. Теперь Строгова сама предложила старостихе:

— Доверьте-ка вашу козу мне. Катькой, что ли, вы ее кличете? Скучно глядит она, правда ваша, Мария Казимировна!

Они условились, что Захаровна ежедневно будет гонять козу за село, на вольный корм, в определенные часы во дворе выдаивать, прикармливать, одним словом, основной уход на некоторое время возьмет на себя.

— Самая сласть для них — листочки с кустов. Вот кабы в лес гонять, а то до реки — тут огороды, за ими кусты вовсе чахлые, с другого концу — поле вспаханное, — говорила Захаровна.

Старостиха вышивала ворот и рукавички у детской распашонки, готовила приданое ожидаемому ребенку. Услышав слова старухи, она подняла голову от работы и нахмурилась.

— А что же, в лес? Разве это вам трудно будет? Помоему, не так далеко.

— Какая даль, коль в ближний брод али по мосту, кой теперь через речку навели, а вплавь ведь с такой животной не сунешься...

— Зачем же вплавь, когда мост есть?

— И мост, и брод... — голос у Захаровны пресекся вдруг, — козе вашей можно, а на меня — запрещение. Не разрешается русскому населению. Объявлено: стрелять станут часовые...

— Зачем же стрелять, если вы все объясните?

— Не умею по-немецкому, чего там наобъясняю я? В меня пальнут, зацепить могут и животную.

— Распоряжение мы, конечно, сегодня же дадим. Ну что? Я вам говорю, не пальнут. Вот не думала, что вы такая трусиха. Во время войны надо привыкать и к настоящей опасности, а вы...

— Сколь ни привыкай, а все умрешь, в первый раз. Оно боязно человеку, чтоб не зря! Ну-к что ж, стало быть, завтра погоню в лес.

В словах крестьянки, во внезапно дрогнувшем ее голосе что-то показалось неприятным старостихе. Она пристально вгляделась в лицо Захаровны. Но старуха стояла, покорно склонив голову, и в лице ее было одно выражение: тупого согласия на все, что скажут ей. Старостиха презрительно подумала:

«И эту женщину здесь считают умным и гордым человеком. Действительно, тупой народ!»

Уговорившись, как спозаранок брать козу со двора, не потревожив хозяев, Захаровна низко поклонилась и ушла. В четверг Захаровна вышла к мосту перед самым восходом солнца, на хорошем свету, и погнала козу прямо через мост. Двое немецких часовых стояли по обоим его концам. Распоряжение, по-видимому, было дано, ее пропустили без особых расспросов. Только один из часовых, вставляя в немецкую речь ломаные русские слова, помогая речи жестами, достаточно вразумительно велел ей в следующий раз на мосту с козой не путаться, а перегонять по мелкому месту в некотором отдалении от моста, но на виду у часовых.

И в пятницу, гораздо раньше, чем накануне, подошла старуха с козой к броду. Противоположный берег был еще весь окутан предрассветной мглой. Но, и не видя его, старуха знала, где какой куст стоит, где юные березки недавно в рост вошли, где старый дуб помолодел в окружении собственных отпрысков, дубков молодых, где верба, где ольха, где ветлы над водой, где яркая рябина дозреет к зиме. Все здесь — свое, много лет известное во всех своих ежегодных изменениях. На бережке Захаровна помедлила, поправила привязанную за спиной небольшую котомку и, придержав козу левой рукой за веревочный ошейник, правой перекрестилась на восток, потом захватила ею подол одежды, обнажив ноги до колен, и ступила в воду,

потянув за собой упиравшуюся и заблеявшую козу. Слева призрачным темным видением обозначился мост и солдаты на нем. Дальнозорким старческим взглядом Захаровна разглядела, что на мосту сменялся караул. Оттуда стали в нее вглядываться только тогда, когда расслышали плеск воды и плачущее блеяние козы. Один было крикнул сердито:

— Э, рус, хальт!

Но другой, разрешительно и размашисто махнув рукой над перилами моста, прокричал какую-то длинную немецкую фразу, после чего пятеро солдат, находившихся на мосту, громко захохотали.

У старой женщины сразу набрякли скулы, в нитку стянулся крепко стиснутый рот. Такая острая ненависть полоснула по сердцу, что Захаровна с трудом перевела вздох. О, как стерпеть, слыша явно издевательскую иноземную речь и здоровенный хохот неприятельских солдат, как злая нечисть хохочущих здесь, на речке родной, воды которой с малолетства поили, обмывали, покоили на струях своих во время купанья в летний зной здешний исстари строговский род, теперь — запретной для потомков его?

«Всей речки не хватит, — думала старуха, — чтобы отмыть с них кровь, ими пролитую! Пропитались той кровью до самого черного сердца своего, а у них и думушки нет про то! Знай, хохочут, без жалости, без стыду! Была б птицей-орлицей, взвилась бы, вкогтилась хоть одному в морду хохочущую... Да стой ты, проклятая, тянет как, чуть не уронила меня! Здесь, что-ль, в кустах, к речке поближе привязать назолушко это? Возись, как крепостная, с барской козой на старости лет, людям на смех, да и на позор! Стой! Пока развидняет, огляжусь в лесу, а там и к месту... Ох, может, ее саму повидаю... доченьку. Сказывал доктор одна-то личность — знакомая...»

Крепко привязав козу к дереву меж молодых кустов, Захаровна перевесила котомку со спины на плечо и углубилась в лес. «Ранний час, а воздух шибко тепел, парной. Дождь будет. Пойду-ка я прямо к месту».

И только подошла, навстречу, близко-близко от нее, поднялся из-под защиты кустов молодой высокий черноглазый паренек в старой серенькой кепке, в зеленой выцветшей сатиновой рубашке, заправленной в поношенные серые штаны. Поднялся и снова спрятался в кусты. Похоже, кто-то другой дернул его за пояс, чтобы не вылезал вперед. Недолго видела старуха милое лицо этого паренька, но почему-то сразу оно запомнилось ей выражением жизнерадостности в глазах и в очертании крупного рта

с темным пушком над верхней губой. С лаской запомнилось! Иль уж это после придумалось, что весь облик паренька ей сразу, как родной, в сердце вошел? Тут же вслед за ним поднялся другой, рыженький, с неяркими веснушками, знакомый Петька Соколов, брательник снохи Пермяковых. Протягивая руку, негромко, но радостно сказал он:

— Здравствуй, бабушка Дарья, как жи... — Спохватившись, пробормотал скороговоркой: — Живности какой не продаешь, бабушка? — проговорив это, не ждал ответа Захаровны, быстро дальше заговорил: — Я к речке подполз, видал, как ты вброд переходила. И вот, бабушка, еще темно: вроде ты и вроде не ты! И кофту эту твою сколько раз видал и платок повязанный, как всегда у тебя. Но смутила меня коза! Если, думаю, нам гонит, что так же она сдурела, что ли? Уж простите, вот как неуважительно подумал про вас. Ведь блеет, вниманье привлекает. Еще бы поросенка визжащего!.. Где же та коза? Как же это — на мосту охрана, а коза блеет со всем старанием...

— Он и нас этой козой смутил, — проговорил, подходя и протягивая старухе руку, первый, ладный паренек.

— Верно. Ну, сердитесь,— не сердитесь, сами понимаете, — подхватил третий, тоже незнакомый юноша, — надо тихо, а тут — блеет. Еще не знай, кто хуже поросенок живой или...

Захаровна пожимала им руки и улыбалась, и слезы у ней лились и лились из глаз. Так сразу размякло настрадавшееся в ожесточении сердце, так внезапно душа отдохнула в забытом уже чувстве умиления, что долго не могла она остановить поток этих счастливых, облегчающих слез. Она, всю жизнь скупая на слезу, высокая сдержанная старуха, стояла перед ними, присутулившись, ставши как будто ниже ростом, с расплывшейся жалобной улыбкой и залитым слезами лицом, измученная старенькая мать! Стараясь совладать со своими дрожащими губами, она еле выговорила им всем в ответ:

— Это коза не простая, заговоренная, на нее пропуск даден... Нету, нету-ка, я ее далеко привязала, сюда не наведет... А заместо поросенка сальца свиного... да вот еще солонинки хорошей, крепкой... уберегла... уберегла, захватила для вас, голубятки мои. Покушайте, сыночки родные вы мои, подзакусите, дорогие!

Она принялась поспешно развязывать котомку, но руки плохо повиновались ей. Петя Соколов освободил ее от котомки, придерживая за локоть, провел через кусты в ложбинку под древним дуплистым дубом. Принесенной прови-

зии юноши обрадовались, они были голодны, пятые сутки в разведке. Что взяли с базы, все подъели, хоть и экономили еду, но на базе снова скудны запасы. Может быть, товарищи за время их отсутствия раздобылись провиантом. Надеждой на это подавляли они свой голод, а вот неожиданно здесь подкрепились. Они ели и говорили. С сильно колотившимся сердцем сидела около них Захаровна, напряженно слушала, стараясь не выронить из памяти ни одного слова. Незнакомые два юноши назвали ей свои имена. Паренек, которого она первым увидела, был Ваня Пантюхин. С ним у нее произошел особый, глубоко взволновавший обоих, хоть и короткий разговор. Вся беседа, из осторожности, недолга была. Условились, чтобы Захаровна слушала ночью: не раздастся ли взрыв. Должен в эту ночь через мост пройти на железнодорожную станцию немецкий эшелон. А партизанам надо было, чтобы он через мост не прошел. Ничего этого юноши Дарье не рассказывали. Они просто объяснили ей, что, если будет взрыв, ей надо выжидать нового сообщения. А в это время пусть слухи ловит, о чем будут говорить в деревне. Если взрыв почему-либо не произойдет, пусть опять пригонит свою козу в лес, но связного от них найдет уже не здесь, а правей, за Сычевской мочежиной. Если никого там не найдет, пусть не дожидается, уходит. Если же ее не пропустят в лес, пусть к вечеру появится у огородов над рекой и помаячит там подольше таким образом, чтоб ее смогли увидеть из лесу, с другого берега.

— Если вас там увидим, значит наша связь с вами не обнаружена, а дальше мы сможем на вас, бабушка Дарья, рассчитывать, — сказал Петя Соколов. — Уж придумайте что-нибудь, по какому бы случаю платье поцветастей надеть.

— Так завтра праздник Петры и Павлы,— вдруг вспомнила Захаровна, — я на себя и платок большой цветастый ради празднику накину.

— Ну, пускай помогут вам и нам Петры и Павлы, — засмеялся Пантюхин. — Соколов, знакомец ваш, кстати, Петр. Значит, его именины отпразднуете! — Но добавил другим, сухим, серьезным голосом: — А лучше, чтоб не пришлось вам на именины одеваться. Пожелайте нам успеха на сегодня в ночь!

— Смотрите, не попадитесь...

Ваня ласково обхватил ее рукой за плечи.

— Не попадемся, мать, мы — умные! А и попадемся, не даром пропадем. Что Вале передать от вас, Дарья Захаровна?

— А что же ее-то.. вскорости так и не повидаю я?

— Вскорости никак нельзя, — ответил Пантюхин, как отрезал. Лицо его стало печальным и строгим, словно сразу постарело.

— Ника-ак, — медленно повторила мать и заглянула Пантюхину прямо в глаза твердым взглядом. — Ну так передай, Ваня, дочке моей, что теперь я совсем в одних мыслях с ней. И хоть не с вами вместе в лесу, а все одно с вами вместе. Тоже партизанка, так и числю сама себя. И не корю ее, что страдаю за судьбу ее. Кабы не это страдание, я бы и на свет от стыда за себя глядеть не могла! И кабы Валя теперь, при мне, терпела издевки вражеские, хоть и от смерти в безопасности, все одно радости не было бы в сердце моем, а может, и любви такой к своей доченьке у меня бы не было! Об других-то детях своих я вроде прямо забыла. А с ней у нас — судьба связана... Одной порукой связана — не давать супостатам у нас царевать. А смерть — и мне, старой, и ей, молодой, все одно предназначена. В нынешней нашей судьбе приходится без боязни, строго с ней встретиться.

— На то вы обе и Строговы, — силясь улыбнуться, проговорил взволнованный Ваня. — Все передам, все понимаю! Время вам уходить. С товарищами прощайтесь, а я с вами пройду... несколько шагов.

Старуха обняла обоих юношей, они крепко расцеловали ее морщинистые щеки. И оба быстро скрылись за деревьями. Ваня и шагу не шагнул дальше с ней, а просто притянул за руку поближе к дереву, чтобы и головы их были скрыты ветвями. Снизу их заслоняли кусты. Юноша торопился вслед за товарищами, но сразу не нашел слов, какие непременно хотелось ему сказать Валиной матери. Он сильно тосковал в разлуке с любимой девушкой. В разлуке — первой после объяснения, длительной и, может быть, вечной. Увидав Валину мать, он живей почувствовал, что на свете Валя есть, что недавно еще он целовал ее, существующую, невредимую, и что оба в тот миг верили, что невозможно, чтобы они еще не встретились. Прежняя жизнерадостность лишь при встрече с Захаровной осветила его лицо. До этого вид его мрачен был. Даже в опасности разведки близ моста он то и дело возвращался мыслью все к одному: зачем встретились, зачем полюбили друг друга. Хорошо еще раз услышать ее имя из близких, родных Вале уст. Не мог он всего этого сказать Захаровне, да еще в считанные мгновения: надо спешить, не отстать от товарищей. Ему сильно захотелось курить, он беспомощно искал в кармане.

— Чего, милок? Чего хотел сказать?

— Спички потерял.

— Спички? Ай нет у вас? Горе какое, у меня завсегда в кармане, а нынче не захватила. Завтра обязательно захвачу.

— Завтра... Вот что, мамаша. Я не просто так называю вас... Валя — моя невеста. Мы крепко любим друг друга.

— Милый сын, гожий ты мой, не зря сердце мне подсказало! Она так и обещалась: сама мужа выберу, сама к вам приведу.

— И привела... Приведет! Вместе с ней приедем к вам! Обязательно...

— Да, сыночек дорогой... И названый, а сейчас мне ближе роженого!

— Так вот и будет, вместе явимся! Прощайте. Дайте я поцелую ваши руки материнские и за Валю и за себя!... До свиданья! Вместе явимся...

Захаровна не успела опомниться, как юноши вдруг не стало видно за деревьями. А сквозь ветви этих деревьев уже пробились первые лучи всходившего солнца. Вставал день, трудный день ожидания опасной ночи.

Шел дождь, к вечеру все прояснилось, но по луне вновь заходили облака.

И в трудную эту ночь нежданное, давно не ощущаемое душевное спокойствие вдруг снизошло на старуху. Она чутко прислушивалась и со двора и в избе. Взрыва не было, и смятения вокруг никакого не чувствовалось. Занялся серенький, непогожий, но ветровой бездождный рассвет.

Захаровна, собираясь идти за козой, не забыла и две коробочки спичек, весь ее запас, положить в карман, и спокойно перебрать в мыслях его о вчерашнем разговоре, о том, что надо сегодня при свидании с Ваней еще расспросить его. Не забыла она и новый узелок с провизией взять с собой в лес... На дворе у старосты тоже никто и ничем ей не помешал. Взяла за веревку козу и пошла вчерашней дорогой через брод. Сегодня с моста даже не окликнули, а когда сама старуха нерешительно приостановилась, уже войдя с козой в воду, резкий фальцет прокричал:

— Не стоить! Можьна, пошел!

Козу старуха привязала спокойно, тщательно, а потом вдруг, всполохом, охватила ее тревога, и сквозь чащу она пробиралась поспешно, почти бегом. За Сычевской мочежиной ждал ее не Ваня, а Петя Соколок. Парень был бледен и как будто даже исхудал за одну ночь.

— Беда, бабушка! — сразу начал он. — Взрывчатку за-

ложили, все удачно, как на заказ, ждем времени поджечь, а на мосту, слышим, русский разговор. Не тот эшелон, понимаешь? Наших гонят, пленных! Фашист на кого-то русскими словами ругается, и средь наших — говор отрывочный: то «больной», то «куда же это нас?» И женщина заплакала, вскрикнула: «Душегубы! Изверги!» Ну как же своих взрывать? И конвой не велик, все же троим не отбить! Ванька Пантюхин порывался, мы удержали, прямо скрутить его пришлось! А продвигались они долго, все какая-то сумятица у всхода на мост была. Ну, тут и светать стало, нельзя дожидаться, чтоб хоть пустой мост взорвать. Уже совсем светло стало, а русских все еще гнали на мост, у немцев какая-то произошла бестолковщина, мешкали с перегоном. Чуть не на полном свету мы чудом ноги унесли! Ванька еще сопротивлялся. Из-за него могли, как куропаток, всех троих в кустах пристрелить!

— Как же теперь?

— А что же теперь! Кабы кто из жителей шнур подпалил. Нам не подобраться днем. Взрывчатка со стороны села на берегу заложена, в ту сторону глубже мост вдвигается. Кабы с этого боку, мы бы дождались в кустах! А там, знаешь, для людей никакого прикрытия, на свету! Один кустик и есть, где заложено, поджечь не успеешь, не доползешь по открытому месту. Это надо прямо подойти! А часовые чужому человеку разве дадут подойти?

— Ну так оно и сделаем, что прямо. Я же вот могу! Меня с козой допустят до самого того кустика. Я же знаю его! Ну, да некогда рассказывать! Знаю, все вижу, как сделать, знаю! Ты только мне объясни: найду я там чего поджечь?

— Да это ж проще простого — шнур поджечь, и скорее отойти в сторону. Но только, бабушка Дарья, ведь это на смерть вас посылать...

— Петька! Говори скорей! Все одно, сама искать примусь!

Еще солнце не взошло, Захаровна погнала козу из лесу обратно в деревню.

У перехода через реку старуха остановилась и сразу нашла глазами заветный куст на противоположном берегу. Глаза ее стали зорки, как у орлицы, мысли ясны, сердце билось молодо и ровно. Она выпрямилась, будто сразу сняли с плеч тяжелую ношу бед и оскорблений, всего униженья неволи. Решительная и свободная, шла Дарья Строгова, русская женщина, на свой боевой подвиг.

Она спокойно подождала у реки и перешла брод. У куста на берегу Захаровна оказалась в нужный момент. Оба

часовых сошлись покурить на одном конце моста, на том, что к лесу. А тот, что к селу, — остался на минуту без надзора. Вдруг недалеко послышался автомобильный гудок. Часовой опрометью вернулся на свой пост. Но Захаровна не растерялась. Она ощупью уже нашла шнур и теперь, скрываясь за кустом, подожгла его. Она еще видела, как бежит по улице отпущенная ею коза, как на мост въезжает легковая машина, — раздался взрыв. Далеко отойти Захаровна не успела, взрывной волной ее сшибло с ног. Она лишилась сознания. Мост был взорван вместе с офицерами немецкого штаба. Их штабная машина в момент взрыва оказалась на середине моста.

От этого взрыва пострадал и староста. Дом Никанора находился ближе других к мосту. От сотрясения в нем обрушились кровля и потолок. И старосту и жену его вытащили живыми, но у жены приключились преждевременные роды, и она умерла не разродившись.

Когда Захаровна пришла в себя, ее принялись допрашивать. Но не добились ни слова в ответ. Она молчала, как глухая, сложивши под грудью руки крестом и глядя суровыми глазами поверх голов допросчиков. Лицо ее с обозначившимися на нем твердыми скулами от крепко стистнутого рта оставалось неподвижным, словно каменное, хоть ее и прикладами били и трясли за плечи, стараясь заставить произнести хоть одно слово. И такая непоколебимая твердость выражалась на этом старческом лице, худом и темном, как икона старого письма, что второго допроса ей делать не стали.

На расстрел вывели Захаровну за село, на то самое место, где начинался взорванный мост. Улик против нее не было, кроме того, что одну ее нашли оглушенной близ места взрыва.

Но молодой полицейский Гришка во хмелю, сам не зная как, в лес попал и там заснул недалеко от дерева, к которому Захаровна привязала козу. Он проснулся, когда старуха ее привязывала, но не выследил, куда ушла Строгова. Сразу не очухался от пьяной одури. А когда совсем опомнился, страшно испугался, что ночь проспал в лесу, где на него могли партизаны набрести. Поэтому он, с запоздалым ужасом, опрометью кинулся в деревню, забыв, наяву ли, во сне ли примерещилась ему старуха Строгова, привязывавшая козу и быстро исчезнувшая в лесной чаще. Когда Захаровну, оглушенную, люди домой несли, Гришка ясно вспомнил все. Он доложил, что гонялся за старухой по лесу, потерял ее в чаще, а она тем временем к мосту пробралась, и взрыв не иначе как ее рук дело, потому что

дочь у нее коммунистка и неизвестно где скрывается. Где же больше, как не с партизанами в лесу? Самому Гришке донос не в пользу оказался. Его забрали в гестапо за то, что сведения о дочери не сообщил своевременно и старуху Строгову не задержал в лесу.

Захаровну поставили спиной к реке. Как и при казни Зины, народ согнали для устрашенья видом смерти, которая грозит всем непокорным русским жителям. Увидев перед собой тесно сбившуюся толпу, Захаровна вдруг про Зину все вспомнила. Хотела крикнуть, за что умирает, в тех же словах, какие Зина крикнула, но забыла вдруг те дорогие, глубоко ее самое взволновавшие Зинины слова, и все же успела сказать свои:

— Коли я, старая, не страшусь спроть вас, а молодые-то... и вовсе!

Раздался залп, Захаровна зашаталась, но не упала от первых попавших в нее пуль.

От второго залпа упала. Холодеющими устами, но еще слышно для многих внятно выговорила:

— Не перестреляете всего народу... нашего.

Валя тяжело, долго изживала страшное известие о расстреле матери. Она говорила не раз Пантюхину, когда встретились они в своем областном городе после освобождения его от захватчиков.

— Вот мы вместе! Сейчас на отдых отправляют нас. Месяц или больше не разлучат нас, мужа и жену, ни опасности, ни новые бои. Это ли не самое счастливое время для меня? Да, самое счастливое, лучше не было, да и не знаю, может ли лучше быть. А как вспомню про маму, что не узнала она, как я счастлива, так и заболит, заболит у меня сердце. Ох, как тяжко, когда мать умрет без ласки твоей, без успокоения за тебя...

— А ты думаешь, сладко было бы ей, когда б она знать могла, что ты тоской по ней отравляешься?..

Валя закрыла ему рот рукой.

— Молчи, молчи, это ты, как мужчина, из эгоизма, что тебе отравляю... Нет, нет, молчи!

Валя крепко поцеловала мужа.

— Я не буду больше... Ты прав, нам еще разлука предстоит... и жизнь всякая, не только счастливая. И ее бы огорчило, что я из-за нее теперь страдаю... Ах, милая, старенькая, седенькая партизанка моя! Мамушка незабвенная! Нет, Ваня, я люблю тебя и всю жизнь буду с тобой. Но... не понять тебе моей дочерней тоски. Ты — мужчина. И ты думаешь, достаточно, что я стану только вспоминать...

— У всех матерей удел такой. И тебя твои дети будут только вспоминать...

— Ну, как не стыдно! Я о смерти, а ты...

— А я — о жизни. Ну, вытри слезы, взгляни на меня!

— Гляжу, милый, гляжу! — Валя счастливо улыбнулась ему.

Пробыли они вместе не месяц, а целых три. Потом Пантюхин уехал на фронт, в ряды регулярной Красной Армии. Валя осталась в тылу. Ей пришлось готовиться самой стать матерью. И это помогло ей не забыть своей мучителной тоски по матери, но легче, здоровей пронести ее через собственную свою материнскую жизнь.

1942

СОДЕРЖАНИЕ

Лидия Николаевна Сейфуллина

Виринея
Повести и рассказы

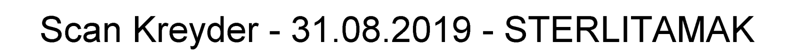
Оформление серии Г. Прокшина

Редакторы Г. Зайцев и Ю. Андрианов
Художник С. Евладов
Художественный редактор А. Астраханцев
Технический редактор Г. Зигангирова
Корректоры К. Шилина, Л. Останина

ИБ № 1489

Сдано в набор 12.02.81. Подписано к печати 1.04.81. Формат бумаги 84×108 1/32. Бумага тип. № 3. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Условн. печ. л. 17,64. Учетн.-издат. л. 19,91. Тираж 150 000 экз. (1-й завод 1—75 000 экз.) Заказ № 63. Цена 1 руб. 70 коп.

Башкирское книжное издательство. Уфа-25, ул. Советская, 18. Уфимский полиграфкомбинат Госкомиздата Башкирской АССР. Уфа-1, проспект Октября, 2.


Scan Kreyder - 31.08.2019 - STERLITAMAK

1 руб. 70 коп.

0,76